



ЮНОСТЬ

2

1964



Г р и г о р и й Г л а з о в

Вступление

Я приступаю к новой книге.
Вот стол, вот чистая тетрадь.
Войны тяжелые вериги
я не хочу с собою брать.

Спешу от давнего причала,
где даль простреленно пуста,
уйду от трудного начала
по насту чистого листа.

И вроде радостно.
И вновь

мне белый тот разверстый путь.
Но то споткнулся
на дымном слове,
то в память
проваляюсь по груди,
как в снег,
покрывший все бывшее.
Я там опомнюсь и замру:
увиджу Волгу,
небо злое
и танк,
горящий на юру.

Беседа

Есть, видно, прелесть
в холостяцком быте.
Сесть, выпить с другом,
луком закусить...
Перелопатить залежи событий,
минувшее опять исколесить.

Идут часы.
Мотают время стрелки.
Мы говорим друг другу:
— Наливай...
Лежат окурки куцые в тарелке,
и на газете —
хлеба каравай.

Жена, махнув рукой,
ушла к соседям.
И, воздавая памяти хвалу,
мы бережно
слова святые цедим,
толкуем,
трезво привалясь к столу.
Уж за полночь.
Зовет домой усталость.
Напротив — окна темнею сквозят.
Но как уйдешь,
когда пройти осталось
еще сто верст:
еще Берлин не взят!

Глаза

Я видел всякие глаза...
У возвратившихся из боя
в них не сияет голубое,
а бьется черная гроза.
Но оседает ил на дно.
Я в родниках видал такое...
И голубым глазам дано
быть голубыми в час покоя...

Свет глаз — не только свет вещей,
что вдруг находят отражение.
Не от тарелки сытных щей
они меняют выражение.
Пред ними свет иной зажжен.
В минуты горя или счастья
в них погружен и отражен
мир, не раздробленный на части.

Солдат

Он спал, солдат пехотной роты,
спал, не разжавши кулака.
И обтекала струйка пота
мысок небритый кадыка.

Он спал, подсумок бросив в каску,
расслабив складку меж бровей.
Спокойно по гранатной связке
взбирался мудрый муравей.

Спал, в сновиденьях не витая,
там, где атака дол сожгла.

Кармана пуговка золотая
на нитке тоненькой жила.

У кухни с отпылавшей печью
впервые спал за много дней,
освободив свои оплечья
от тягот ссохшихся ремней.

Он спал, качая храпом травы,
как под телегою в покое,
еще своей не зная славы,
вдыхая запахи колес...

Сквозь годы

Я сдвинул время.
Я смежаю веки,
чтоб видеть годы давние, когда
моя эпоха расставляла веки
и окунала в темень города.
В буржуйках дымных дотлевали
парты.

По студням луж
ступала осень вброд.
Летели листья сбитые кокарды
под каблук
красногвардейских рот.

По дальним весям
густо шли менялы.
Мешочник ражий
штурмом брал вокзал.

Он желтое, прожилистое сало
ножом сапожным тонко нарезал.
Но истина

лежала не на плахе,
а за прицельной рамкой станкача.
На красные повязки шли рубахи.
Последние.

С мужицкого плеча.
И сытые пророки голосили,
ни косности,

ни злобы не тая:
«Они смешны, большевики России!
Им отомстит разумность бытия!»
Но в прошлое Россию не манила
тутая сыромятная шлея.
И первую буденовку кроила
в сыром подвале тихая швея.

Высота

Дневное небо!..
Гнезда на деревьях!..
Влекущая, как прорубь, высота.
То ощущение крыльев было древним
и, значит, возникало неспроста.

Дверь на чердак.
Железная стремянка.
Тут тишина настоенно глуха.
Двуногий стул.

Белье..
Пустая банка.
Сухая перепрелая труха.

Затем на крышу был отверстый люк,
попыней небо надо мной синело.
И я, протиснув худенькое тело,
в рост поднялся, не отряхнувши
брюк.

И глянул сразу почему-то вниз.
Забыв о небе.

Зябко замирая.

Вот суриком обмазанный карниз.
А там, за ним...

Я отступил от края..
Далекie безгласные миры,
затерянные в бездорожье неба!..
Я к люку полз.

Я больше дерзким не был.
Я к вам хотел, ристалища — дворы!
О мальчишки!

Не бойтесь неудач
и парусов, не уловивших ветра,
и не решенных в первый раз задач,
что не сошлись с загаданным
ответом.

Всему свой срок:
подняться с рюкзаком
над пропастью по обомлевшим
тропам
и выскочить под пудами рывком
на трехвершковый бруствер над
окопом!

Человек

В карман газету сунув,
скинув кепку
и тайному чему-то удивлен,
он смотрит, как в пруду качает
щепку,
как он свою тенью удлинит,

как у фонтана с гипсовым оленем
фотографы склоняются в тоске...
Худые локти уперев в колени,
он потирает жилку на виске.

Еще окурочек глениющий не бросив
и словно ключ от бед своих ища,

он снова шарит жадно папиросы
по всем карманам синего плаща.
Обременен, быть может, трудным
долгом,
а может, неприятности в семье,
а может, он унижен и обогнан.
И вот сидит один.

На всей скамье.
Ты отойди.

Ужель ему в спасенье
твой праздно напернувшийся
вопрос?!

Ты подари ему уединенье
и одолжи полпачки папирос.





Ю л и я Д р у н и н а

✱

Сколько шика в нарядных ножках! —
И рассказывать не берусь:
Шеголяет Париж в сапожках,
Именуемых «а-ля рюс».
Попадают с острым носом,
Есть с квадратным — на всякий
вкус...

Но, признаться, смотрю я косо
На сапожки, что «а-ля рюс».
Я смотрю, и грущу немножко,
И, быть может, чуть-чуть сержусь:
Вижу я сапоги, не сапожки,
Просто русские, а не «рюс» —
Те кирзовые,
Трехпудовые,
Слышу грубых подметок стук,
Вижу блики пожаров багровые
Я в глазах фронтовых подруг.

Словно поступь моей России,
Были девочек тех шаги.
Не для шика тогда носили
Наши женщины сапоги!
Пусть блистают сапожки узкие,
Я о моде судить не берусь,
Но сравню ли я с ними русские,
Просто русские, а не «рюс» —
Те кирзовые,
Трехпудовые?
Снова слышу их грубый стук,
До сих пор вижу блики багровые
Я в глазах уцелевших подруг.
Потому, оттого, наверное,
Слишком кажутся мне узки
Те современные,
Те манерные,
Те непрочные сапожки...

●



И г о р ь Ж д а н о в

Комсорги

Вдох протяжный
и воздух грузный,
Лес молчит,
и молчит гранит.
В сосняке
над речушкой Рузой
Вместе с ротой комсорг зарыт..
Уходили
из институтов
Добровольцы
за взводом взвод.
Хоронили их без салютов
В самый первый военный год.
У пылающих плесов Волги,
У сожженных смоленских сел

Погибли твои комсорги,
Вожаки твои,
Комсомол.
Кто-то шепчет еще проклятья,
Кто-то ждет,
Кто-то верит в сны.
Ходит женщина в черном платье
По дорогам большой войны.
Помнит цепи
в пальтишках штатских
Со штыками
наперевес
Мать зарытых в могилах братских,
Мать строителей
Братской ГЭС.

●

Степан Шипачев

Помню...

Не спрашивайте меня,
я не помню,
как замешивалась квашня
галактики нашей огромной.
Но
не успеваю остыть
Землю, горячие океаны,
вздыхающиеся хребты
помню.
Помню, дышали вулканы.
Они дышали в горячей тьме
под мгристо-багровыми небесами.
Каменный уголь? Помню, шумел
не пламенем в топках — лесами.
Точного у меня
дня рождения нету.
В календаре не ищите дат.
Я — ровесник планетам,
месяц — мой младший брат.
Я знаю большие и малые меры.

И в буре не только сегодняшних
дней —
встречал и до нашей эры
немало надежных людей.
Помню: пахло листвою прелой,
и грозен был гладиаторов шаг,
и в Спартака летящие стрелы
свистели у меня в ушах.
Жизнь моя была не слепая,
какой бы когда ни вздымался вал.
Меня и Чапаев
товарищем называл.
Какою меркой меня ни мерьте,
я весь на виду с головы до ног.
Я знаю, и после смерти
буду не одинок.
Я друзьями оброс, как садом.
А о семье, о моей родне
спросите Родину, а будет надо,—
спросите Вселенную обо мне.



Владимир Цыбин

Предчувствие

Предчувствием я одержим,
предчувствие,
как добрый джин,
приходит, вдруг неспеша откуда,
из той неведанной земли,
которая всегда вдали
и потому зовется — чудо.
Приходит,
став мне целым миром!..
И я робею перед ним,
когда оно придет
и скажет:
— Ты дальше посмотри, сквозь явь..
сквозь то, что есть,
но завтра канет;
и все, что не сбилось,
представь!..
Поэтому вот
каждый день я,
как снег предчувствует пургу,
предчувствую в себе рожденные
того,

кем стать я не могу.
И вглядывается моя зависть
в неведомого его..
Уже завязывается завязь
во мне
себя же самого.
И сердце новое израстает
нежней, чем прежнее,
и станет
предчувствием болеть иным!..
Предчувствием я одержим.
И слышу я усталость
в трубном,
несломленное слышу
в трудном,
несуетливости в суете,
прозренья вижу в слепоте.
И сам себе как будто в тягость,
в себе самом как будто я гость,
предчувствие идет,
слепя, —
и я предчувствую себя.



Морщинами рождение песен
откладывается
на челе,
и кажется,
что ты обещаю,
задуман сам себе вчерне.
Я — замысел скупой, подспудный,
живу всему, что есть подспудный,
я жду: грядет моя пора,
и я воскресну из добра!
Сквозь тяготы,
сквозь боль,
сквозь муки
приду —
и отряхнусь от мути,
прямой,
отходчивый во зле,
такой,
как сносить себе во сне!
Так засуху сменяет влажность,
подлеском прорастает хворост,
подбитый накрепко зимой, —
пробить навывлет шар земной!

Я жду,
как старость листья спалит,
стареть — терять себя дотла!
И ярмаркою стала память,
седеет память от добра!
А песни старят,
забирая
все, что имеешь,
как оброк.
Коль жизнь не впрок, —
так песнь не впрок,
коль боль не в срок, —
так ум не в срок,
жизнь померещится вторая,
другая,
песенная...
Все ж.
плати сединою за дождь,
за молодость свою,
за песню,
за радугу над головой
и за снежок последний, вешний,
что пахнет будущей травой...



Я стою с тобой
почти
лицом к лицу!
— Где ты? —
молча
я в глаза твои кричу.
За зрачки свои,
туда, за тысячу век, —
ты уехала на месяц?
Иль навек?..

Сколько времени ауюю не впрок.
Через годы я готов,
как через брод, —
и увижу,
что в тебе средь темноты
сто людей живет —
и все они не ты!
Ты им мачеха,
готовая проклясть!..

Ты чужбина,
где, наверно, мне пропасть,
из тебя никто мне весточки
не шлет.

Вести — веточки,
лишь дождь пойдет: «шлеп-шлеп».
Из чужбины из своей,
из маяты

сто очей глядят —
и все они не ты,
сто вестей глядят,
сто встреч
и сто разлук...

Сто разлук,
как сто березок, в них растут.
Разглядеть тебя хочу
сквозь синеву,

через сто тебя
кричу тебе:

— Ау!

Спокойствие

Не мне судьба моя подсудна,
чтоб знать, где ясно, где черно.
Спокойствие приходит трудно —
и старит сердце и чело.
Оно приходит сквозь наветы
и сквозь оседлый мой успех,
и память — личная планета —
подсказывает:
— Так у всех!
Спокойствие! Ты милый грозно
чужую, зоркую молву,
про то,
что я не так живу,
не с тем дружу,
не тем слышу!...
Приди ко мне, пока не поздно,
чтоб не стараться:

быть бы живым,
Хоть лживым, хоть каким
другим!

Спокойствие!
Быть одержимым
в прозренье: ты необходим!
Пускай другим хитро и косно
живется.

Ты же начеку,
спокойствие!
Ты беспокойство
за все, что есть
и быть чему!
За все, чего не скрыть под тенью
той суеи, где мы живем.
Так снег спокоен пред метелью,
так рожь спокойна под дождем.





ДВА

рассказа

Рисунки В. Высоцкого

I. ЛЕТАЮЩИЕ ОСТРОВА

Он стоял на раскаленной железной палубе, где бы в самый раз яичницу жарить, и щурился от нестерпимого блеска. Июльское солнце слепило, как вспышка электросварки. Мутная рыжевато-белая вода шипела и пенилась за бортом.

Он знал: старый пароход доживает свой век. Когда-то, еще на стапелях, судну присвоили гордое и стремительное название «Дельфин», а теперь любой прудовой карась мог бы дать ему фору. Паровая машина неизвестной бельгийской фирмы дрожала от напряжения, словно ее мучила тропическая лихорадка. «Дельфин» походил на заезженную клячу, хотя в отличие от нее над ним гнулась не одна, а целых четыре дуги. Они перекинулись по корме от левого до правого борта. В его гулком чреве свистел пар и селезенкой екала золотниковая коробка. Но все усилия были тщетны — больше пяти узлов пароход выжать не мог. На этот раз он тянул баржу, груженную балластной ракушкой. Предстоял рейс до Новороссийска, тысячный для «Дельфина» и первый для маленщика Севки.

Недалеке, за якорной лебедкой, Федя Шустрый, белобрысый, точно крашенный перекисью, надрывая палубу, мурлыкал идиотскую песенку:

Наша мама стала нехорошей,
В купалье ей не хочется играть...

Навалившись грудью на планшир, Севка мысленно прокладывал курс судна. Сделать это было просто, так как от самой Голубицкой косы по обе стороны фарватера торчали вешки — вербовые шесты, обмотанные паклей. Где-то у самого горизонта пролегла темная полоса. Там открывалось чистое море — лазурь со свинцовой присадкой.

«Дельфин» давился ощупью. Буксирный трос то натягивался струной, то провисал, чиркая по воде. Прибрежная полоса Азовского моря таила немало опасностей, и главной из них считались песчаные банки — скрытые под водой отмели. Славилась эти места и внезапными шквалами и крутой волной, способной переломить судно пополам.

— Мелкая вода всегда поднимает большую зыбь, — в первый же день объяснил Севке боцман Игнатий Антонович. Он сказал это не без намека и покосился выпуклым глазом на щуплую фигуру парня.

Что и говорить, боцман оказался ядовитым мужиком. У него была сутулая спина, длинные, как ухват, руки и сетка морщин на дубленной шее. Седые волосы скрутились в тугие завитки. Казалось, надев однажды каракулевую ермолку, Игнатий Антонович решил не снимать ее до конца жизни. И нос у него был хищный и усы, как зубная щетка. С таким следовало держаться настороже.

Но сейчас Севка был свободен и наслаждался видом морского простора. К этим низким лавным берегам он шел тернистым путем. И если бы не мечта о мгновенном блеске летучих рыб, испепеляющих небо закатах и шелесте кокосовых пальм, как знать, сумел бы он дойти сюда или нет. Мечта становилась навязчивой идеей и упрямо влекла его за собой.

Севке не исполнилось и семи лет, когда он впервые сказал:

— Буду штурманом дальнего плавания.

— Ну-ну,— усмехнулся отец.

Уловив в голосе старшего оттенок снисходительности, мальчишка сердито насупился:

— И буду!

Дома к этому были вполне подготовлены. Едва научившись держать в руках карандаш, Севка начал изводить горы бумаги. Он рисовал корабли. Сначала они напоминали ступенчатые пирамиды древних народов. Их венчали пятиконечные звезды и клубы графитного дыма. Потом у Севкиных кораблей стало обнаруживаться сходство с духовым утюгом и печкой «буржуйкой» одновременно. И только значительно позже их абрисы приобрели легкость и некоторое сходство с оригиналом.

С детства Севка научился мечтать. Став взрослее, он черпал пищу для своей фантазии в романах Стенсена и Джека Лондона. Его волновало все связанное с морем: репродукции картин известных маринистов, полет чайки и даже плеск воды, бегущей из водопроводного крана. Севкиному постоянству можно было позавидовать.

Он заканчивал девятый класс, когда погиб отец. Крошечный осколок размером в один на три с половиной миллиметра, еще с войны покоившийся под крышкой черепа, убил его одним же наповал. Маленький осколок замедленного действия.

Мать не разделяла Севкиных увлечений. На руках у нее оставалось трое детей. Мореходное училище пришлось отложить до лучших времен. Нужно было искать работу. Севка грузил товарные вагоны, прокладывал линию газопровода, мостил рубчатыми плитками городские тротуары и... читал. Он знал до мелочей карту звездного неба и помнил названия далеких тихоокеанских атоллов. В вечерней школе с греком пополам добил десятый класс. Пробовал устроиться в «мореходку» на заочное — сорвался! Из приемной комиссии требовали справку с работы, связанной с морским транспортом. Он подался в Новороссийск, но там искателей приключений можно было складывать штабелями вдоль набережной. Кто-то предложил попытаться счастья в Темрюке. И тут Севке повезло: на «Дельфине» освоившись место масленщика.

Веселый палубный матрос Федя Шустрый доверительно сообщил ему, что старая калаша ходит по следам навигации. Потом ее разрежут для переплавки, а команду переведут на новое судно. И Севка, не успев еще ступить на трап «Дельфина», стал с нетерпением ждать этого часа.

...Воздух дрожал и струился, искривляя очертания. Линия горизонта казалась зубчатой, как пила. Где-то справа из моря возник остров. Он был совсем белым и походил на облако, спустившееся с высоты



А дальше за ним в дымке испарений виднелся другой остров и третий... Они рождались один за другим, как миражи, хрупкие и недолговечные в своей иллюзорности. Что бы это могло быть? Меловые берега? Заросли лотося, о которых рассказывали местные рыбаки? А может быть, оптический обман?

Проще всего было бы спросить у кого-нибудь из ребят или у того же боцмана, но Севка не хотел выглядеть невеждой. Ему стоило огромного труда сохранять на лице выражение устоявшегося безразличия.

Севка до рези в глазах всматривался в широкую косу, протянувшуюся с востока на запад, и ему казалось, что там начнутся на ветру дикие белые цветы.

Каждый человек смотрит на мир своими глазами, каждый ищет в жизни свое. Севку прельщало в ней главным образом все необычайное. Даже представление о материальных ценностях расходилось у него с общепринятым. Он мог, не задумываясь, выменять зуб кашалота на свои новые ручные часы (этот зуб привез с Курил какой-то вербованный аристократ) или отдать за «Моби Дика» Мелвилла собрание сочинений Золя.

По натуре Севка был подвижен, напорист и упрям. Судьба обошла его, не наделив мощными бицепсами. Он был невысокого роста, узкогруд, и пальцы его казались тонкими, как у подростка. Но то, о чем не позаботилась природа, восполняли качества его характера. Если бы упражнения с утюгом, которые Севка проделывал ежедневно, перевести в полезную работу, то можно было бы целую неделю освещать многоэтажный дом. Круглый год Севка ходил с непокрытой головой и обтирался во дворе мокрым полотенцем. В результате мышцы его не надудили шарам, как это обещало руководство для самостоятельно занимающихся гимнастикой, но зато стали упругими и эластичными, точно вакуумная резина. Севка был сух и вынослив. Не всякий работник-муж мог бы соперничать с ним. «Зажмули судовые склянки. Севка сплюнул за борт.

— Ты давай, механик зовет,— послышался за спиною голос второго масленщика.— Да за борт не плюй, не в клубе находишься.

Севка разозлился:

— Если ничего делать, поставь ведро или на худой конец бронзовую урну с двумя ручками. Не в карман же тебе плевать.

Масленщик прищурил маленькие глаза и холодно спросил:

— А болт с левой резьбой не хочешь?

— Понадобится — спрошу. Во всяком случае, буду помнить, что такая штука у тебя имеется.

И он пошел, не оборачиваясь, выражая этим свое полное пренебрежение к противнику.

Севка знал, для чего он нужен в машинном отделении. Сейчас механик начнет гонять его по узлам, проверять, правильно ли он запомнил свои обязанности. Севка не забывал, что ночью ему предстоит заступать на первую самостоятельную вахту, и поэтому все время немного волновался. Надо было взять себя в руки и не подавать вида. Хорошо хоть, в течение дня ему дали возможность освоиваться с работой.

В три часа ночи его потрясла плечо. Он проснулся мгновенно. Выбрался из тесного кубрика. Над палубой растекался непроглядный мрак. Только в рубке у рулевого матова светились компасная кар্তুшка, да языками ацетиленового пламени врезались в темноту бортовые огни.

В машинное отделение Севка спускался так, словно занимался этим со дня своего рождения. Правда, с привычкой он так ступил голенью о комингс, что содрал кожу, но на это не стоило обращать внимания. Пулеметной очередью прокатились по оплодворенным ступеням трапа его быстрые шаги.

Визгу пахло разогретым маслом и паром. Грохот чугунного маховика навалился на него многогононой тяжестью. В глазах рябило от вертящихся и сиюющих деталей. Бешеным волчком крутился центробежный регулятор, тускло лоснилась от застывшей смазки латунная окановка, сухо пощелкивал привод генератора, а тяжелый шатун грозил протаранить переборку отсека.

Подождал механик — мрачный человек с глубокими складками на лбу, в которые вместе с потом влезала чернота истертого металла. Он вручил Севке маслянку с длинным носиком, показал, где хранится тавот, и плуцнул ногой ящик с ветошью: «Все места смазки Севка знал отлично, он ошупывал их еще на холодной машине. И тут вроде бы не было ничего хитрого. Но вот кривошипно-шатунный механизм... Эта чертовщина на способна была нагнать страх даже из человека: с железными нервами. А ведь начинать придется именно с него...»

Слева вертелось двухметровое колесо маховика, а прямо на Севку этаким стенобитным орудием мчалось стальное коромысло. Здесь уж гляди в оба, чтобы не схлопотать по зубам!

Главное заключалось в том, чтобы уловить момент, когда рычаг достигнет крайнего положения, и тогда, поймав крышку тавотницы, повернуть ее влево. И так раз за разом, пока колпачок не окажется окончательно свинченным. Потом, набрав в горсть тугоплавкой смазки, ее надо было втолкнуть в пасть тавотницы, набить до отказа. И это еще не все: крышку предстояло водрузить на место, а за один раз, проворачивая рукой ускользающий шатун, успеваешь довернуть ее по резбе всего на поллитки.

Севка решительно протянул руку. Он пытался вунзуть себе, что в этой работе нет ничего особенного, что он уже тысячу раз проделывал подобные вещи. На его счастье, море все время было спокойным и настала в машинном отделении не ускользав из-под ног. Севка смотрел на посверкивающий в электрическом свете шатун, а в памяти вставал белый остров с берегами словно из отмерших кораллов. И пахло не горячим маслом, а редкими цветами. Одурающе и сладко.

Он на минуту представил себе новое судно, на которое его переведут в следующую навигацию. На нем Севка пойдет к неведомым островам, к далеким экваториальным широтам. Ему рисовались стремительные обводы, арктическая белизна корпусов, надменные «медведишки» и размеренно-спокойный, как стук здорового сердца, рабочий ритм дизелей. На

ходовом мостике будет торчать не корытушка Краб, а настоящий моряк. «Стоит он, тяжелый, как дуб, но часаны рыжие бакы, и трубку не вырвать из губ, как кость у голодной собаки», — всплыли из памяти когда-то читанные строки. И, несмотря на внешнюю суровость капитана, в его голосе прозвучит заметная теплота, когда, обращаясь к Севке, он скажет: «А ну, штурман, возьми-ка пеленг...»

Севка наизвергивал колпачок, и в его душе зрела ненависть к старому «Дельфину», к этой ни на что не пригодной посудине. Он никогда не подозревал, что куча грохочущего железного лома способна вунзуть столько отвращения и ужаса. Его бросало в дрожь от постоянного рева голодающего металла, который требовал: «Масла, масла, еще масла!» И он забивал тавотом скользкие глотки, метался с масляной, спеша утолить чужую жажду. Это напоминало кормление хинчиков в клетке: одно неловкое движение — и руки по локоть как не бывало. Здесь каждый шкив, каждый эксцентрик таил в себе скрытую опасность.

От жары и спертого воздуха — вентилятор не успевал отсасывать его — Севку слюга потащила вверх. Все это казалось несправедливым. Почему такой тип, как Федька Шустрый, может работать там, наверху, где пахнет морем и чистотой, а он... Теперь Севка окончательно понял, что ему не повезло. Выбран слишком трудный путь к цели. В конце концов все могло устроиться иначе.



С вахты Севка сменился в семь утра. На палубе его встретило солнце и веселый рев динамика, укрепленного где-то высоко. Оттуда неслись звуки бравадской самбы. Это Федя Шустрый прокручивал долгоиграющие пластинки.

Ночью прошли Керченский пролив, и берега сейчас выглядели совсем по-иному. Контраст был настолько разительным, что создавалось впечатление, будто эти два моря — Азовское и Черное — разделял не узкий пролив, а весь простор мирового океана. Крутые изломы скал, квадраты виноградников и смутно зеленоющие на юго-востоке горы. Вода была густо-синей, как чернилка для вечной ручки. Даже прозрачные пласты, отсекаемые штевелем, просвечивали льдистой голубизной. Где-то на горизонте возникли призрачные очертания огромного теплохода. Он шел из Крыма, держа курс на Новороссийск.

— «Россия», — крикнул Федя, выходя из радиорубки. Он протянул Севке измятую пачку «Джебеля» и улыбнулся каким-то своим мыслям. — Придет в порт часа на три раньше нас...

— Что и толковать, рядом с ним видок у нас особенно жалкий. Ход скоростной медузы.

— Тыше едешь — больше командировочных, — неопределенно заметил Федя.

С юта в сопровождении боцмана приближался капитан. Он тыкал во что-то толстым волосатым пальцем и недовольно морщился. Даже блистающее утро, видимо, не влияло на его настроение.

Капитану «Дельфина» Григорию Ивановичу Гренкину давно пора бы на пенсию, но старик терпеливо ждал, когда его пароходик дослужит свой век, пойдет на слом. Трудно было представить, что кто-то другой займет место на мостике, который он прощаркал собственными ногами.

За глаза капитана называли Крабом. Кто знает, что послужило причиной этому прозвищу! Может быть, приземистая фигура и голова, растущая прямо из плеч, а может быть, привязанность

к морю или особая привычка двигаться бочком. Так или иначе кличка оказалась меткой и намертво приросла к Гренкину.

Севка Краб не замечал, словно его тут не было вовсе, и парня это всерьез злило. Раздражали его и пучки волос, которые торчали у капитана из ушей, и шаркающая походка, и бинокль с треснувшим объективом. Сейчас, когда Краб проходил мимо, до Севки доносились его слова:

— Вентиляционные трубы и решетки эти, черт возьми, я сам красить буду! Все रहा поела...

— Так ведь оно и время,— неуверенно возражал бочман.

— Я те покажу время! — побагровел Краб. — Ты, Игнатий, слушай, когда тебе приказывают, и выполняй. — И вдруг, повернувшись к Феде, с яростной величавостью сказал: — А нельзя ли потише сделать эту какофонию? Будьте любезны. Не всякому приятно...

Шустрый влетел в дверь радиорубки, как шар в бильярдную лузу, и буквально через две секунды тропические синкопы заглохли, отдалились настолько, что стал отчетливо слышен шелест воды, омывающей борт. Феда вернулся раздосадованный.

— Старая переночка! — ругнулся он, усаживаясь на тумбу кнехта. Но перед ним Феда все же нашел нужным для верности оглядеться по сторонам. — Тоже мне музыкальный критик сыскался...

Не успел он закончить свои излияния, как снова появился Игнатий Антонович. На этот раз в руках у бочмана было небольшое ведроко с шаровой краской.

— Шустрый! — крикнул он. — А ну-ка, прожвачь ростры. А ты, — он покосился на Севку, — повози кисточкой, поднови решетку палубного иллюминатора. — И, предвидя возможные возражения, добавил: — Ваше хозяйство, не мне светит...

Откровенно говоря, Севка мог бы запросто отказать от этой чести: во-первых, бочману он не подчинялся, а, во-вторых, сменявшись с вахты, мещанин имел полное право отдыхать законные восемь часов, — но портить отношения со стариком не входило в его расчеты. Конечно, вся эта затея выглядела до смешного нелепой. Красные ростры еще большие подчеркнут безнадежную дряхлость и грязно-мазутый цвет «Дельфина». Но сейчас ничего другого не оставалось, и Севка принялся за дело. Рядом «жвачил» ростры Феда. Он обмакивал в ведро кусок пакли и тер ею вентиляционную трубу. Серая краска ручейками стекала с его локтей. Работать молча было скучно, поэтому Севка решил наконец поговорить о том, что его особенно занимало.

— Скажи, только по-честному, почему ты все время отрываешься в радиорубке?

Феда смущался. Такая постановка вопроса застигла его врасплох. Хотя в конце концов надо же было понимать, что бесконечные посещения рубки не смогут укрыться от членов маленького экипажа. А поводов навестить Катю всегда хватало. Каждое утро Феда заходил к радистке, чтобы узнать очередную метеосводку. О прогнозе погоды он обычно спрашивал почтительно и регулярно, как о здоровье родителей. Крутил собственные пластинки. Наконец Феда отжал паклю и, повесив ее на дужку ведра, разогнул спину.

— То, о чем ты думаешь, старик, — это все зата. — Он усмехнулся и вытер нос о плечо. — У Колеры парень в Темрюке. Гвоздь! Сама говорила. А я так, присматриваюсь к технике, интересуюсь. Ясно?

Ответ прозвучал исчерпывающе, и сказать Севке было нечего. Он даже готов был пожалеть, что затеял дурацкий разговор. Лучше бы не задавать вопроса и не знать этих никому не нужных подробностей. И хотя логика вещей подсказывала Севке, что у такой девчонки не может не быть парня на берегу, слушать об этом не хотелось.

Впервые Севка столкнулся с радисткой несколько дней назад, когда поднялся на палубу «Дельфин». Он увидел дикие степные глаза с искорками тлеющего в них лукавства, татарские скулы и коротко остриженные волосы, свободно развевавшиеся по ветру. Горячее солнце временами вспыхивало в них красной медью. У нее была фигура врожденной гимнастки, а походка легкой и стремительной, как полет стрижа. «Не ходит, а пишет», — подумал тогда Севка. — И на язычок, видно, остра — не приведи бог подвернуться!»

Ему вдруг до отчаяния захотелось понравиться этой девчонке, захотелось, чтобы она обратила на него внимание. Но Катя ветерком прошлепала мимо, даже не повернувшись в его сторону. Казалось, тут бы и конец, можно на этом поставить точку, но радистка никак не желала выходить из головы. «Чертовщина какая-то! — ругался про себя Севка. — И чего, собственно, в ней такого необычного? Красавица? Это уж на кого как. Одаренная личность? Не успел заметить. Полярная летчица, укротительница львов? Исключено. Так в чем же дело? А может быть, я просто влюбился? Этого только не хватало!» Он жил слишком целеустремленно, чтобы отвлекаться по мелочам. А вот теперь одно упоминание о каком-то парне из Темрюка (тоже мне город!) способно было вконец испортить ему настроение.

Севка был верен себе. Начитанность и живой ум, настроенный на ироническую волну, странно уживались в нем со своеобразной инфантильностью во взглядах. Но это не бросалось в глаза, потому что Севка держал язык за зубами и ни с кем не делился ни мыслями, ни своей мечтой.

Интерес к разговору с Федей у него пропал, и он молча водил полустертой кистью по железным прутьям решетки. Сквозь толстые стекла иллюминатора Севка угадывал очертания судовой машины и временами видел затылок своего сменика. При одной мысли, что через какие-нибудь семь часов ему предстоит снова опускаться в эту преисподнюю, Севку так передернуло, словно он откусил недозревший лимон. Как, однако, все это далеко от тех белых островов, которые пригрезались ему вчера в полдней.

Закончив работу, Севка бросил кисть и вздохнул. Подошел Феда, вытирает руки тряпкой, смоченной в керосине.

— Гляди, — кивнул он. — Проспал отец Игнатий своего выкорымова.

Вдоль борта деловито семенял длинноухий серый щенок. У него была забавная похматая морда и любопытные глаза чистокровной дворняжки.

— Что-то не видел его раньше, — недоумевающе заметил Севка.

— Надо думать. Запирает старик. Бойтся, чтоб не сыграл в воду. Ну и упрям же, черт, уверяет всех, будто собака охотничья. Аж леной брызжет. Вон полхвоста ему оттаял. Говорит: положено...

Севка присел на корточки и легонько свистнул. Щенок остановился, склонил голову набок и вилнул обрубком хвоста. Его физиономия выражала доброжелательность и полное доверие к человеку.

Постояв так с минуту, пес двинулся дальше. На короткое время он задержался у входа в машинное отделение, прислушиваясь к шуму и чутко поводя носом, а потом вдруг исчез в темном проеме.

— Вот скотина любопытная! — бросил ему вслед Федя. — Так, гляди, и под маховик угодит.

Севка живо представил себе обстановку в машинном отделении, и в нем шевельнулась тревога за судьбу щенка.

— Надо поймать. — Севка оттолкнулся от поручней. — Жаль человека, пропадет ни за копейку.

Из камбуза выглянул боцман.

— Собаку не видел? — Лицо его было слегка растерянным, отчего выпуклые белкстые глаза окончательно вылезли из орбит, чем-то напоминающая целлулоидные мячики для пинг-понга.

— Машину инспектирует, — ответил Севка. — Вот иду ловить...

Боцман первым скатился по железному трапу. Внизу механик и тот масленщик, с которыми Севка поругался вчера на палубе, уже пытались поймать щенка. Но это, видимо, оказалось не так легко. От свиста и грохота машины собака обступилась до такой степени, что начала шарахаться в самые неподходящие места: поскользнулась в масляной луже, кинулась к шатуну, отскочила в сторону, перевернула на себя ведро с питьевой водой, которое стояло на краю тавотного ящика. Севка понял: жизнь щенка висит на волоске.

— Прекратите свалку, — в отчаянии заорал Игнатий Антонович. — Нельзя же так, надо по-умному. Шустрый и ты, — он снова кинулся только на Севку, — заходишь с тыла. Вон швабра! Да тише, не спугните...

Севка пробрался на четвереньках под хитрым сплетением пароводных труб. Он цокал языком, ластиво улыбался и приглашающе похлопывал ладонью по грязному настилу. Второй масленщик подползал к собаке на животе с противоположной стороны, в то время как Федя отгораживал шваброй приход генератора.

Щенок вздрагивал и затравленно моргал черными слезающимися глазами.

Федя как-то неловко крутнул шваброй, и в тот же миг пес отпрянул, вспрыгнул на помост, очутившись под крыльчаткой нижнего вентилятора. Вертящиеся стальные лопасти слились в прозрачный диск. Не замечая прелятствия, глупый щенок пригнулся нырнуть в вытяжной люк...

Севка и его напарник одновременно рванулись к собаке. Второй масленщик оказался ближе к цели. Он первым успел поймать беглеца за мокрый загривок,



а Севка, теряя равновесие, ухватился за какую-то случайно подвернувшуюся трубу.

Все тело пронзила острая боль. Ладонь приклепа к раскаленному металлу. Севка резко отдернул руку, оставив на трубе лоскут почерневшей кожи.

✱

Судовая аптечка хранилась в радиорубке, и первая помощь пришлось делать Кате. Девушка смочила марлевую салфетку в густом растворе марганцовки и приложила ее к ладони. При этом нос ее так болезненно морщился, словно перевязку делали ей самой. Марля приятно холодила рану, и садящая боль не казалась такой сильной. Рядом, на Катиной койке, дрожал завернутый в полотенце щенок.

Как только перед Севкой открылась овальная дверь рубки, он увидел его — темнюрского парня. В форменке и лихо сдвинутой на лоб бескозырке он вызывающе улыбался с фотографии на столе. Несмотря на безотчетную неприязнь, Севка отметил про себя, что у него сильно, мужественное лицо и добрый прищур глаз.

Кроме фотографии, он увидел на столе раскрытую книгу, осколок зеркала и начатый флакон «Шипра». «Одеколон-то мужской,— подумал Севка.— Надо полагать, морячок не больно разбирается в тонкостях парфюмерии». Ему как-то не пришло на ум, что сам он узнал об этом две недели тому назад.

Рация была вмонтирована в глубокую нишу. Оттуда на Севку настороженно и оценивающе смотрел зеленый глаз индикатора. Рядом на крючке висели наушники.

В рубку вошел боцман. Он посмотрел на почерневшую от марганцовки марлю, крунул острый плечом и уверенно сказал:

— Живет. Благо не правая. Без правой руки вахту стоять несподручно. Ну, а как это... крестник твой? — добавил он, разворачивая полотенце.

— Живет,— через силу усмехнулся Севка.
— Спаниель! Чистейших кровей собака,— говорил стерик, поглаживая пса по мягкой крапчатой шерстке.— У меня, брат, глаз на это дело неметанный. По весне в плавни пойдем с ним утей бить.

Размечтавшись, угрюмый боцман заметно размяк и подобрел. У него даже возникло желание поболтать на отвлеченные темы.

— Ну, а что нового там,— он кивнул на аппаратуру,— в эфире?

— Все то же,— ответила Катя.— Ничего особенного. Так весь день и слушаю, как промысловики с морозильниками лаются. Да вот у Суджуской косы ночью грек сухогрузный на мель сел.

— Эко, куда занесло его. Перепились они, черти, что ли? Добро хоть погода стоит, не то был бы один, деленный на два.

— Теперь опасность ему не угрожает,— добавила девушка.— Там ведь до порта рукой подать.

Боцман забрал щенка и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.

— Вечером приходите на перевязку,— серьезно сказала Катя, бантиком завязывая бинт на Севкином запястье.

Он смотрел на ее быстрые тонкие пальцы, на упавшую прядь волос, которая скрывала глаза радистки, и чувствовал, что ему совсем не хочется отсюда уходить.

Взглянув еще скользнул под стол. Севка увидел небольшой эмалированный тазик, наполненный водой. В тазике плавали этикетки, отмокшие от спичечных коробок.

— Это ваше? — удивился Севка.

Она засмеялась.

— Нет, это для Краба. Он коллекционирует. У него уже больше тысячи штук. Говорит, что будет составлять каталог, когда выйдет на пенсию. Только я не уверена, серьезно он или шутит.

— Сейчас многие этим занимаются,— заметил Севка.— Даже слово такое придумали — филумини-сты, что ли. Надо же как-то узаконить свое положение...

— А чем ему еще заниматься на берегу? — не принимая иронии, ответила девушка.— Там ведь у него нет ни души. Вся-то радость, что — старый «Дельфин».

В одиннадцать часов на буксире объявили при- борку. По окованной железной палубе загремели подшвы матросов. У кормового фальшборта Иг- натий Антонович с каким-то паренком, в сбитом на ухо берете прокуривал на холостых оборотах пере- носную мотопомпу. Федя Шустрый, раздевшись до трусов, бежал на четвереньках, раскатывая по па- лубе рукавную линию.

— Давай напор! — крикнули с полубака.

Севка видел, как матрос навинчивал на брезентовый ствол медную головку брандспойта. Движок зачастил веселее, а рукав на глазах стал дышать, раздуваться и, зашевелившись, как чудовищная ре- птилья, выплюнул хлесткую, тугую струю воды. Сквозь дырки в пробитом шланге брызнули веселые фонтанчики.

Слышались покрывания боцмана, гремели ведра, шуршали и хлопали мокрые шабры. Федя Шустрый окатывал водой палубу и, покачивая широкими пле- чами, распевал во все горло:

Папа наш давно в командировке,
Нынче далено от дома-он,
Дядя Гарри папу заменит —
Маме он купил одеколон...

На последних словах куплета голос его поднимался так высоко, что Федя не выдерживал и начинал си- петь, как гриппозный. Босыми ногами он отшлепы- вал жезловый ритм. Во все стороны летели мелкие брызги.

— Кончай базарить! — рявкнул на него Игнатий Антонович. Штаны его были засучены до колен, из-за пояса торчал разводной ключ наподобие крупнокалиберного револьвера. Для колорита не хватало только серги в ухе. Старик вытягивал жи- листою шено и грозил крючковатым пальцем: «Я те покажу!»

Умытый «Дельфин» посвежел и вроде бы резвее потянул баржу. Федя Шустрый выволоч из кубрика объемистый фанерный чемодан и стал перетряхивать свое барахлишко. Спать Севке не хотелось. Он молча наблюдал за своим новым приятелем.

— Сирость проклятая,— цедил сквозь зубы Федя.— Скоро все мхом порастет.

Под буксирными дугами, где болтались связки су- хой тарани, он стал развешивать свой обширный гардероб: пиджачок с разрезами по бокам, зеле- ные брючины, узкие, как офицерские голенища, ки- тайский свитер и галстуки, галстуки, галстуки, точно на базе «Мосгалантеррея». Каких только галстуков он не извлекал из своего чемодана: и красные с белы- ми медведями, и зеленые с желтыми пальмами, а один был фиолетовым, как промокашка, побывав- шая в черныльнице.

— Купил у одного пижона с «Караганды», — по- хвастался Федя.— Ходил в загранку. Там, говорит, эти галстуки называют «Сумерки Тонкина». Вещь!

— Когда же ты их носишь успеваешь? — поразился Севка.

Федя как-то жалко улыбнулся и почесал за ухом.

— Так, покупаю. Может, сгодятся...

— Купил — носишь надо!

— Куда носешь? Вот пригласил Катю на танц... И в Керчи, и в Ачуево, и в Анапе — не идет, смеется. А самого не тянет...

Ветерок развевал яркие галстуки, парусом надувал пиджачок, и Севка подумал, что все эти атрибуты на- поминают боевые доспехи, которые до поры хра- нятся в интендантских складах, ждут своего часа.

— Не идет,— повторил Федя и грустно пожал плечами.

— Видел я этого темрюкского сердцееда,— усмехнулся Севка.

— Где?

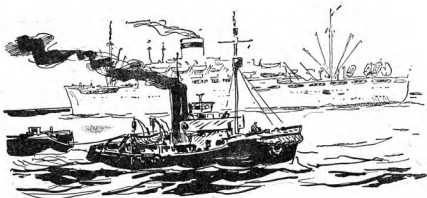
— Будто сам не знаешь. В рубке, конечно, на фотографии.

Федя нахмурился.

— Чудо! Это же отец ее.

— Чей? — Севка обалдело вытаращил глаза.

— Да Катерины, чей же еще? Перед войной сни- мался. В сорок втором погиб у Чушки на этом самом



«Дельфине». Тогда «Дельфин» числился кораблем Черноморского военного флота, доставлял снаряды в Крым, таскал баржи с ранеными. У нашего Краба за те дела три боевых ордена. Старший лейтенант Гренкин — это, старик, не хала-бала. Его от Днестра до Зеленого Мыса все капитаны знают, первыми приветствуют...

— Вот почему Катя пошла на «Дельфин», — подумал вслух Севка.

— Здесь для нее дом родной, — уточнил Федя. — Отец, как ты, масленщиком начал, потом на старомеха выучился. Может быть, так бы до сих пор с Крабом и плавал.

От всего, что Севка увидел и услышал сейчас, в голове была полная сумятица. Краб... Старший лейтенант... Темрюкский паренёк... Отец... Одеяло... «Шипр». Все как-то смешалось, отодвинулось в сторону, и он отчетливо представил на капитанском мостике одинокого старика. Таким он видел Краба полчаса назад во время приборки. В редких ключковатых бровях блестели капельки пота, а тяжелые красные руки сжимали круглый поручень. Увидел, ничего не понял и отвернулся, как от прильзывавшей паровой трубы.

— Стало быть, последнее лето ходит «Дельфин»! — то ли спросил, то ли констатировал Севка.

— Точно. Вон уже и краску боцману перестали отпускать на складе. Все равно, говорят, вощ колючег в утиль списывать. Краб теперь эту краску на свои деньги покупает в скобяном магазине... С получки.

Неожиданно для себя Севка как-то особенно остро осознал, что с каждой пройденной милей «Дельфин» приближается к своему последнему причалу. Он уходил из жизни с тем удивительным достоинством, какое дается в награду за бескорыстие

и долголетний труд. Когда же суждено этому случиться?

Шумела вода за бортом. До Севки доносился стук машины, равномерный и бесстрастный, как пощелкивание метронома...

На подходе к Суджукской косе увидели греческий пароход. Над его высокой кормой покачивался бело-голубой флаг, похожий издали на обрывок полосатой тельняшки.

Пароход, по-видимому, недавно стянули с банки. Лагом к нему швартовался аварийщик «Подвойский». Оттуда готовились спускать водолаза. Наверное, решили осмотреть днище. Недалеке дымил на якоре приземистый буксир.

С «Дельфина» просемафорили, спросили, не нужна ли помощь. Аварийщик поблагодарил и ответил: «Все в порядке, три фута воды под килем».

— Квартердечная коробка, десять тысяч тонн, — со знанием дела пояснил Федя, показывая глазами на грек.

На юте с мегафоном в руке появился старпом. Он критически осмотрел пеструю, гирлянду гаусткоз и, обращаясь к Феде, потребовал:

— Убрать флаги расцветивания! Не тот случай...

Когда уже входили в Цемесскую бухту, из-за бетонного мола показались «Россия». Суда шли на встречных курсах. Дизель-электроход «Надежда» на «Дельфина» двигался на «Дельфина» гигантским, празднично свержающим айсбергом. Лучи солнца, отражаясь в его иллюминаторах, слепили Севку, как проектор.

И вдруг над заштилешей бухтой полпыл мощный гудок низкого бархатного тембра. Это «Россия» приветствовала испытанного ветерана. «Дельфин» вежливо отошел от нее, свистящим шепотом старого астматика.

Сзади подошел Краб. Он сдвинул на затылок



фуражку. Белый чехол на ней был, видимо, только что заменен и топорщился от крахмала. Капитан недавно побрился, и по-стариковски розовая кожа глянцево блестела на его щеках.

— Болит! — спросил он, покусившись на Севкину забинтованную руку.

— Нет, — коротко ответил тот.

Краб опустил Севке на плечо свою тяжелую короткопалую руку.

— Ничего, когда-нибудь из тебя выйдет неплохой масленщик...



В полдень на третий сутки «Дельфин» снова подходил к Голубицкой косе. Севка, сменявшись с вахты, стоял у носового фальшборта. А рядом, примостившись у якорной лабедки, сидела Катя. На коленях у нее дремал двухмесячный щенок. «Спаннел» — собака чистейших кровей». Тут же, на баке, четверо парней забивали «козла». Пистолетными выстрелами звучали азартные удары косяшек.

Из-за рубки выглянул Федя Шустрый. Его шея была повязана желтой косынкой, под цвет волос. Подошел, покосился на радистку, помаячил несколько минут и так же молча удалился, надо полагать, в кубрик. Севка слышал, как он насмешливо что-то невнятное, а потом до него долетел озорной голос:

Я не буду делать, как мой папа.
И женюсь я лет под сорок пять...

Неожиданно прямо впереди Севка увидел знакомые белые острова. «Дельфин» так уверенно держал на них курс, точно собирался с ходу выброситься на берег. Катя, не выпуская щенка, подошла и осталась рядом. Севка с затеянным волнением вглядывался вперед. Остров был уже совсем рядом, до него оставалось не больше пяти кабельтовых. «Дельфин» приближался к нему неуклонно, он шел, тяжело отдуваясь, поднимая пологую волну под свое ржавое, поросшее водорослями днище.

И вдруг — это было как чудо — белый остров стал на глазах отрываться от воды. Он парил в воздухе, как густая морская пена, как материализованная мечта. Летающий остров — восьмое чудо света!

— Что это? — невольно вырвалось у Севки.

— Где? — не сразу поняла Катя. — Ах, там... Это чайки. Простые чайки, — улыбнулся он.

На горизонте вставала из моря земля, низкая, как палуба всплывающей субмарины.

— Он придет встречать тебя! — спросил Севка и сам не расслышал своего голоса.

— Кто?

— Да этот, темирюкский парень. Гаозды...

Девушка рассмеялась так звонко, что Севка показалось, будто на палубе рассыпались стеклянные бусы.

— Чудак! — сказала она. — Это я просто так. Не хотела, чтобы приставали ребята... — Катя втянула в себя воздух. — Ты лучше понохай, как пахнет мокрым песком.

— Пахнет, — согласился Севка, хотя на самом деле пахло вовсе не песком, а промасленным канатом, нагретой масляной краской и рыбой.

Белый остров, закрывавший солнце, рассыпался на тысячи осколков. Бесконечное множество крыльев трепетало над «Дельфином». По палубным надстройкам, по лицам людей забегали суетливые радужные зайчики. Севка улыбнулся.

Остров больше не существовал...

Чайки были уже далеко. Они растянулись над морем, как легкие перистые облака, и постепенно таяли в ослепительных лучах солнца.

2. НЕОКОНЧЕННАЯ АКВАРЕЛЬ

Преисполненный самых радужных надежд, я ехал грузовой машиной к берегу Черного моря. Кавантинная служба командировала меня на колхозные виноградники. Нужно было организовать обработку почвы химикатами: в центре поблизались заражения старых кустов филлоксерой. В эти места я ехал впервые. Настроение было великодушным. Его не могли омрачить ни бесконечные головокружительные повороты, ни выбоины в разбитом грейдере, ни частые поломки машины.

Мое нахождение выбрало для меня едва ли не самый глухой уголок Кавказского побережья. Это был еле приметный, выдающийся в море мыс с маленьким селением, которое можно отыскать далеко не на всякой карте.

Надежды не обманули меня. Селение с загадочным названием Зета лежало передо мной, как прекрасный неведомый островок, затерянный в беспредельности океана и открытый мною только что с борта старого грузовика.

Три цвета полновластно царили на этой земле — зеленый цвет веселых лесистых гор, белый цвет мергелевых скал и, наконец, голубой цвет неба и моря, границу между которыми сейчас, в жаркий июльский полдень, определить было невозможно.

Все дремало, убаюканное однообразным пенем цикад, ленивым плеском теплой волны. Мысли настраивались на романтический лад.

Меня поместили в небольшую комнату, еще хранившую запах свежей известки. Единственное окно с выбитыми стеклами выходило на виноградник, раскинувшийся по склону пологой горы.

Жагда новых открытий настойчиво влекла меня вперед. Даже не отдохнув с дороги, я устремился к морю. Оно было совсем рядом, внизу, подо мной. Стоило только сбегать с горы, как светлые волны улеглись у моих ног, зашипев на песке и зашуршав полированной галькой. Я сидел на раскаленных солнцем камнях, подставляя лицо освещающему бризу, и вдыхал полной грудью влажный воздух, настроенный на водорослях.

Тут же, не сходя с места, я сделал открытие. Оказалось, что я не был первооткрывателем этих удивительных мест. На берегу под самодельным тентом сидела небольшая группа отдыхающих. Теперь, когда полуденный зной начал сменяться относительной прохладой, курортники стали выползать на берег с помятыми и припухшими от долгого сна глазами.

Первым, на кого я обратил внимание, было странное мохнатое существо, вылезавшее на четвереньках из моря. Густая шерсть покрывала его широкую грудь, спину и плечи. Когда существо приближалось ко мне, я с удовольствием отметил, что у него довольно симпатичное лицо со слегка приплюснутым носом и живыми черными глазами. Человек был шоколадного цвета.

— Салам! — приветствовал он меня низким рокочущим басом. — Абorigены приветствуют новичков. — И он тяжело осел на жалобно заскрипевшую гальку. — Давайте знакомиться. Артур, — представился он.

Через четверть часа мы уже дружески беседовали с этим человеком, который оказался химиком, до-

центом одного из крупнейших московских институтов. По мере того, как на пляже появлялись все новые и новые люди, Артур заочно знакомил меня с ними, наделяя их краткими характеристиками.

В это время на берегу показались величественная дама с огненно-рыжими волосами. Одной рукой она вела на поводке карликового пинчера, а в другой несла красный китайский зонтик с таким достоинством, словно это был по крайней мере королевский скипетр.

— Это не примадонна столичной оперы, — поспешил рассеять мои сомнения Артур. — Она чья-то жена. Также в конце концов неплохая профессия. А с ней Глеб, ее поклонник и земляк, — продолжал он тоном опытного экскурсовода, кивая в сторону длинноногого молодого человека, похожего на голзностого петушка. Мокрые волосы его торчали хохломом неподобие птичьего гребня. — Одно время он выдавал себя за инженера с «Сельмаш». Оказался квартирным мажором с юридическим образованием. Это почти все одна компания. — Насмешливое выражение на его лице сменялось откровенной грустью. — В прошлом году на всем здесь еще лежал отпечаток этой первозданной чистоты, — говорил он, окидывая взглядом неширокую долину. — А сейчас все залепано, заглохло. Везде, где посидят эти люди, остаются горы окурков и огрызки яблок. И мух...

Я заметил, что для такой компании больше подойдет бы какой-нибудь шумный курорт.

— Вы рассуждаете наивно. Здесь они укрыты высокими горами. Видимо, у них есть основания избегать слишком людных мест. К тому же тут неплохая рабочая столовая, где вкусно кормят и не выдает очереди. А для курорта — это решающий фактор. Ясно одно: не преклонение перед красотой природы привело их сюда...

Мы купались и потом курили, лежа на горячей гальке. Дело уже шло к вечеру, когда я почувствовал вокруг себя непонятное охлаждение. Артур оглянулся и кинулся на гору, по которой от небольшого домика висела едва приметная тропинка. Там к моему спускался худенькая девушка с короткой мальчишеской стрижкой. Она была в одном купальнике, и последние лучи солнца золотили кожу на ее плечах.

— Морская царевна...

— Кто? — переспросил я.

— Морская царевна. Так ее называют на пляже. Художница из Ленинграда. Примечательна тем, что купается, как русалка, в одеянии Евы. Ухаживания отвергает. Рыжая дама заявила, что она не может быть хорошей художницей. По-моему, существо безбидное. Социальной опасности не представляет.

— А разве она не может уйти куда-нибудь подальше? — спросил я.

— Дальше? Нет. Там водоросли и острые камни. И потом ее никто не видит. Она раздевается в воде.

Девушка спустилась на пляж и прошла мимо нас, опустив голову и не поднимая от земли глаз. Лицо у нее не было красивым. Острый носик обгорел, и кожа на нем слегка шелушилась.

— Явилась! — прошептала рыжая дама, притягивая к себе карликового пинчера, словно несчастный пес мог подсмотреть что-то непристойное.

Отойдя от всех на почтительное расстояние, девушка окинула взглядом далекий горизонт и, разбегавшись, бросилась в море. Окунувшись пару раз, она повернулась спиной к пляжу и стала что-то делать в воде. На поверхности виднелась только ее голова.

— Снимае! Снимае купальник, — послышался за спиной нас чей-то возбужденный голос.

— Нет уж, — возразила обладательница китайского зонтика и собачки, — сейчас она прячет его под камнями. Я как-нибудь знаю, нагладелась.

Они смотрели в сторону девушки. В это время она нырнула, и голова ее исчезла под водой. Прошло около минуты, прежде чем мы снова увидели далеко от берега ее коротко остриженные волосы. Теперь они прямыми мокрыми прядями облепляли ее лицо.

Девушка плыла на боку, легко разрезая плечом волны. Потом она снова скрылась из глаз. Только на секунду мелькнули ее загорелые ноги.

Она кувыркалась в воде, подолгу неподвижно лежала на спине и потом снова, взметнув брызги, исчезала из виду. Нет, это не было похоже на обычное купание, когда человек прыгает в море от дневной жары или совершает длительные заплывы ради того, чтобы скинуть лишний жирок.

Морская царевна снылась с водой. Плавание приносило ей не просто удовольствие. Это было поклонение морю.

Она резвилась, как молодой дельфин, пока солнце не коснулось водной поверхности. И, казалось, море зашипило от этого прикосновения, и пар окутал заплывавший на волнах огненный шар.

Царевна подплыла к берегу и, не выходя из воды, натянула купальник. Обратно она шла так же, не поднимая головы, не слыша шепота и насмешливых слов, которые раздавались за ее спиной. Мы видели ее стройные ноги и узкие бедра. Мокрый купальник плотно облегал маленькое, как у тринадцатилетней девочки, груди.

Так прошел мой первый день в Зете. И потянулись другие дни, похожие друг на друга, как круглые камешки на пляже.

Я не знал, куда девать время, не занятые работой. Читать было нечего. Оставались разговоры на самые разнообразные темы и самозабвенная игра в подкидного дурака. Впрочем, этим занимались все.

Праздность, которая поначалу радовала приезжих, постепенно становилась угнетающей. Скуку переживала вся курортная Зета. Люди искали развлечений, но не могли ничего придумать.

Каждое утро с крыльца своего дома я видел Морскую царевну. Она сидела над обрывом на маленьком раскладном стульчике. На коленях у нее стоял раскрытый этюдник. Что и как рисовала она, никто не знал. Но это, безусловно, был единственный человек из числа приезжих, занятый каким-то делом.

За это время я ни разу не видел, чтобы девушка с кем-нибудь разговаривала. Утром она рисовала, днем, в жаркое время, отсидившись дома или уходя в лес и только вечером появлялась на берегу, словно нарочно, чтобы дать пищу для разговоров, как-то развлекать погибавших от безделья людей.

В свободные часы, которые иногда выдавались у меня, я купался, загорал, рассматривал в бинокль пустынное море, слушал анекдоты, которые так мастерски рассказывал Артур, и, между прочим, присматривался к людям.

Кроме компании Глеба и рыжей дамы, было еще несколько семейных людей. Они держались в стороне и почти никак себя не проявляли.

Однажды в воскресенье мы с моим новым приятелем лежали на берегу. Артур спал, накрыв голову полотенцем. Я же, приподнявшись на локтях и щурясь от яркого солнца, наблюдал от нечего делать

за шумной компанией. Там, как всегда, насмерть релазались в карты. Обычно они играли на интерес.

— Бессмысленная трата времени, — громко воскликнул длинноногий Глеб. — Я предлагаю устроить рыцарский турнир, джентльмены!

— Говорите яснее, — отозвалась рыжая дама. В обществе она называла его подчеркнуто на «вы».

— Все очень кругло. Каждый играет за себя. Проигравший должен объясниться в любви Морской царице. И не просто, а сегодня же вечером, в море, на виду у всего пляжа.

— Но ведь она, простите, голая... — сказала рыжая дама.

— Вы могли бы этого и не знать. Допускаете?

Кто-то восторженно захопал в ладоши. Восхищение мгновенно передалось и остальным. Даже Артур приподнял голову и удивленно уставился на меня.

— Наконец-то придумали культурное мероприятие, — послышался голос одного из почтенных отцов семейства, и трудно было понять, что звучит в нем — сочувствие или осуждение.

Возле игроков стоял невообразимый шум. Несомненно, этот день обещал быть самым содержательным. Азарт и неподдельное волнение охватили всю компанию. На игроков делали ставки, как на чистопородных скаковых лошадей.

— Пошли-отсюда, — сказал я Артуру.

Мы собрали в охапку вещи и перебрались подальше, в тень прибрежной скалы. Но и здесь мы не смогли укрыться от развернувшихся событий.

По всему было видно, что проиграл белообрый веснушчатый парень с выцветшими ресницами и плоским, как тарелка, лицом, которое никак не подходило к его безукоризненной фигуре спортсмена. Под красноватой от загара кожей лениво перекачивались упругие мускулы. Он приложил руки к груди и театрально расклялся. Я был уверен, что проигрыш не огорчил его.

— Как он поведет себя дальше? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Артур. — Я приехал сюда отдыхать...

Настал вечер. Было совершенно очевидно, что в обществе Глеба нет ни одного человека, который бы не поглядывал на узкую тропинку. По ней должна была спуститься к морю героиня этого знаменательного дня. Их нетерпение уже достигло предела, когда на горе появилась знакомая тоненькая фигурка. Десятки глаз следили за тем, как Морская царица входила в воду. Теперь все догадывались, что она раздевается.

Наконец она легко оттолкнулась ногами от дна и заскользила в воде. Белообрый парень не спеша поднялся и вразвалку направился в ее сторону. Наступила напряженная тишина.

Парень подошел к тому месту, где недавно раздевалась девушка, и остановился. Он ждал, пока она отплывет подальше. В его позе чувствовалась небрежность, уверенность в своем несомненном превосходстве. Было ясно, что он отличный пловец.

Но вот парень бросился в море. Размеренными движениями он вспарывал прозрачную гладь, зарывался в воду с головой. Издали его тело казалось корпусом длинной торпеды.

Время от времени он поднимал голову, прикидывая расстояние.

Первые признаки беспокойства девушка стала проявлять, когда между ними было уже не больше двадцати метров. Я видел, как ее плечи поднялись над водой и лицо повернулось в сторону незнакомца. Потом она легла на бок и, не торопясь, поплыла вдоль берега.



Наблюдавшие понимали, что теперь от пловца потребуются все мастерство, чтобы не дать ей уйти. И он погнался за ней изо всех сил.

Увидев, что путь к отступлению отрезан, царица повернула в сторону открытого моря, и я заметил легкий бурун, всплывший у ее ног. Она продолжала плыть, изредка бросая на противника оценивающие взгляды. В ее движениях я не мог уловить признаков нервозности, хотя она, конечно, понимала, что ее преследуют.

Так продолжалось около десяти минут. Остальным же они показались часами. На фоне золотистого от закатного солнца моря отчетливо выделялись головы пловцов.

Я отметил про себя, что движения парня стали слишком резкими. Мне показалось, что он выдыхается. Но неожиданно расстояние между ним и девушкой стало заметно сокращаться. Это придало ему сил, и он еще быстрее заработал руками.

Зрители на пляже повскакивали со своих мест, напряженно глядя в даль. Когда я снова поднял голову, то увидел, что девушка неподвижно отдыхает на воде, не обращая на преследователя никакого внимания. Парень неожиданно сбавил темп и, перейдя на подобие брасса, стал медленнее и, как мне показалось, нерешительно к ней приближаться. Она не сдвинулась с места.

— Поганка! — процедила за моей спиной приятельница Глеба и без разрешения потянула к бинноклю, который лежал у меня на коленях. Я подста-

вил локоть и слегка отстранился. Но она даже не обратила на это внимания. Мысли ее были полностью заняты другим.

Парень крикнул что-то, задыхаясь, и неясный возглас его, скользя, как «блин», по зеркальной поверхности моря, достиг нашего слуха.

Девушка ничего не ответила. Тогда он уверенно двинулся прямо к ней. Их разделяло не больше четырех метров, когда голова ее скрылась под водой.

Угадывая направление, в котором нырнула царевна, парень быстро поплыл ей наперерез. Потом остановился. Море было пустынным. Шли секунды, но ничего не нарушало спокойствия бесконечной водной равнины. Мне стало не по себе.

Артур поднялся и порывисто шагнул к берегу. Лицо его было напряженным, а прищуренный взгляд устремлен в море.

Но в этот самый момент мы увидели, как между парнем и берегом всплеснулась вода и на поверхности показалась рука девушки. Теперь она быстро плыла к пляжу. Все старания белобрысого преследователя не привели ни к чему. Царевна ускользала от него, как рыба, и парень понял, что дальше гнаться за ней бесполезно. Это было видно по тому, как он равнулся вперед, но тут же остановился, лег на спину и стал отдыхать.

Все зашумели разом. Неожиданное поражение хорошо натренированного пловца по-своему задело всех.

Мы с Артуром вздохнули с облегчением. Но в своей компании парня встретили смешками и ироническими замечаниями. А рыжая дама, похлопывая себя по бедрам, похожим на колпачные окорока, бросила холодно и презрительно:

— Тоже мне... Бездарь!

Вскоре я заметил, что при одном появлении Морской царевны вся компания Глеба, как болезнью, заражалась лютой ненавистью, словно какой-то таинственный микроб разносил ее от одного к другому. Тогда эта болезнь не показалась мне опасной, и я не обратил на нее внимания...

Прошло еще три дня. Ничто не изменилось в жизни маленького селения. Так же каждое утро заходил за мной местный агроном, так же спешили на виноградник колхозники и направлялся к ставникам просмоленный рыбачий баркас. На корме его глыбой возвышался могучий длинноусый старик Демидыч. Рыбаки почтительно величали его бригадиром. Старик молча презирал обитателей пляжа. Он был груб, упрям и ни за какие деньги не хотел продавать им рыбу.

Все это время дул сильный норд-ост. На четвертый день он утих, но в Зете не купались. Ветер угнал в море теплую воду. Тот, кто пытался хотя бы окунуть-



ся, через минуту выскакивал на берег, дрожащий, покрытый гусиной кожей.

В этот день, придя к обеду, я даже не захотел спускаться на пляж. Накануне Артур подвернула ногу и обещал весь день отлеживаться дома.

Неожиданно над обрывом я увидел Морскую царевну. Как всегда, она сидела перед раскрытым этюдником. Необычное любопытство овладело мною. Захотелось хоть краешком глаза взглянуть на ее работу.

И я тихо подошел к ней сзади, когда она смешивала краски. Я остановился за ее спиной, стараясь не выдать себя громким дыханием. Я уже готовился сказать какую-то банальную фразу, как вдруг увидел небольшую акварельный эскиз. Ветвь сосны на фоне безоблачного неба и дымного от утреннего тумана моря. Как будто ничего особенного. Но в этом наброске меня поразила одна деталь. Я почув-



— Вы знаете, — постепенно оживляясь, заговорила девушка. Видимо, она была рада побеседовать о любимом деле. — Я была здесь еще девочкой с отцом. За год до начала войны. Однажды после ночного дождя мы вышли вдвоем на террасу. Небо уже очистилось от туч, но первые лучи солнца еще не показались из-за той меловой скалы. — И она кивнула на восток. — Солнце было где-то за ней. Его не было видно, но оно угадывалось по прозрачному золотому свечению, которым была окружена скала. Казалось, она сама излучала его...

Девушка отложила кисть и внимательно посмотрела на меня, будто желая убедиться, насколько хорошо я сумею ее понять. Потом продолжала:

— Но не это было главное. Все заключалось в море. Оно горело. Понимаете? Горело синим спиртовым огнем. Такого зрелища, такой красоты ни я, ни отец мой никогда не видели. Он сказал тогда: «Если бы это можно было написать акварелью! Масло — слишком грубый материал...» Через четверть часа удивительное видение исчезло, и море стало обычным, будничным. Прошло столько лет, а я не могу забыть этой картины.

Девушка вздохнула.

— Отец погиб во время блокады. Мы жили в Ленинграде. А я научилась писать. Вот так, понемногу. Второй раз приезжаю сюда, но мне так больше и не удалось увидеть подобного великолепия.

— Вы хотели бы написать картину?

— Да. Но для этого все должно повториться снова. Теперь успех зависит от случайности. От освещения, от положения облаков, от прозрачности воздуха. Мне достаточно десяти минут, больше не нужно. Я знаю: все прекрасное быстро и недолговечно. Разве что море... Но я верю, что дождусь. Для меня это очень важно.

— Я чувствую, что море — ваша стихия.

— Может быть...

Она как-то искоса, недоверчиво посмотрела на меня и снова занялась своим делом. На мои вопросы она отвечала теперь односложно и неохотно.

Я встал и молча ушел. По дороге домой я размышлял об этой странной девушке, которая, как пуглик в пустыне, гонится за призрачным миражем, за туманной мечтой далекого детства. А детские мечты никогда не сбываются. Это я знал твердо.

Вечером того же дня я сидел за старой газетой, случайно обнаруженной на дне чемодана. На дворе стало смеркаться. В небе толпились тяжелые, литые тучи. Неожиданно в комнату постучали.

— Да! — крикнул я и увидел в дверях грузную фигуру Артура, опиравшегося на палку. До этого он ни разу не бывал у меня дома. Но сейчас я удивился не его неожиданному приходу, а тому растерянному виду, с которым он переступил порог.

— Что-нибудь случилось? — Я быстро поднялся к нему навстречу.

— Да нет, ничего особенного, — ответил он, стараясь не выдать своего волнения. — Я просто пришел сказать, что, пожалуй, пора прекратить это хвастство с художницей.

Он впервые назвал ее так.

— В чем дело? Говори толком.

— Дело в том, что девушка уже больше часа сидит в воде. Эти обормоты перепертали ее купальник, и его, наверное, унесло в море.

— Но ведь сегодня не высиживать в воде и десятки минут! Никто не купается.

— Разве это важно? Она купается каждый день.

своялся воздух. Казалось, под легким дуновением ветерка сейчас качнется эта колючая ветка. Объемность и глубина, которые с таким трудом даются молодым художникам, были решены на ватмане с несомненным мастерством. Я понял, что имею дело с талантливым человеком.

— Доброе утро, — тихо проговорил я.

Девушка вздрогнула и обернулась. Я увидел ее удивленно вздернутые брови и чуть испуганные серые глаза, смотревшие на меня испытующе и строго. Они были большие, ясные и немного холодные, как дымчатый хрусталь, как туманная предрассветная даль.

— Доброе утро, — ответила она серьезно и снова занялась своей работой.

Я даже забыл, что у нее невыразительное лицо. Сейчас оно казалось мне прекрасным. Все заслоняли ее удивительные глаза.

— Рисуете? — неуверенно спросил я.

— Как видите, — ответила она небрежно. — Но это все несерьезно.

— Если вы называете это забавой, то что же тогда настоящее? — искренне удивился я.

— Настоящее? — переспросила она и усмехнулась. — Настоящее, по-моему, бывает тогда, когда удается показать мир вещей, который окружает нас, но который мы не всегда видим. Ради этого я приезжаю сюда второй год.

Она взмахнула рукой, отгоняя докучливых ос, кружившихся над красками.

— Я не совсем понимаю вас, — сказал я, хотя прекрасно знал, что она имеет в виду. Мне просто не хотелось прекращать начатый разговор. И я уселся на камень рядом с ней.

Просто мне кажется, что за такие вещи надо бить морду.

Дальше я не слушал. Не разбирая дороги, бросился к морю. Артур и не пытался гнаться за мной.

У спуска с горы я остановился. Недалеке от того места, где обычно раздевалась царевна, я увидел



почти всю компанию Глеба. Они делали вид, что происходящее не имеет к ним никакого отношения. И только два оказавшихся случайно поблизости старичка из «нейтрального лагеря», засучив штаны, старательно шарили под камнями. Я понял, что они ищут купальник. Один из них был маленьким и тщедушным. Острая бородка его торчала клином, и на кончике тонкого носа каким-то чудом держались очки в золоченой оправе. Другой был толст и неуклюж. Разбухшие синие вены вздулись на икрах.

В тот момент, когда я остановился, царевна, видимо, отчаявшись, снова уплывала в море. Девушке попросту надо было двигаться. Мне показалось, что она еле шевелит руками.

Я не понимал, как это могло случиться. Где были люди? Почему мы с Артуром молчали все время?

Я побежал вниз по тропинке, и мелкие камешки, опережая меня, с шумом посыпались из-под ног. Одновременно со мной с другой стороны тяжелой походкой приближался старик Демидыч. Через его плечо была переброшена сырая брезентовая роба.

Увидев старика, кое-кто из присутствующих поднялся. Они, видимо, понимали, что дело может принять скверный оборот, и теперь решили незаметно приблизиться.

Рыбак посмотрел на них из-под вылинявших бро-

вей, и я заметил, как у него стала краснеть коричневатая от загара шея. Потом, не глядя ни на кого, он вошел в воду по самый пояс. В это время девушка была опять совсем близко от берега. Старик снял с плеча робу.

— На, дочка, надевай, — сказал он простуженным басом и неловко отвернулся.

Через минуту я увидел Морскую царевну на берегу. Огромная задубевшая куртка доставала ей чуть ли не до колен. Девушка старалась натянуть ее пониже, но голые ноги. В этой несуразной одежде она выглядела совсем ребенком. Лицо ее было бледным, а губы посинели от холода. Худенькие плечи вздрагивали. Она прошла мимо нас, ссутулившись, напряженно глядя в одну точку. Потом неожиданно остановилась, как бы вспомнив что-то, и медленно повернулась. Я ожидал увидеть слезы. Но огромные серые глаза ее были сухими. Она сморщила нас холодным и даже, как мне показалось, высокомерным взглядом. Не то судорога, не то презрительная усмешка тронула ее губы.

Потом я видел, как она уходила. На узкой полоске серого песка, намытого прибоем, остались ее следы. Она шла, а волны покорно отступали перед ней, бесшумно скатываясь в море, но тут же снова набегали на берег и легким прикосновением смывали ее следы.

Меня охватил внезапный порыв ярости к этим людям, что сидели рядом, и в то же время я чувствовал презрение к самому себе. Мне хотелось броситься на них с кулаками, но я почему-то продолжал стоять на месте. Я не знаю, что было в моем взгляде, но когда я посмотрел на Глеба, он как-то внезапно синк и словно бы полинял.

Один из старичков, тот, что был с бородкой и в очках, подошел к нему и срывающимся голосом проговорил:

— А вы, молодой человек, подлец!





Он был на голову меньше Глеба и смешно выпячивал хилую грудь с острыми ребрами, выпирающими из-под дряблой в пупырышках кожи. Но он никого не боялся. Я был уверен, что в эту минуту он казался себе молодым, сильным и прекрасным, как олимпийский бог.

В эту ночь я спал плохо. Над горами глухо перекапывался гром. Я лежал на горячей постели, прислушиваясь к шуму дождя и вздрагивая при каждой вспышке молнии. Я думал о том, что командировка моя подходит к концу, что из днях я уеду и, кто знает, вернусь ли когда-нибудь в эти места опять. То, что здесь происходило, до сих пор мало касалось меня. За работой, за кучей дел я не заметил, как у всех на виду смертельно обидели человека, и сейчас в какой-то мере чувствовал себя соучастником этой пакостной истории.

Едва рассвело, я был на ногах. Первым желанием моим было встретиться с девушкой, сказать ей какие-то хорошие слова, убедить, что она здесь не одинока. Я не знал, как поведу разговор, но по-

требность в этой встрече была велика. Я не задумывался над тем, что сейчас рано и в маленьком домике над морем еще, наверное, спят.

Я вышел на улицу. Дождь недавно перестал, а тучи, как крылатые корабли, уже отплывали в дальние странствия. С листьев колющих гледичий падали редкие крупные капли. Небо светлело с каждой минутой. Рутую блестяло море.

У калитки дома, где жила царевна, я столкнулся с Артуром. Его я ожидал встретить здесь меньше всего. Он все еще прихрамывал. В руках у него была дырявая плетеная сумка.

— Вот хожу, ищу груши, — как бы оправдываясь, сказал мой приятель.

Хозяйка вышла к нам, гремя подойником.

— Ваша квартирантка еще спит? — спросил я.

— Какой там! Час назад колхозная машина за хлебом шла, так вона з нею и уехала.

— Как уехала? Совсем?

— Ясно дело, — ответила женщина и со вздохом добавила: — Быстро собралась, даже картину свою бросила.

Я был растерян. Странно, ведь еще вчера в это время судьба незнакомой девушки была для меня почти безразличной, а сейчас... сейчас я чувствовал себя так, словно навсегда потерял что-то бесконечно большое и важное.

— А где она? — тихо проговорил я.

— Картина, что ли? Да там, у хате.

Мы спросили разрешения и вошли в маленькую комнату. Все здесь носило отпечаток поспешных сборов: обрывки газет, пустые кулечки, привядшие помидоры на плите, застеленной белой бумагой.

Артур показал мне глазами на большой лист ватмана, валявшийся в углу. Я взял его и поднес к свету. На нем карандашом были набросаны горы, старые крахмальные сосны с облунившейся корой, меловая скала и море. Не было основного — красок.

— Можно мне забрать это с собой? — спросил я. Хозяйка заколебалась. Потом, усмехнувшись, посмотрела на Артура и ответила:

— Берите, бог з вами.

О грушах мой друг так и не спросил.

Мы вышли за калитку. И тут Артур остановился, словно прикованный к месту. Я оглянулся и обомлел.

Меловую скалу окружал сверкающий нимб. Она казалась почти черной на фоне этого ослепительного сияния. Трепетные лучи перебегали в прозрачном тумане, будто золотые спицы огромного вращающегося колеса.

Артур открыл рот, чтобы сказать что-то, но в этот момент зеркальная поверхность моря вспыхнула голубым люминесцентным светом. Казалось, он шел откуда-то из неизвестных подводных глубин. Холодное пламя вздымалось над морем. Дрожь и искры, оно поднималось все выше и выше к утреннему небу и там, под розовеющими облаками, меркло, растворялось в бесконечных воздушных течениях.

Мы смотрели, не отрываясь, минуту, две, три, долго, пока волшебная игра света и красок не исчезла совсем.

г. Краснодар, 1963.



Зимнее море

С утра стоит морозец свежий,
Пятнадцать градусов не дашь,
А волны бьют все реже, реже
В обледенелый берег наш.

Все четче паузы, длиннее,
Все медленней движенье вод.
Густеет море, леденеет,—
В часах кончается завод.

Стук механизма оробелый
Вот-вот прервется, стужей сжат,
Но там, внизу, под крышкой белой,
Вовсю колесики дрожат.

...Вдоль пляжей водоросли сухие...
Но чуть от берега вдали —
Гудит исправная стихия,
Что до отказа завели.

Стужа

В Сибири ночи, звона полные.
Синет белая луна.
Сибирской ночью, как от молнии,
От стужи треснула сосна.

Я рано встал. Спала гостиница.
Прошел по дому раз и два,
Сказал дежурной: — Вот распилятся
Сосна, и будут вам дрова...

— Ну, мы дрова готовим загодя,—
И подышала на стекло,—
А вель сейчас у вас на западе,
Еще, наверное, тепло?..

И засмеялась, будто вспомнила:
— Да я здесь год всего сама...
А за окном весь мир заполнила
Невероятная зима.

Вечерняя вода

Вечерняя вода
Густа и розовата,
В ней растворен всегда
Спокойный свет заката.

Как будто выжат сок
Из спелой земляники,
И рядом, на песок,
Ложатся эти блики.

Вечерняя вода
Чуть позже лиловата.
В ней нет уже следа
Недавнего заката.

Уже совсем зашло
Оставшее светило.
Вода хранит тепло,
Что за день накопила.

Вода живет, храня
Спящее сиянье,
Жару большого дня,
О нем воспоминанье...

Вечерняя вода
Застыла недвижимо.
Минувшие года,
Светясь, проходят мимо.

...Тумана полоса
Густеет у затона,
И чьи-то голоса
Взлетают, приглушенно.

Как на краю земли,
А может, дальше даже,
Купаются вдали,
На опустевшем пляже...

*

В поэзии — пора эстрады,
Ее ликующий парад.
Вы, может, этому и рады,
Я вовсе этому не рад.

Мне этот жанр неинтересен,
Он словно мальчик для услуг.
Как тексты пишущих для песен,
Так тексты есть для чтения вслух.



Поэт для вящего эффекта
Молчит с минуту (за притих),
И вроде беглого конспекта
Звучит эстрадный рыхлый стих.

Здесь незначительная доза
Самой поэзии нужна,
Но важен голос, жест и поза
Определенная важна.

Луна

Уже давно все люди спать легли.
Но я не сплю. Луна тому виною.
Асфальт зернисто светится вдали,
Поблескивают крыши под луною.

Луна царит. На всем ее следы —
Среди лесов светлеют поляны,
И мерным колебанием вод
Ей чутко отвечают океаны.

Висит над миром полная луна.
Безоблачными длинными ночами
Влечет нас, как лунатиков, она,
И медленно поводит мы плечами.

С постелей осторожно мы встаем,
Ногами занемевшими ступая.

Вся комната как будто водоем —
Глубокая она и голубая.

А в четырехугольнике окна,
Себя подставив жадным телескопам,
Сияет колоссальная Луна,
По сторонам тускнеют звезды скопом.

Я на Луну немедленно полечу.
Я заскольжу по лунной зыбкой нити,
Я поспешу по лунному лучу...
Чтоб не упал, меня вы не спугните.

Ведь я у всех сегодня на виду.
А вскрикнете нечаянно, так что же,
Я, пробудившись, вниз не упаду.
Я вверх взлечу...

И вы хотите тоже?



Блеск моря, и скрипы причала,
И пляжей дневных теснота —
Все это внезапно пропало,
И сразу пришла темнота.

Исчезли цветы и тропинки.
Лишь только огни да прибор...
Как будто умело картинку
Одну заменили другой.

Что с южным сверканьем случилось?
...Прости, но подумалось вот:
Не так ли неожиданно и старость
И то, что за ней, подойдет?

И словно в надежде спасенья,
Тревогу наввно глуша,
В мой край, отдаленный, осенний,
На север рванулась душа.

Туда, где природа без лоска.
Но больше не слышишь такой.
Туда, где заката полоска
Горит и горит за рекой.

Над ширью, что нету дорожке,
Что остро сжимает сердца,
Горит она долго и все же
Не может сгореть до конца.



Гудок трикратно ухает вдали,
Отрывистый, чудно касаясь слуха.
Чем нас влекут речные корабли,
В сырой ночи тревожа сердце глухо?

Что нам река, ползущая в полях,
Считающая сонно повороты,
Когда на океанских кораблях
Мы познавали грозные широты!

Но почему же в долгой тишине
С глядящей в окна поздно звездою
Так сладко мне и так тревожно мне
При этом гулком звуке над водою?

Чем нас влекут речные корабли?
...Вот снова мы их голос услышали.
Вот как бы посреди самой земли
Они плывут в назначенные дали.

Плывут, степенно слушаешь руля,
А вдоль бортов — ночной воды
старанье,
А в стороне пустынные поля,
Деревьев молчаливые собранья.

Что нас в такой обычности влечет?
Быть может, время, что проходит мимо?
Иль, как в любви, здесь свой
особый счет,
Иль это вообще необъяснимо?



А остальное все приложится...

Не верю в бога и в судьбу.

Молюсь прекрасному и высшему
предназначенью своему,
на белый свет меня явившему.

Чванливы черти, дьявол зол,
бездарен бог — ему не можется...
О, были б помysel чисты!

А остальное все приложится.

Верчусь, как белка в колесе,
с надеждою своей за пазухою,
ругаюсь, как мастеровой,
то тороплюсь, а то запаздываю.

Покуда дремлет бог войны,
печет пирожное пирожница...

О, были б небеса чисты!

А остальное все приложится.

Молюсь, чтоб не было беды.

И мельнице молюсь и мыльнице,
воде простой, когда она
из золотого крана вырвется,
молюсь, чтоб не было разлук,
разрух,
чтоб больше не тревожиться...

О, руки были бы чисты!

А остальное все приложится.



Ленинградская музыка

Пока еще звезды последние не
отгорели,
вы встаньте, вы встаньте с постели,
сойдите к дворам,
туда,

где дрова, словно крылья
лесной акварели...
И тихая скрипка Растрелли
послышится вам.

Неправда, неправда, все врасси,
что будто бы старят
старанья и годы!

Едва вы окажетесь тут,
как в колокола
колонны
горластые трубы свои задерут.

Веселую полночь любя, да на утро
надейся...

Когда ни грехов и ни горестей
не отмолят,
танцуя,

игла опрокинется с Адмиралтейства
и в сердце ударит, чтоб сонную
кровь отворить.

О, вовсе не ради парада, не ради
награды,

а только для нас,
выходящих с зарей из ворот,
гремят барабаны гранита,

кларнеты ограды
свистят менуэты...

И улица России
поет.

Свет в окне

Кружатся тени, кружатся тени.
Они — как бабочки в тишине.
Чернеют стены ночных строений.
и только тени в одном окне.

Кружатся тени
за занавеской
то врасси, то снова — совсем одно,
плечо мужское и профиль женский —
как два актера в неом кино.

На фоне спящего, городского,
всему обычному вопреки

так четок профиль лица мужского,
так плавлен контур ее руки.

С утра обычно в дела и в будни
уйдут, похожи на всех других,
а тут,

как будто муссон попутный,
стритус в их парусах тугих.

Две тени кружатся, крылья сливши,
к неведомым берегам

гребя...

Который век, никому не слышны,
играют тени самих себя!

И в белом свете, в окно идущем
и опечатавшем их жилье,
они как будто живые души,
которым нужно сказать свое.

То руки тонкие воздевают,
то вдруг взлетают на свет утра,
то неподвижные замирают,
как два молчаливника,— у костра.
г. Тбилиси.

Стихи про маляров

Уважайте маляров,
как ткачей и докторов.
Нет, не тех, что по ограде
раз мазнул — и будь здоров,
тех, что ради солнца,
ради
красок
из глубин дворов
в мир выходят на заре,
сами — в будничном наряде,
кисти — в чистом серебре.

Маляры всегда честны,
только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как недолгий бег весны.
И когда ложатся спать,
спят тела, не спится душам:
этим душам вездесущим
красить хочется опять.
Бредят кистями ладони,
краски бодраствуют,
спешат,

кисти,
как ночные кони,
по траве сырой шуршат...
Синия по окнам влага,
бурий оползень оврага,

пятна на боках коров —
это штуки маляров.

Или вот вязанка дров,
пестрая, как наваждение,
всех цветов нагроможденье:
дуба серая кора,
золотое тело липы,
красный сук сосны,
обланный
липким слоем серебра,
или ранний свет утра...
Или поздний свет костра...

Маляры всегда честны,
только им слегка тесны
сроки жизни человеческой,
как предутренние сны.
И когда у них в пути
обрывается работа,
остается впереди
недосказанное что-то,
как неспетое — в груди...

Уважайте маляров —
звонких красок мастеров.
Пойте, кисти,
лейтесь, краски,
крась, маляр, и будь здоров!

Сверчки

Строгая женщина в строгих очках
мне рассказывает о сверчках,
о том, как они свои скрипки
на протянутых носят руках.
О том, как они понемногу,
едва за лесами забрезжит зима,
берут свои скрипки с собою в дорогу
и являются в наши дома.
Мы берем их пальто, приглашаем
к столу
и признательно
расточаем улыбки,
но они очень скромно садятся в углу,
извлекают свои допотопные скрипки,
расправляют
помятые сютки,
подминают
над головами смычки,

распрямляют
свои вдохновенные усики...
Что за дом, если в нем не пригнеты
сверчки
и не слышно их музыки!
Строгая женщина щурится из-под
очков,
по столу громоздит угощение.
Вот и я приглашаю заезжих сверчков
за приличное вознаграждение.
Их рассаживаю
по чину и званию
и помятые
им вручаю рубли,
и играют они вечный вальс по
названию:
«Может быть, наконец,
пофартит мне в любви...»



Февральский

снег

Рисунки В. Алексеева.

1

Я сидел за столом. Передо мной стоял стакан остывшего чая. Я сидел и думал: рассказывать маме или не рассказывать? Она лежала в другой комнате. Она уже много дней не вставала с постели. У нее было плохо с сердцем. Если б она была здорова, у меня не возникло бы такого вопроса. У нас дома не было тайн друг от друга. Так было заведено еще при отце. Помню, он за ужином иногда говорил мне: «Почему нос опущен? Выкладывай!» Я «выкладывал», и мне становилось легче. С годами это вошло в привычку. После войны, когда я вернулся, а отец — нет, у меня от мамы также почти не было секретов. Я говорю «почти», потому что иногда мне приходилось скрывать от нее имя очередной знакомой девушки: мама придерживалась строгих правил.

А я был тогда студентом первого курса. Да еще поэтом. Правда, непризнанным. Но это было на первом курсе. На втором я влюбился в старосту нашей группы Майю Светланову и познакомил ее с мамой. Они стали друзьями.

Мама говорила, что в Майе есть что-то от Александры Михайловны Коллонтай и что-то от Ларисы Рейснер. Что касается меня, то Майя мне нравилась

просто как Майя, у которой серые глаза, белоснежная улыбка и красивая фигура. Майя была очень похожа на нашу любимую киноактрису Тамару Макарову. Мой друг Левка однажды сострил: «У твоей Майи все талантливо. Даже ноги». Я это знал и без Левки. Но маме было видней! Мама в молодости встречалась и с Коллонтай и с Рейснер.

...Я сидел и думал: «Нет! Не скажу. Ей сейчас нельзя».

— Виктор, ты что делаешь? — спросила мама.

— Чай пью.

— Возьми за окном масло. Когда поешь, подойди ко мне.

Есть я не хотел. Но я достал масло. Выпил холодный чай. Потом я подошел к маме.

— Тебе что-нибудь нужно? — спросил я.

— Нет. Посиди со мной, — сказала мама.

Я сел в кресло возле кровати. Мама сказала:

— По-моему, у тебя какая-то неприятность. Что произошло? — Она потянулась за папиросами.

Я взял с ее тумбочки пачку «Севера» и спросил:

— Кто тебе принес папиросы?

— Это старая пачка, — сказала мама.

Я положил «Север» в карман.

— Так что же произошло? Тебе будет легче, когда расскажешь, — сказала мама. — Мне тоже.



— Какой-то подлец написал на меня анонимку.

— Кому?

— В партком института.

— Что же он написал?

— Ложь!

— Не сомневаюсь, — сказала мама. — И ты обязан доказать, что это ложь! А ты киснешь над стаканом холодного чая! Правда всегда победит, сын.

Мама взяла с тумбочки таблетку и запила водой. Я сказал:

— Хватит разговоров. Я так и знал: кончится таблеткой.

— Пустое, — сказала мама. Она взяла мою руку. — Я в партии тридцать лет. Наша сила в правде. А теперь налей мне валерьянки и ложись. Уже поздно.

Я накапал в рюмку валерьянки, убрал за окно масло. Потом погасил свет, лег, не раздеваясь, на диван и закурил мамин «Север». До войны мама не курила. Она стала курить в тот день, когда узнала, что под Смоленском погиб отец. Курила она почему-то только дешевый «Север». Я не любил эти папиросы. Мне больше нравился «Казбек». Но в ту ночь я решил выкурить всю пачку «Север», чтобы не оставить маме. Ей нельзя было курить. У нее было плохо с сердцем. К утру в пачке не осталось ни одной папиросы.

2

3 атрещал будильник. Я встал, вскипятил чай и выпил стакан сладкого чая. Есть я не хотел. Потом я поставил маме на тумбочку стакан молока и блюдечко меда. Это я теперь делал каждое утро. Так велел врач. Ночью я решил, что перед институтом зайду к ребятам в общежитие. Они еще ничего не знали о моем «деле». Я их вечером не видел и не успел рассказать.

На улице было сыкотно и неуютно. Падал снег. Он был серый и липкий, как кусочки нечистой мыльной пены.

В коридоре общежития я увидел Мишу Долбинина. Миша сидел на корточках возле титана и держал в руках чайник. Из крана тонкой кривой струйкой бежал кипяток. Миша что-то мурлыкал. Он руково-

дил нашим студенческим джазом и поэтому всегда мурлыкал. Даже на лекциях.

Я сказал:

— Привет Эдди Рознеру!

Миша, не оглядываясь, поднял руку:

— Мое — вам!

Я пожал поднятую Мишкину руку и пошел дальше по коридору. Несмотря на ранний час, у стенгазеты «Крокодилы» стоял Лева Шойкет. Лева увидел меня и сказал:

— Полюбуйся! Типичнейшая «утка»! Это я-то «неорганизованная и шумливая личность»? Я!! А они — организованные личности!

Я стал рассматривать карикатуру на Лева. А он, размахивая полотенцем, говорил:

— Великий Шиллер писал: «Даже самый прекрасный человек не может жить мирно, если зловерные соседи не дают ему покоя!» Великолепные слова! Можно подумать, что Шиллер жил в нашем общежитии!! Но редактор этого желтого листка плюет на Шиллера!

Я знал, что Лева говорит все это без зла. Редактор стенгазеты был его лучшим другом. Просто Лева знал слишком много классических цитат и любил блеснуть своим знанием классиков, хотя иногда безбожно их перевирал.

— Ладо, Лев, не отчаивайся. Бывает хуже, — сказал я.

Лева посмотрел на меня.

— Ты думаешь? Впрочем, ты прав! — сказал он и пошел в душ.

Мне нравилось приходить к ребятам в общежитие. Но в то утро мне показалось здесь особенно хорошо. Может быть, потому, что Мих мурлыкал песню, а Лева цитировал Шиллера! Может быть, потому, что тут было светло и чисто, а на улице шел липкий серый снег, похожий на грязную мыльную пену. Не знаю. Но когда я вошел в комнату, где жили ребята из нашей группы, на душе у меня было легко и чисто. Федя Жуков брылся, а Чепурной Борис лежал на койке с мандолиной. Он лежал, играл на одной струне и напевал:

— Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы.

Я сказал:

— ...И обнять любимую свою. Привет, мальчишки! Борис протянул мне руку. Федя поднял над головой бритву:

— Салют!

Друзья даже не удивились, что я пришел так рано. Раз пришел, значит, надо. Я повесил пальто, сел к столу и сказал:

— Вчера меня вызывал в партком Кремнев. Сегодня будут разбирать анонимку о моем антипартийном поступке.

— Что? Что? — спросил Борис. И локоть на одной ноге перескочил с койки на стул. Он был без протеза.

— Какой такой поступок? — спросил Федя и повернул ко мне намыленную физиономию.

— Помните, на ноябрьской демонстрации я уронил портрет? Потом мы его еще очищали платками!

— Ну? И что же? — спросил Федя.

— Так вот за это самое.

— Брось свистеть! Говори толком! — крикнул Борис.

— Толком не знаю сам. В анонимке написано, что я это с умыслом...

— Что с умыслом? — спросил Федя.

— Уронил с умыслом.

Борис и Федя переглянулись. Федя быстро стер полотенцем с лица мыльную пену и астал. Борис открыл рот и смотрел на меня, как на психа.

— Рассказки по порядку, — сказал Федя.

— Ну, вчера вечером меня вызвал Кремнев. Он сказал, что несколько дней назад получил эту самую анонимку, в которой говорится, что портрет упал не случайно. Сказал, что сегодня анонимку будут разбирать на парткоме. Между прочим, он возмущался, что «какой-то тип» спустя три месяца затеял склоку. Я его спросил: «Если ты считаешь это склокой, на кой черт разбирать на парткоме липу?»

«А ты бы что делал на моем месте?» — спросил он. «Я бы на твоём месте сходил с ней в уборную», — ответил я. Он сказал: «Ты не отчаивайся, если партком даст тебе на «всю железу». Партсобрание не утвердит». Я спросил: «Зачем тогда этот цирк? Ты что?»

«Кто?» Он вдруг рассердился, перешел на «вы». Обозвал меня желторотиком и еще как-то. Тогда я выдал ему несколько популярных слов на рабочекрестянском диалекте... Получилось очень доходчиво. Он стал закуривать папироску не с того конца.

Мне, честно говоря, почему-то даже стало его жалко. Я хлопнул дверью. Вот все.

— Жалко у пчелки! — крикнул Борис. Он допрыгал до койки и стал пристегивать протез. Он пристегивал протез и быстро говорил: — Ах, он... дешёвка! Иду в партком! Эх, комиссара Ларионича нет!

Он бы дал «прикурить» этому Кремневу.

Николай Васильевич Ларионов был секретарем парткома института. На фронте он был комиссаром полка. И между собой мы звали его комиссаром. Николай Васильевич уже месяц лежал в госпитале. У него открылась рана. В парткоме его временно замещал Кремнев. Федя сказал:

— На мельшеть. Обожди. Вместе пойдем. Витек, — обратился он ко мне, — ты сегодня еще не рубал? Возьми в тумбочке, что есть, и — на стол. А я пошел умываться.

Федя никогда не спешил. Федя был на войне сапером. Я посмотрел на Бориса. Он прикреплял орден к своему кителью. У Бориса было три ордена. И он носил их только по праздникам. А теперь он прикреплял их к кителью. Он говорил:

— И все медали повешу. И вас с Федькой заставлю. Пусть знают наши! Мы солдаты, а не... Мы коммунисты! Нарочно бросил! Ах, он...

Борис и вправду уговорил Федю привинтить к пиджаку «Красную звездочку».

Зашел Лева. Он удивленно посмотрел на Федю и Бориса.

— По-моему, на свидание еще рановато! А? — обрattился он ко мне. — Тебе не кажется? Может, ты мне объяснишь, для чего эти кавалеры надели правительственные награды?

— Левка, ты слышал? — спросил Борис.

— Что именно, товарищ трижды орденоседец? — спросил Лева.

Борис рассказал ему про анонимку. Лева нахмурился.

— Неукусно пахнет, братцы. Но великий Рабиндранат Тагор писал: «Быть смелым на слова легко, когда не собираешься говорить правды», — процитировал Лева. — Духом не падай! Если нужно будет, и я ордена приложу. Держи в курсе.

Борис, Федя и я пошли в институт.

3

В три часа меня вызвали в партком. За длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидели члены парткома. Их было семь человек. Не было Ларионова и еще одного члена парткома. Я остановился у стола, Кремнев предложил мне сесть. Я сел. Он сказал:

— В партийный комитет поступило очень серьезное заявление. В нем говорится, что студент второго курса, кандидат в члены партии Снегирев совершил антипартийный поступок. Во время ноябрьской демонстрации ему было поручено нести портрет генералиссимуса. Это, как вы понимаете, товарищи, большая честь! Но вместо того чтобы со всей партийной ответственностью отнестись к этому почетному поручению, Снегирев во время одной из стоянок оставил портрет без присмотра. Портрет упал. Упал в грязь. Товарищ, написавший заявление, считает, что это было сделано умышленно. Я вызывал вчера Снегирева и беседовал с ним. Он говорил, что это якобы получилось случайно. Но эта так называемая случайность кладет темное пятно на весь институт. Этот портрет — знамя! А что значит бросить знамя, вы все знаете! Оправданий такому факту нет. Предлагаю заслушать объяснение Снегирева.

— А кто автор заявления? — спросил член парткома Муравьев.

— Заявление анонимное.

— Вот тебе раз! — сказал Муравьев. — В таком случае я бы его вообще не стал обсуждать.

— Я не считаю, что это должно служить препятствием для разбора заявления и нашего решения, — сказал Кремнев. — Речь идет не о моем и не о твоём портрете, товарищ Муравьев. Это надо понимать. Прощу вас, — обратился он ко мне.

Я сказал:

— Обвинять меня в том, что я умышленно бросил портрет, — это значит считать, что я... черт знает кто. Неужели, товарищ Кремнев, вы всеерьёз думаете, что в анонимке написана правда? Да, портрет действительно упал. Но это произошло совершенно случайно. Моя вина в том, что я недосмотрел. И за это я готов нести ответственность. Остальное — клевета!

— Надо еще посмотреть, где клевета, а где правда! — поднял палец член парткома Смирнов.

— У вас все? — спросил Кремнев.

Мне хотелось рассказать членам парткома о разговоре с Кремневым. Но я почему-то не стал рассказывать. До сих пор не могу понять почему.

— Все,— сказал я.

Слова попросил политзоном Николай Иванович Кондрашин.

— Я верю Виктору Снегиреву. Мы все его хорошо знаем. Он фронтовик, коммунист. Уверен: он говорил правду. А анониму не верю. Анонимам вообще не следует верить! Это очень похоже на подметную бумажку. А подметные бумажки, как известно,— оружие провокаторов и клеветников. Мы, коммунисты, должны отметать эту грязь. Предлагаю: ограничиться обсуждением этого вопроса на парткоме. Виктор Снегирев не заслуживает партийного зыскания. Это мое твердое убеждение.

— Согласен с Николаем Ивановичем,— сказал Муравьев.— Мы все знаем Виктора, он не способен на такое.

— Позвольте, позвольте, товарищи,— быстро заговорил Кремнев.— Вы, очевидно, недооцениваете политического значения этого факта.

— И все же я тоже считаю, что Виктор Снегирев не заслуживает партийного зыскания,— сказала член парткома Екатерина Алексеевна Назарова.— Если бы человек, написавший эту бумажку, верил в свою правоту и был честным, он не только подписал бы ее, он пришел бы сюда сам. Ведь таким анонимным образом можно оклеветать не только одного Снегирева. Так можно опорочить любого из нас. Мы должны это понимать и оберегать партию от наскоков клеветников. Вполне может быть, что под их личиной скрывается и классовый враг. Согласно с Николаем Ивановичем. Надо ограничиться обсуждением на парткоме.

Слова попросил член парткома Докукин.

— Что значит бросить портрет вождя! — спросил он.— Да за такие вещи... Прав товарищ Кремнев: это наше знамя! А тех, кто бросает знамя, на фронте расстреливают!

— Он не бросил, а уронил,— сказал Николай Иванович Кондрашин.

— Все равно! — крикнул Докукин.— Предлагаю исключить его из кандидатов.

Я убеждал себя: «Спокойно. Не психуй. Ты говоришь правду!» Но от этого мне не становилось легче. Даже наоборот: «Говорю правду, а быют!»

— Я полностью согласен с товарищем Докукиным и присоединяюсь к его предложению! Кто за это предложение? — сказал Кремнев.

— Надо голосовать в порядке поступивших предложений,— сказал Николай Иванович.— Первое было мое — ограничиться обсуждением.

Открылась дверь. В комнату вошел Борис.

— Извините, товарищи. Меня не приглашали, но я хочу сказать пару слов.

— Вы ведь у меня сегодня уже были вместе с Жуковым и какой-то девушкой,— сказал Кремнев.— Помоему, вы мне уже все высказали. Кстати, товарищи,— обратился он к членам парткома,— девушку эта беспартийная! Вы бы послушали, что она мне здесь говорила.

Я не знал, что Борис, Федя и Майя были у Кремнева. Но у меня вдруг стали непослушными губы. Очень неприятно, когда губы дрожат. Стыдно.

— Это хорошо, что беспартийные идут в партком! Это очень хорошо,— громко сказал Муравьев.

— Да, но, помоему, здесь что-то личное,— сказал Кремнев.

Я молчал. Что я мог сказать Кремневу! Такое не объяснишь, когда дрожат губы.

— Почему вы считаете, что личное — значит нечестное? Ведь у каждого есть личное! Значит, вы вообще не верите людям! — крикнул Борис.— Наше личное — это дружба! Понимаете, дружба! Вы ве-

рите в дружбу? Его оклеветали. И вы сами это прекрасно знаете. Вы сами в разговоре с Виктором сказали, что это склока. И все же хотите пришить ему дело. Но вам не удастся! Есть парторганизация. Есть, наконец, ЦК!

— Я думаю, пора кончать эту комедию,— сказал Кремнев.— Прошу голосовать. Товарищ Кондрашин считает, что надо начинать с его предложения. Ну что ж, соблюдаем эту формальность. Кто за то, чтобы ограничить так называемым обсуждением?

Руки подняли Николай Иванович Кондрашин, Петр Анисимович Муравьев и Екатерина Алексеевна Назарова.

За исключение голосовали Кремнев, Смирнов и Докукин. Один воздержался. Это был химик Анников. Он не хотел ошибаться. Поэтому воздержался. Некоторых это выручает в жизни. Анников, наверно, и в науке воздерживался. Поэтому был неважным химиком.

Кремнев сказал:

— Все. Можете идти, Снегирев. И вы тоже, защитники!

Я вышел вместе с Борисом. В коридоре стояли Федя и Лева. Федя спросил:

— Ну?

Лева ничего не спросил. Лева был тонким психологом. Впрочем, это свойственно всем одесситам. Лева сказал:

— Все ясно. Но учти: их семь, а нас сто с гаком!

— Не семь, а три,— сказала я нас.

— Как три? Значит, все в порядке? Значит, за тебя четыре?

— Тоже три. Один воздержался,— сказал Борис.

— Ах, воздержался! Новый вариант политики не-вмешательства! Как же фамилия этого нового лорда Плиму? Не химикатор ли Анников?

— Он,— ответил я.

Левка сказал:

— Сегодня же объявлю в общекити «сбор всех частей». На собрание придем в полной парадной. Ордена и медали начистим. До блеска. Как в День Победы. В общем, старик, Курская дуга Кремневу обеспечена. Как пить дать. Доверие и жизнь терпят один раз! Жалко только, комиссара нет!

— К собранию выйдете. Ребята вчера у него были. Рана уже затянулась,— сказал Федя.

Мы закурили.

Левка сказал:

— Майя ждала вместе с нами. Только что ушла к тебе домой. Будет сидеть с матерью. Пошли, мы проводим.

4

На улице Федя взял меня под руку. Борис и Лева шли впереди. Лева то и дело обгонял Бориса, останавливал его и что-то доказывал, размахивая руками.

Федя сказал:

— Я считаю, ты одержал победу.

— Пока ничья,— возразил я.— 3:3.

— Вот именно. А на собрании будет 100:3.

— Ты уверен?

— А ты нет? — спросил Борис.

Когда мы подошли к моему дому, уже стемнело. Дверь открыла Майя. Она смотрела на нас и молчала. У нее были испуганные глаза и брови. Это были совсем не Майины глаза. Так смотрят дети, когда их быют. Я крикнул:

— Мама!

— Ее увезли,— сказала Майя.



— Жива?!

— Жива.

Мы вошли в комнату. Стол был отодвинут в угол. «Не проходили коридки?» — подумал я. Я снял шапку и сел на стул. Мне было душно. Федя спросил:

— Когда увезли? Куда?

— Полчаса, — ответила Майя. — В Первую Градскую.

— Поехали, — сказал Борис.

— Они не велели. Я тоже хотела. Говорят, чтобы позвонили утром. Вот номер телефона, — сказала Майя.

Лева подошел к телефону и набрал номер. Он набирал номер несколько раз. Номер был занят. Мы молча ждали. Наконец он дозвонился.

— Как состояние больной Снегиревой? — спросил Лева.

Дежурная сестра попросила подождать. Мы подошли к Лева. Я снял пальто и бросил на диван. Майя дала мне стакан воды. Я выпил. Федя дал папиросу. Я закурил. Дежурная молчала. Мы тоже. Было очень тихо. В трубке послышался далекий голос. Федя положил мне на плечо руку. Майя сжала мои пальцы. Лева повесил трубку и сказал:

— Инсульт. Положение тяжелое. Принять все меры. Ехать сейчас бессмысленно. Поедем утром.

Я схватил трубку и набрал номер.

— Больница? Я Снегирев. Как моя мама?

Дежурная спросила:

— Какая мама?

— Как какая? Я сын больной Снегиревой.

— Вы же только что звонили!

— Это не я. Я сын. Я сейчас приеду.

— Ни в коем случае, — возразила дежурная. — Это только ухудшит ее состояние. Больной нужен абсолютный покой.

— Я бы сидел с ней вместо сестры. Ночью. Можно? А?

— Я уже сказала, товарищ! Можете приехать утром.

— Доктор, а она будет жива, а?

— Я сестра, а не врач. Конечно, будет. Не надо так волноваться.

Я сказал:

— Спасибо, доктор, — и повесил трубку.

— Возьми себя в руки, — сказал Федя. — Нельзя так. Все будет в порядке, старик. Завтра поедем все вместе.

Я подошел к маминной кровати. Она была убрана. Это, назерное, сделала Майя. На тумбочке среди пузырьков с лекарствами лежала книжка Михаила Светлова. В нее было вложено старомодное маминно пенсне. Я взял томик. Он раскрылся на странице, где лежало пенсне. Я прочитал: «Молодежи». Подошла Майя. Она сказала:

— Лидия Сергеевна просила, чтобы я прочла ей это стихотворение. Потом сама подчеркнула карандашом последние четверостишие.

Я прочитал подчеркнутые мамой строки:

И хорошо, что наши дети
С такою смелостью глядят,
И хорошо, что на планете
Крутом товарищи стоят.

Я вложил мамино пенсик обратно в книжку Михаила Светлова и положил ее на мамину тумбочку.

Мая очень тихо спросила:

— Витя, извини, но как в парткоме?

— Плохо, — ответил я. — Ничего не решили.

— Решат, решат. Все будет в порядке, милый.

Она погладила мои волосы. Она никогда раньше меня так не называла. И не гладила мне волосы.

— Мама очень волновалась? — спросил я.

— По-моему, да. Она часто спрашивала, сколько времени. Даже когда я читала ей Светлова.

— Пойдем к ребятам, — сказал я.

Мы вышли в столовую. Потом мы долго сидели и тихо разговаривали. Теперь я уже плохо помню о чем.

Первым ушел Лева: он куда-то спешил. Потом Федя и Борис.

Федя сказал:

— Встретимся утром в Первой Градской.

Мы остались с Майей.

— Ты ведь голодный, — сказала Майя, — хочешь, я что-нибудь приготовлю? Потом пойду.

Меня пугала пустая машинка кровати. И долгая ночь в опустевшей квартире.

— Останься, Майя! Я тебе постелю на диване, — сказал я.

Она долго молчала. Потом ответила:

— Хорошо. Только позвони маме.

Майя позвонила домой и сказала, что останется у подружки.

— Не беспокойся, мамочка, — добавила она.

Потом она спросила:

— Витя, у тебя нет какой-нибудь теплой кофты или платка? Мне холодно.

Я достал теплый мамин платок и дал Майе. Она закуталась в него и съезжилась в кресле. Я постелил ей на диване. Она сказала:

— Выйди, Виктор, я лягу, меня что-то знобит.

Я вышел в кухню. Закурил. «Почему ей холодно! — думал я. — Ей не было холодно, когда были ребята. Ей стало холодно, когда мы остались вдвоем. На самом деле, почему я попросил остаться ее, а не Федю или Бориса? Болеет! Некрасиво получилось!»

— Виктор, можешь зайти. Я уже, — крикнула Майя.

Я прошел в мамину комнату и стал стелить себе на раскладушке.

— Когда постелешь, иди сюда. Посидим еще немножко, — сказала Майя. — Мне все равно сейчас не уснуть.

Я подошел и сел на диван у ее ног.

— Майечка, ты не подумай что-нибудь. Мне просто с тобой хорошо, — сказал я.

Она протянула мне руку. Я взял ее руку. Она сказала:

— Не говори так, Виктор.

Мы сидели и молчали. Майя гладила мою руку. У нее были холодные пальцы.

— Накрывать тебя чем-нибудь теплым? — спросил я.

Она потянула меня за руку и поцеловала в губы. Потом в глаза. Я прислонил голову к ее плечу. Мне почему-то захотелось, чтобы Майя погладила меня по голове. Так иногда делала мама. Майя опять поцеловала меня в глаза и губы. Губы у нее были соленые. Наверно, от моих слез. А может, это были Майины слезы...

Вдруг я почувствовал страшную усталость. Болели виски, и слипались глаза. У Майи было теплое и мягкое плечо. Мне показалось, что я куда-то плыву в теплых и солнечных волнах. Я прошептал:

— Извини, я немножко вздремну.

...Когда я очнулся, уже светало. Я не сразу понял, где я и кто рядом со мной. Майя лежала, свернувшись калачиком под одеялом. Я боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Вдруг она спросила:

— Как ты себя чувствуешь?

— Ты уже проснулся? — спросил я. — Трещит голова.

Она погладила мои волосы.

— Ты измал весь костюм. Глупый. Уходи к себе.

Я буду одеваться. Уже поздно. Мы ничего не успеем...

5

В приемной Первой Градской было много народу. Никого из наших я не увидел. Мы с Майей встали в очередь. Очередь двигалась очень медленно.

Когда мы подошли к окошечку дежурной сестры, я посмотрел на часы. Было ровно десять. Я назвал фамилию мамы. Сестра долго смотрела в какую-то книгу. Потом встала и куда-то отошла. На щек я чувствовал дыхание Майи. Сестра подошла к окошечку и спросила:

— Вы кем доводитеесь больной?

— Сын.

— Обождите минутку, — сказала она. — К вам сейчас выйдут.

— Кто? — спросил я. — Разве мама уже ходит?

— Обождите, пожалуйста.

Майя схватила мне локоть и отвела от окошечка. К нам подошел седой мужчина в белом халате. Он положил мне на плечо руку и спросил:

— Вы сын Лидии Сергеевны Снегиревой?

— Да. Что с ней?

— Мы сделали все возможное, дорогой друг. Все. Но...

Пол в приемной был из белых и желтых плиток. Мне показалось, что это не пол, а дно быстрого ручья. Мужчина в белом халате взял меня под руку, Майя тоже. Я сказал мужчине:

— Не беспокойтесь. Я сам.

Он проводил нас до дверей. Во дворе я увидел Бориса, Федю и Лева. Они подошли к нам. Борис обнял меня за плечи. И я прижался к его груди. Потом мы долго шли к воротам по узкой тропинке среди осевших серых сугробов.

Под ногами хлопал мокрый снег.

Это таял февраль пятдесят третьего года.



Полезнейшее дело

Мой друг-студент, скажи:
Ты утомился за день?
А ну-ка, отложи
В сторонку чертежи,
И книги, и тетради.

Конечно, голова
Устанет от занятий...
Пойдем рубить дрова —
Все это очень кстати!

Вот видишь, за окном,
Там, где сарай ютится,
С огромным колуном
Старушка суетится?

Мы к ней придем сейчас
На помощь
Силой новой...
Вот этот в самый раз
Для нас чурбан сосновый.

А ну-ка, раз и два
По сердцевине трахни!..
Хорошие дрова!
А как смолою пахнет!

Да ты, смотрю, мастак?
Ты мастер на все руки...
Наверное, вот так
И Павлов шел в науке!

Устав, рубил дрова
И размышлял о чуде..
И — правда такова —
Как будто вышел в люди!..

Затми богатейшей,
Коль разгорелись страсти:
Бери чурбан скорей,
Который посурей,
Который посукастей!

И снова — раз и три,
И пять, и семь, и двадцать!..
Вот дерево, смотри,
Не хочет поддаваться.

Колун совсем утон
В нем, жилистом и плотном..
Сократовский твой лоб
Багровым стал и потным.

И сам ты как кузнец —
Решимость,
жесты,
поза...

Неправда, наконец
И ты сдалась, береза!..

И так вот дотемна
Бей все смелей и резче,
Пока уже луна
На стали колуна
Игриво не заблещет.

И скажет под луной
Старушка с одобреньем:
«Довольно, мой родной,
Пойдем домой со мной,
Попьешь чайку с вареньем...»

...Светлеет голова,
Играет силой тело...
Ей-ей, рубить дрова —
Полезнейшее дело!



Говорят деревья

О садовод, пришедший «спозаранку
В осенний сад,
Ты дождал до бед...
Деревья, как на скатерть-самобранку,
Роняют на траву свои плоды.

Но ты постой, внимательно послушай,
Что говорят они начистоту:
«Ты нам привил свою большую душу,
И доброту свою, и красоту.

Пойми же нашу горечь и досаду:
Льшь час назад,
Нетерпелив и зол,
Твой сын любимый проходил по саду
И о крыжовник ногу уколол.

Он лазал по кустам, он сам виновник,
Ему мы объяснили, как могли.
Так почему же вырвал он крыжовник
С корнями из кормилицы-земли?

Он срезал ветку груши
самой сладкой,
Привитую тобой, в конце концов,
И сделал из нее себе рогатку,
Чтобы теперь расстреливать скворцов.

О садовод, будь милостивым в гневе,
Но мы душой не можем покривить...
Ты доброту свою привил деревьям,
А сыну своему не смог привить...»

Из детства

1

Последний снег перегорел,
И подсыхало на бульваре.
На улице шумел апрель —
Праздничатающийся парень.

Он обернулся ветерком,
Мол, так ему необходимо:
Он где-то закурил тайком
И разгонял барашки дыма.

Он мчался вдоль Москвы-реки
И совершенно нетактично
Срывал у девушек платки,
Особенно у симпатичных...

Я сам дурачился вдвойне —
И за себя и за кого-то,
Когда нечаянно в окне
Увидел маму за работой.

Она уже четыре дня
Была за швейною машиной:
Обнову шила для меня,
Для своего восьмого сына.

И столько испытала мук,
Чтоб, минуя все заплаты,
Мне куртку выкроить из брюк
И пижамка старшего брата!..

Не отрываясь от труда
И не пытаясь скрыть досады,
Она бросала иногда
Неодобрительные взгляды.

Мол, здесь отбился он от рук,
А что еще творит он в школе?
И вот тогда проснулось вдруг
Во мне то чувство... совесть, что ли.

И, обогнав поток машин,
Которые неслись лавиной,

Я, «самый непослушный сын»,
Явился к матери с повинной.

Стоял в дверях и в пол смотрел,
Вихраст, растрепан и распарен...
А за окном шумел апрель —
Праздничатающийся парень.

2

Я стоял, как яхта на причале,
В ожиданье ветреного дня,
Потому что снилось мне ночами:
Не сегодня — завтра на меня
Ветер набежит, сначала слабый,
Он рванет у паруса края,
И пойдет, качаясь с боку на бок,
Яхта бездеходная моя!..

Где причалить ей, в каком заливе?
И к какому плыть материку?..
Я, вдыхая жар Сахар и Ливий,
Шел по раскаленному песку.
Не затем шагал я по пустыне,
Чтобы просто в Африке побить, —
Я хотел фашиста Муссолини
В дальней Абиссинии разбить!..

А потом — обратно. И — на полюс...
Ветер, дуй, пронизывая насквозь!
И снежинки острые кололись,
И по коже пробегал мороз.
Сквозь пургу, торосы и заносы
В самую трагическую ночь
Я хотел бедняге эскимосу
Чем-нибудь и как-нибудь помочь!..

Никакие беды и печали
Не могли с дороги сбить меня.
Я стоял, как яхта на причале
В ожиданье ветреного дня.
Потому что рос, как время, держим.
Для меня, как боевой сигнал,
Все звучал в сердечке пионерском
Твой напев, Интернационал!..

Дочери моей — Руте

С чем я только не встречусь на свете,
Все понятным становится мне...
А чему это малые дети
Улыбаются часто во сне?

Правда, что же им может
присниться,
Два-три дня — вот и все их житье?
Развеселая птица-синица?
Так они не видали ее!

Не видали ее — ну, откуда?
Ничего не слыхали о ней...
Может, попросту снится им чудо,
То, которого нету чудней?

А быть может, — подумайте сами —
Им смешно, что над ними, в траве,
Папа с мамой стоят вверх ногами,
Ходит бабушка на голове?

Нет, я думаю, все же не это!..
Только, знаете, как ни крути,
Никакого другого ответа
До сих пор не могу я найти.

И когда, свою дочку качая,
В полдень или порою ночной
Я улыбку ее замечая,
Что-то вдруг происходит со мной.

У меня аж по самые уши
Раздвигаются краешки рта,
И влипаются в тело и в душу
Непонятная мне доброта.

Словно в луг окупнулся я в росный,
Словно детство вернулось ко мне...
Обнажая беззубые десны,
Улыбается дочка во сне.

КСАНА МУРАТОВА —

ФРОНТОВАЯ АРТИСТКА

Рисунки И. Блинова

ГЛАВА VIII

ЗЕМЛЯ-ЗЕМЛИЦА

Весна подходила незаметно. Снег на полях чернел и оседал, дороги уже подсохли; постепенно земля освобождалась от снежной шубы и начинала тихо дышать; от ее живого дыхания шел пар.

Трупна кочевала. Останавливались на ночь в печальных избах, где с крыш бабы уже снимали солому, чтоб накормить спрятанную тощую коровенку, где едва хватало крестьянской семье картошки на чугунок. Это и было дневное пропитание. Артисты шли пешком: еле хватало лошадей для подвода с вещами. Шли и шли по талой земле, где из-под снега вдруг обнажались груды обгоревших кирпичей, руины деревень. Подолгу не встретишь жилья. Ах, как пустыня эта черная земля, когда нет на ней человека!

Из землянки вылезает старик крестьянин со слезящимися глазами, в рубаше и штанах из рядна, которых тнут бабы. Похоже, будто он в белье. Щурясь, старик смотрит в небо, ищет теплого солнца. Но солнца мало. Бегут и бегут по небу быстрые серые тучи.

Земля влажная, холодная, кое-где по оврагам еще держится снег, но здесь, на этом холмике с трубой, уже распрямляется прошлогодняя желтая трава.

Страшно заглянуть в это обиталище людей — землянку. Черная, сырая яма, теснота, грязь, на соломе, устилающей дно ямы, полуголые дети с зеленоватыми лицами.

Деревня давно сгорела, еще в империалистическую войну, люди не смогли отстроиться, вырыли землянки, так и живут который уж год.

— Какие будете? — спрашивает старик и приставляет ладонь к уху, чтобы услышать ответ. — Красные! Чи за самостийну Украину воюете?

— Красные, — отвечает Маруся Емельянова, — а ты кого ждешь?

— А, — машет он рукой, — всяких перевидал. Все вы горе одно!

Ксана с потускневшим лицом отходит от землянки. Дедушка, — спрашивает она, — это внуки твои там?

— Внуки, — нехотя отвечает дед, растирая свои худые ноги в тонких штанах. — Закурить нет ли у кого?

Скворцов дает ему махорки; из других землянок, как из пещер, вылезают древние люди, худые, с серыми лицами; они с завистью смотрят, как старик закуривает «хозяю ножку». Скворцов отдает им кисет, он идет по рукам, мужики жадно затягиваются дымом.

— Боже мой! — отворачившись, вздыхает Ксана. — Смотреть невозможно!

Продолжение. Начало см. в № 1 за 1964 год.

Клава Понсет стиснула двумя руками щеки, стоит, качает головой.

— Вот как люди живут!

— Не живем, а голодуем да мрем,— отзывается кто-то из крестьян.— Обездолала нас война. Когда ей конец будет?

У всех на душе тяжело. Сказать нечего.

Только Непомнящий почему-то с ужимкой бросает своим, чтоб не услышали крестьяне:

— Мужик, он любит прибрестица.

— А из взрослых есть кто с тобой, дедушка? — не взглянув на Непомнящего, спрашивает Ксана.

— А как же? — отвечает старик.— Дочка моя, Василиса.— Согнувшись, он все трет свои колени: видно, болят.

Ксана идет к обозу, что стоит недалеко, достает хлеб, который сегодня утром получили на станции, и приносит старику.

Моментально ее окружают женщины, дети, старики. Они шуршат от света, зябко поводят плечами.

Ксана растерянно оглядывает своих товарищей. Но все уже и сами идут к подводам, роются в вещах, достают что у кого есть — хлеб, сахар, печеную картошку. Непомнящий и тот тащит пару где-то раздобытых коржей.

Люди хватают, жадно тут же едят, одевают детей.

— Мы на шлаху, милоч,— говорит ей старик, тот самый, что сказал «голодуем да мрем».— Все войска через нас идет, никто не минет. Война здесь уж который год топчется. И бомбы, и пулеметы, и еропланы. Бог поселил — горели. А землячка не кормит. Посадишь картоху — кони вытопчут, солдаты съедят, так и мрем.

Ксана поднимает голову и смотрит в небо. Невыносимо ей глядеть в эти выцветшие глаза, на эти бессильные корявые пальцы, так бережно и ласково собирающие с ладони крошки хлеба.

Из земляники показывается голова женщины. Ее бледное лицо с продолговатым разрезом огромных темных глаз поражает необычностью, словно изнутри его сжигает какая-то неудержимая страсть.

— Простынешь,— грубовато говорит женщина старику,— чего стоишь? Иди в хату!

Хатой она называет свою землянку.

Старик покорно идет, худой, ссохшийся, в своей белой рубаше и портах, как покойник. Он протягивает женщине кусок хлеба, который сберег для нее. Она хватала хлеб цепкими руками, заворачивает его в край кофты и засовывает себе за пазуху. Безучастно оглядев актеров, которые стоят здесь, беседуют с крестьянами, она залезает на землянку поправить трубу, из которой тянется дымок.

Тарасов заговаривает с ней: вот скоро эта жизнь кончится, как только красные одержат верх и установится Советская власть. Уже совсем недолго осталось идти. И домов тогда настроят и поля засеют. Он старается говорить мягко, это грубоватый человек — уж он-то понимает, как плохо крестьянки-небедняку: он сам из бедняцкой семьи.

Женщина — это и есть Василиса — рылом поворачивается к нему, садится на землю — на крышу земляники, обводит всех взглядом, в лице ее что-то кипит, вот-вот прорвется криком, слезами или бранью.

— Землю отнимать будете? — вдруг надрывно кричит она.— В коммунию загоните? Глаза бы мои вас не видели!

Артист Сорокин, молодой человек с пышной шевелюрой и с неподвижными чертами лица, подкочив к ней ближе и начинает разъяснять, за что воюет Красная Армия, для чего нужна Советская власть, что такие большевики.

Мужики постепенно придивгаются к нему, молча слушают. Сорокин разъясняет все толково, толко, пожалуй, чересчур сухо и уверенно, что все пойдет, как по-писанному, ему кажется, что крестьяне, которые до сих пор колебались, послушав его, сейчас же повернут на сторону красных и сами будут удивляться, как это до сих пор они в чем-то сомневались. Нет, не так просто, не так все просто, Сорокин!

Василиса не слушает, она перебивает его речь иступленными выкриками, протестует, она полна ненависти и ярости, похоже, что она в бреду. Почему она протестует, беднячка, у которой нет ни хлеба, ни хаты? Ее красивое лицо пылает злостью и страданием. Может быть, кто-то настроил ее так неприкиримо, может, душа ее так-то ранена и не верит она теперь ни во что хорошее? Каждая фраза Сорокина вызывает в ней новую волну протеста и негодования. Она вся дрожит, ноздри ее расширены, глаза сверкают. Она похожа сейчас на загнанную, покрытую пеной, дрожащую всеми мышцами лошадь.

Ксана подходит к ней и стоит в нерешительности. Красный, Тарасов моргает Ксане: оставь ее, не в себе женщина, отойди лучше. Но Ксана не выдерживает.

— Не надо,— говорит она Василисе.— Успокойся. Ты не хочешь идти в коммуны? А кто тебя туда зовет? — Она повышает голос.— В коммуны! Кто тебя туда зовет? Кто заставляет? Никто тебя не заставляет!

Василиса поднимает на Ксану глаза, еще полные ярости и гнева. И Ксана, которая и сама-то не знает, действительно ли будут коммуны, и станут ли они обязательными, и как все сложится дальше, но она уверена, что будет именно так, как надо, бросает ей жесткие, крутые слова:

— Такие, как ты, не нужны коммуны!

Ксана хотелось утешить женщину, успокоить, но вышло иначе: сама не желая того, она хлестнула ее этими словами, как кнутом.

Женщина сделала попытку встать.

— Так мы уж и не нужны? — растерянно пробормотала она, словно сразу обессилев, упала на землю, обняла ее руками.— Уйдите вы все от меня! — вдруг закричала она.— Опостытели вы мне все! Не отдам я свою землянку, не отдам! Не жить мне без нее! — Она цепляется руками за землю, будто у нее хотят отнять этот кусок, на котором она лежит.— Берите жизнь мою. Но землю не отдам. Не отдам! Не оторвете меня от нее, не оторвете! — Она громко рыдает, хватая землю руками, как безумная.

Все отходит в стороны. Крестьяне мрачно смотрят себе под ноги, качают головами.

Ксана чувствует, что в ней самой тоже закипает гнев и боль, и жаль ей эту женщину, и хочется прикрикнуть на нее. Но что-то говорит Ксане, что этот страх за землю кем-то внушен Василисе, она сейчас как заколдованная, а стоит расколдовать ее, и она все поймет и так же яростно будет стоять за красных. «Она своя, своя», — думает Ксана, — ведь она нищая, несчастная, она должна быть своя!

Только что прибывавший откуда-то, запылавшийся Адоньев уже подает знак артистам идти к подводам: обоз сейчас тронется. Вздвонянная всем виденным, Клава Понсет уходит за ним.

Старая крестьянка, показывая глазами на Василису, шепчет Ксане на ухо:

— Мужа у ней на глазах казаки порубали и хлопчиха одного. Мать-старуху снарядом убило.

Кровь ударяет в голову Ксане. Она садится на землю, рядом с Василисой. Перед глазами ее встает

картина той страшной ночи, когда отступающие белогвардейцы грабили их квартиру. Как стояли они с револьверами возле отца, как стреляли в темноте. Как сестра ее Леля пряталась в одной рубашке в саду за сугробами. Воспоминание такое острое, что у нее сжимается горло. Она глубоко вдыхает воздух, чтобы взять себя в руки.

— Знаешь что...— тихо и медленно говорит она Василисе, наклонясь над ней,— знаешь что... моего отца и мать тоже чуть не убили. Чудом спаслись. И мой... Она не знает, как назвать его, Николая, воспоминание о котором почему-то сейчас так мучительно.— Мой... брат,— говорит Ксана, и глаза ее вдруг наливаются слезами,— мой брат где-то на фронте, не знаю, где, может, его уже и нет...

Так много хочется ей сказать этой несчастной женщине, так рвется из души своя боль, но ком истал у нее в горле, не выговорить больше ни слова. Да и, собственно, сказать больше нечего. Ксана сидит рядом с Василисой и молчит.

Василиса поднимает свое лицо от земли, поворачивается и смотрит на Ксану. Удивленно, большими глазами богатомери смотрит на Ксану. И неожиданно обнимает ее. Они сидят рядом, пряча от других свои лица, по которым быстро-быстро катятся частые светлые бисеринки.

Наяда Лаская издали зовет Ксану: пора ехать. На ее померкшем лице озабоченность.

Ксана решительно отирает рукой лоб. Василиса глядит ей в глаза близко-близко и шепчет, словно никого вокруг нет, словно они здесь вдвоем, как сестры, и она поверяет Ксане свою тайну:

— Я ж ее люблю, эту землю. Я бы за ней, как за дитем, ходила. Удобривла бы ее, переплалахала б, всю бы руками перегрела. Она бы у меня, как постель, чистая да мягкая была, и цвела бы и родилась... Я без нее остаться не могу. Мне без земли делать на свете нечего.

Слезы все текут по ее прекрасному лицу.

— Знаешь что,— говорит Ксана.— Так оно и будет. Увидишь. Ведь красивые хотят взять землю у помещиков, у богатеи, чтоб крестьянам ее дать. Понимаешь? Да для тебя-то ведь земля. Ты хозяйкой ее будешь, вот поверь мне! Ты только это время пережди, войну, держись как-нибудь. Война скоро кончится, это я тебе точно говорю, ты увидишь. Увидишь...

Они обе живют головами, соглашаясь и примиряясь друг с другом. Потом поднимаются с земли. — Ну, прощай!— еще раз говорит Ксана, сжимая локти Василисы.— Все хорошо будет, увидишь!— Она взмахивает рукой, прощаясь со стоящими поодаль крестьянами, и бежит к подводам. Там уже собралась все артысты. Василиса сразу уходит в землянку.

...Ксана лежит на подводе, лицом вверх, закрыв глаза. Ей не хочется ни с кем говорить. Много горя и нищеты кругом, едва-едва терпят люди, едва держатся. Слово ходят по самому краю чего-то, еще толчок — и все! Пропадает человек, рухнет в пропасть.

И так ясно видится все под закрытыми веками — черная земля, мягкая, добрая, как постель. А люди голодуют да мрут. И горе кругом. Сил не хватает. И душа не выдерживает.

Война, война, и не видно в ней, что кому-то худо, совсем худо. Идет человек по краю, по последней кромочке...

Ксана вскакивает и рукой отталкивает кого-то от пропасти, страшной, как могилы. Так показало ей. Будто оттолкнула кого-то от пропасти... Просто так показало.

Солнце прячется в тучах. Чернеют вокруг поля. Медленно тянется обоз. Устали лошади, мокрые от пота, голодные, тяжело мотают они головами, не поднимают на человека обожженных глаз.

В бригаду приехали засветло. Скворцов отправился к комиссару бригады узнать, когда труппа должна дать спектакль, покормят ли артистов, сменят ли лошадей.

Маруся и Ксана пошли с ним.

В хате, где стоял комиссар бригады Воробьев, было полутемно. Сквозь маленькое грязное окошко едва пробивался свет. Воробьев полулежал на застланной ковриком лавке, опираясь на подушки, и курил. На его желтом, как янтарь, лице мрачно горели черные глаза. Было видно, он нездоров и в плохом настроении.

Мальчик-ординарец, круглый сирота, прибывший с войском, сидел на табурете и перебирал струны гитары.

— Послушайте его, послушайте,— насмешливо сказал Воробьев,— у меня тут свой театр. Ну-ка, цыганскую!— приказал он мальчику.

Тот принял неестественную позу и зашел «Мой костер в тумане светит» чуть в нос, подражая, видно, кому-то, затгивая некоторые слова, другие быстро проговаривая. Было жалко его и неприятно на него смотреть.

Воробьев мрачно смеялся.

— Не надо,— попросила Ксана.— Ну, пожалуйста, не надо!

Воробьев встал, прошелся по хате.

— Наш народ уже победил, сейчас вас накормят. Не густо, правда, пшениный кулеш с салом, вот и все. Хлеба зато вдоволь. Спектакль завтра дадите. Вечером здесь не очень-то... А сейчас хорошо бы артистам—кто у вас тут может—побеседовать с крестьянами. Небольшой митинг проведем. Объяснить надо, какая у нас власть, чтобы поняли: помещикам, богатеям конец. Чтб сами шевелились да помогли Красной Армии хлебом, конями. В лесах добро прчут, хлеб позарывали. Кулачья тут!..

На митинг вместе с Воробьевым пошли Скворцов, Маруся и Ксана.

Народу собралось много на лужке, у самой околицы. Дальше начинался жидкий ельник.

Воробьев привычно открыл митинг небольшой речью о мировой буржуазии, о борьбе рабочего класса за победу, о Советской власти. Когда начал беседу Скворцов, Воробьев, уходя, тихо сказал Марусе и Ксане:

— Решите сами между собой, что о чем будет говорить. Агитируйте вот за что: чтоб сеяли, чтоб лошадей не прятли по лесам, чтоб помогали Красной Армии. Вот главное. Как кончите, приходите обедать прямо ко мне. Да расскажете, как тут прошло.

Ксана спросила настороженно:

— И я тоже должна выступать?

— А как же? Тут вопросов будет дай боже!

Ксана слушала недлинную речь Скворцова и волновалась. Ей казалось, что он говорит, как на репетиции, интеллигентными словами, но крестьянам это вряд ли понятно. А что она сама скажет? Ей не приходилось еще разговаривать с такой большой толпой. Она вела лишь короткие беседы с небольшими группами бойцов по три-четыре человека. Читала им газеты. Но это было совсем другое.

И сейчас она лихорадочно думала, о чем же ей говорить и как. И ей представлялось, что вот она выйдет вперед, и от волнения в голове у нее брызнут разноцветные искры, и она не сможет сообра-

жать, и станет выкрикивать уже много раз слышанные фразы, как это делают некоторые ораторы на митингах, и будет рубить воздух рукой... «Нет, не дай бог!» — ужаснулась она. Только бы не волноваться, быть спокойной, обдумывать, что говорить, смотреть им в глаза, рассуждать как бы вместе с ними. Вот так выступал Равичев, она однажды слышала и удивлялась, что он не речь произносит, а просто разговаривает, тихо, спокойно и, кажется, даже тут же обдумывает, не боится задержаться с ответом, мысль поворачивает и так и эдак, пока все не становится убедительным. Если бы ей удалось так! Только б не сбиться на высокопарные слова, на всякие фразы о мировом коммунизме, о том, чего не знаешь. Тогда ужас! Лучше убежать сейчас! Крестьяне стояли плотной молчаливой толпой — приглядывались к артистам.

Маруся Емельянова в стороне негромко что-то объясняла кучке женщин. Они тесно окружили ее, задавали вопросы. Сковорцов все время беспокойно смотрел в их сторону, очевидно, боясь, что Маруся может не справиться, ее собьют и она попадет в трудное положение.

Он быстро закончил свою речь и стал пробираться сквозь толпу к Марусе. За ним потянулись некоторые мужчины. И скоро он и Маруся уже вели совместную беседу с толпой крестьян, главным образом о положении на фронте.

А Ксана тоже оказалась в плотном, широком кольце мужчин, пожилых и молодых — бабы куда-то расселись.

К своему удивлению, она вдруг перестала волноваться и, даже забыв про Равичева, про то, как он повел бы разговор, начала с того, что еще с утренней встречи ее терзало и томило, — с бедности крестьян, с их разоренности, с нехватки земли. Она отвечала на вопросы, что летели к ней из толпы, и снова возвращалась к земле. Шла речь о том, что сейчас, в начале весны, необходимо всем миром взять помещичью землю и всю ее, включая помещичью, засеять; что это надо сделать не только для себя, чтобы не голодать, но и для всей страны, которая нуждается в хлебе. Красная Армия побеждает, вскоре всюду будет революционная власть. Крестьяне и рабочие сами будут хозяевами земли. — Значит, работать будем мы, а хлеб жрать вы! — раздался чей-то злой голос.

Ксана оскелась. Она сразу увидела того, кто это сказал. Это был крепкий, скуластый пожилой мужик в добротном полушубке анжидку. Он стоял, расставив ноги, высоко поднимая плечи, словно собирался бороться.

Стараясь сдерживаться, Ксана, как умела, разъяснила, что в Советской стране все будут трудиться на равных правах; тот, кто не трудится, не будет есть добытого другими хлеба.

— Эх, земля-землица! — вздохнул стоящий возле Ксаны старик в рваном зипуне.

Она задержала на нем взгляд и подумала, что этот старик, наверно, охотно будет помогать новой, революционной власти и надо было бы таких бедняков, как он, собрать отдельно и поговорить с ними.

Но, когда снова окинула взглядом толпу, она заметила странное движение. Там шли какие-то перемещения, кто-то подвигался ближе, кто-то отходил, а ее, Ксану, как-то незаметно стали теснить к ельнику. Сковорцов, споря о чем-то с группой крестьян, стал отдаляться, отдалялся и вместе с Марусей уже ушел с лужка к большому крестьянскому двору.

— А бога отмените! — ехидно спросил молодой парень, щуря глаза и кому-то в толпе подмигивая.

— Комиссаров над нами поставите? — крикнул кто-то издалека.

— А земля-то чья будет? Наша чи ваша?

Сквозь толпу медленно пробирался тот крепкий скуластый мужик в накиннутом на плечи полушубке, который он изнутри придерживал руками, чтоб не распахивался. На лице его играла странная улыбка, он опустил веки и смотрел вниз, иногда лишь быстро бросал короткий взгляд на Ксану. Ксана заметила, что он пробирался не один; неподалеку в толпе двигался парень, с которым он иногда перекидывался как будто равнодушным взглядом, но не отодвигал его некоторое время, и парень тоже смотрел на него, не мигая, и улыбался. Было что-то согласованное в их улыбках, взглядах, в движении через толпу в сторону Ксаны.

Ксана сама не понимала, почему, но ей был неприятен и этот мужик и этот парень, и она старалась не смотреть на них. Она отвечала на язвительные выпады, чувствуя, что отвечать уже не надо, ответа на них никто и не ждет, а просто хотят большое обидеть, задеть, вызвать спор, быть может, ссору. Инстинктивно она высказывала более мягкие вопросы и старалась найти союзника в том, кто их задавал. А злые слова летели в нее, как камни.

Она решила, что, очевидно, говорит неубедительно, и собирала в себе все мысли, чтобы сказать что-то самое главное о Советской власти, о коммунистах, о будущей жизни.

И вдруг увидела, что толпа стала редеть, а мужик и парень уже стоят рядом с ней. Ксана подумала, что, вероятно, именно их, этих неприятных людей, надо привлечь на свою сторону, тогда станет легче и рассеется какая-то напряженность. Сама не понимая, откуда берутся слова, она что-то говорила и говорила этим приближавшимся мужикам со стороны, натянутыми улыбками на лицах, с высоко поднятыми плечами. Она обращалась только к ним, она глядела им в лицо и торопилась, торопилась, словно надо было успеть во что бы то ни стало убедить их. Ее теснили, она чувствовала людей за спиной и с боков, они мягко прилипали к ней, и она уже шагала по хрустким веткам подлеска. Дальше идти было некуда.

Но позеда, за толпой, уже шли от деревни свои — несколько человек в военном, — кто-то из них издали громко крикнул:

— Разойдитесь!

За ними шла Надя, Ксана увидела ее беспокойные глаза.

Сильными руками раздвигая толпу, военные продвинулись к Ксане и отделили ее от крестьян.

Воробьев был одним из них; он обнял Ксану за плечи и повел ее из толпы; Надя и остальные шли следом за ними. На глазах толпы заметно начала расплываться. Мужики куда-то исчезли.

Воробьев, Ксана и все, кто был с ними, пошли по улице к дому, где квартировал Воробьев. У первого двора к ним бросился взволнованный Сковорцов.

— Ну что? — спросил он. — Я так за все...

— Ну, ничего, ничего, — спокойно ответила Надя. Воробьев махнул ему рукой, что ладно, дескать, чего тут говорить.

— Подозрительная была толпа, — все же сказал Сковорцов и покачал головой.

Воробьев остановился, огляделся, прищуренными глазами проводил последних расходящихся крестьян и пробормотал сквозь зубы:

— Вот гидра, черт его матери!

Неторопливо он спрятал револьвер в кобуру. Ксана только сейчас увидела этот револьвер и удивленно спросила:

— А что там было?

Воробьев живо переглянулся со своими товарищами и невесело рассмеялся. Ослепительно сверкнули белые зубы на его янтарно-желтом лице.

— Вот и объясни ей, что здесь было...— И, поглядев на ее встревоженное лицо, добавил: — А агитатор из вас, товарищ артистка, получится хороший! Даже не ошандал!

ГЛАВА IX

КРАСНАЯ ЗВЕЗДОЧКА

Впереди завиднелся бор, одетый легкой сизовой дылкой; издали казалось, что это испаряется хвойный аромат.

Из бора вырвалось несколько телег, нагруженных набитыми чем-то мешками; двое верховых с карабинами скакали по сторонам. Возницы-солдаты стегали лошадей, торопились; лошади, сильно напрягаясь, тащили свой груз по неровной колее. Наконец выехали на дорогу, как раз навстречу обозу артистов.

— Кто едет, не поймешь, — сказал Адоньев, спрыгнул с подвода и пошел по середине дороги.

Несколько артистов присоединились к нему. Ксана тоже подошла. Нади не было, она уехала раньше квартирьером.

— Еще на бандитню какую напоремся, — попробовал кто-то пошутить.

Встречные телеги приближались. Верховые отделились от них и выехали вперед.

Внезапно обоз артистов стал. Возница передней подвода соскочил, бросил вожжи на круп лошади и, вглядываясь в подъезжающих, охнул:

— Ой ты, матынька ридна!

Остальные возницы тоже повскакивали с мест, стояли, ждали.

Верховые закричали, стаскивая с плеч карабины и бранясь:

— Чего стали! Проезжайте!

— Ну что ты, браток, что? — громким спокойным голосом спросил в ответ Адоньев. — Артисты едут, не видишь?

— Проезжайте, проезжайте, — снова закричали верховые и направили коней к обозу артистов. Увидя женщин, старика Романова, они успокоились и стали махать руками своими: дескать, ничего опасного нет, можно ехать.

Встречные телеги, тоже было приостановившись, двинулись. Теперь было видно, что едут зерно.

— Ревизировали, что ли? — спокойно, по-дружески спросил Адоньев верхового.

— Ага! В лесу, дьяволы, прятали. В самой чащобе!

— Ой ты, маты моя ридна! — еще раз простонал тот же возница и сел на краю дороги.

Четыре веза с мешками проехали. С пятого человека в пиджаке, с винтовкой под мышкой, придерживая лошадей, закричал:

— Ну чего, чего там! Не видите, бандюков вазем! Расстрелять их к дьяволу, кулачев проклято! Мать их!..

Кроме человека в пиджаке, на телеге сидел красноармеец в буденовке, там же находились арестованные. Один из них лежал лицом вниз, спина его была в крови; связанные назад веревкой руки пошнели и распухли. Двое других мужиков были обмотаны веревками спина к спине, они полужадали, опираясь друг на друга. Лоб и щека у одного побуровели и вздулись.

Человек в пиджаке был бледен и зол; когда он говорил, губы его тряслись: видимо, нелегко далась ему победа. Он попросил покурить — кисет потерял в лесу. Адоньев достал махорку. Тот подставил ладони, она была испачкана кровью, он второпях вытер ее о штаны. Адоньев насыпал ему в горсть махорки.

Один из связанных, седой, бородатый мужик с багровыми пятнами на лице, жадно покосился на махорку и отвернул голову.

Красноармеец в буденовке, докуривавший сигарку, свернутую из газетной бумаги, сильно затянулся, вынул изо рта всеми пятью пальцами окурок, оторвал слюнявый кончик, а сигарку сунул бороdatoму в рот. Тот суетливо втянул дым раз, другой. Красноармеец, обжигая пальцы, вынул у него изо рта окурки и бросил наземь. Лицо его было неподвижно, словно высеченное из камня.

— Ну, пошел, черт! — крикнул человек в пиджаке, дернул вожжи и вдруг улыбнулся Адоньеву и артистам широкой улыбкой, открывшей все его зубы и стальные десны.

— Захватил-таки гадов. Я их сколько ден пошел! А кони-то Видали? Сытые! — Он хлестнул лошадей вожжами, и они с ходу помчали скрипящую телегу. Артисты пошли к своим подводам.

Возница, что сидел на земле, поднялся и, шатаясь, как пьяный, влез на свое место, дернул с силой вожжи. Его шея и волосы на затылке были мокрые.

— Их расстреляют? — через некоторое время спросила Ксана Адоньева, который шагал рядом с ней по пыльному шляху.

— Кто его знает, — задумчиво ответил Адоньев. — Прятал зерно в лесу... А в стране-то голод... Да и сами здоровы... Им воевать бы, а не по лесам сидеть... Наверно, расстреляют.

— А кому она, та война, нужна? — закричал, поворачиваясь к ним белым, как молоко, лицом возница, который так горько призывал «ридня маты». — С мужика пять шкур дерут и больше, и красивые, и махновцы, и петлюровцы. Да куда деться от вас, прощати на вас нет! — Последние слова он выкрикнул, почти рыдая.

Артисты шли молча. Никто не проронил ни слова. Только Дуса, сидя на подводе, вдруг ткнулась лицом в какой-то узел и простонала:

— Не могу я, не могу!..

Адоньев обернулся, посмотрел, кто это, задержался и, когда с ним поравнялась подвода с Дусей, пошел рядом.

— Ну-ну... — сказал он тихо и миролюбиво. — Ты ж у нас не самая малая. А, Дуса? — Он тронул ее за плечо. — Война! Кто не с красивыми, тот с белыми. Не на жизнь, а на смерть война. Тут уж, брат, надо держаться...

Дуса села, поправила волосы.

— Да я все понимаю, — пробормотала она горестно, — душа не выдерживает.

— Эх, жаль, нет нашей пезуны Надежды Александровны, — весело сказал Адоньев. — А то мы приостановим немножко. — И неожиданно тенорком лихо запел:

Сызело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем
В борьбе за это...

И будто еще только и ждали песни — разом подхватили. На ходу построились, шагали в ногу и пели с каким-то зевалым азартом одну песню за другой.

Только старик Петр Михайлович Романов, не зная слов, приспособившись к мелодии, аккомпанировал басом: «Бум-бом, бим-бум-бам!»..

Дорогу перерезала гряда невысоких холмов, покритых иссохшей, прошлогодней травой, потоптанной скотиной; за холмами недалеко выдвинулись белые хаты.

На холме, слиной к деревне, стоял мальчик лет восьми; его одинокая фигурка в куртке с отцовского плеча, в надетой наброс старенькой ушанке вызвала щемящее чувство одиночества и беды.

Маруся Емельянова покрывала ему, помятого его рукой, но он окинул ее равнодушным взглядом, отвернулся и стал всматриваться в ту сторону, откуда приехали артисты. Очевидно, он кого-то ждал издалека.

Ксана стороной избежала на холм; мальчик увидел ее, когда она уже стояла рядом с ним.

— Ждешь кого, хлопчик? — спросила она.

— Деда, — после небольшой паузы ответил он, почему-то заглябнувшись: казалось, он заикается.

— А где твой дед?

— Там! — неопределенно мотнул он головой. — Небось, знает уж, что батьку убили. — Он сказал это тоном, жалким голосом и снова заикнулся.

— Кто ж его убил? Давно? — испуганно спросила Ксана.

Мальчик опустил голову и потупился.

Ксана подошла ближе, погладила его по плечу. Бледное неумывое личико с темными засохшими подтеками говорило о долгих слезах.

— А вы какие? — несмело спросил ребенок. — Красные? Чи белая?

— Вот видишь? — Ксана сняла шапку и показала ему необычно маленькую пятиконечную звездочку из прозрачного ярко-красного камня.

— Хотите эту звездочку? — спросила она, хотя любила ее и не собиралась заменить обычной красноармейской звездой.

— Хочу, — шепотом ответил мальчик, зажал звездочку в руке и взглянул на Ксану темными блестящими глазами с покресневшими веками. — Еще в ту пятницу убили. Его вожаками скрутили. А то бы он не дался. Он ловкий был. Хоть и рука раненая. Его вожаками скрутили... На груди звезду вырезали... Я как закричал... — Он снова опустил голову, икота душила его.

— Пойдем с нами в деревню; кто у тебя там есть? Мама?

— Мамочки нема. Умерла, — прошептал мальчик. — Я деда буду ждать.

У Ксаны сдавило в горле. Как ему, маленькому да слабенькому, защититься в этой сумятице? Куда скоротиться?

Обоз ушел далеко вперед, уже первые подводы выехали в деревню.

Ксана побежала догонять его, по дороге она оглянулась и помахала мальчику, он не ответил ей.

В хате, где Надя уже развела на припечке под таганком огонь, чтобы сварить картошку, хлопотливой молодой хозяйка рассказывала, что произошло в деревне.

— Тот Петро с фронта недавно воротился. Рука у него перебитая. Ну, за коммунию он агитировал, верно. — Она выглянула в окно, крикнула кому-то: — Залезь, доношко, под крыльцо, там, может, куры лягут несли, так достань трючку, пусть себе красноармейки яншенку изжарят... Да посмотри там маль-

ца, где он делся... Дочка моя, помощница, десятый годок пошел, — объяснила она, оборачиваясь к своим постояльцам, — так все втроем и бедую, я с ней да мать моя. — Она поглядела на старуху с болезненным белым лицом, сидящую на пороге и перебирающую горох в решете. — Хозяин мой все с богами, придет, вновь заберут, кобылу совсем загнал. Сам с детства хромоножка.

— Так что же сделали с этим Петром? — нетерпеливо спросила Ксана.

Женщина быстро сняла с таганка чугунок с картошкой, слила воду и села на лавку, вытирая тряпкой свои полные небольшие руки.

— Помещичью землю засеять надо! У нас-то на свою черню нет. У кого взять? У кукурузы взяли. Он да братья Охрименки нашли этого зерна, дай боже — в земле было зарыто, — все село накормить можно. Взяли на посев, сколько-то оставили. Те злобу затаили. А тут налетели бес их знает кто, с погонами, белые, а может, которые в лесах отсиживаются или на хуторах у кого прчутся. Я так соображаю, — зашептала она, — привели их сами кукурузы наши, Лобода-лавочки да сын его, он тот самый вредный, контра, у Деникина служил. Не знаю, как уж он вернулся, совсем ли, нет ли, не знаю. Он-то и связал Петру вожаками да и тащил по улице, а потом, помилул бог, звезду ему на груди вырезал. А над Охрименками что творили! Моего сама судьба пожалела, в обоз взяли. Он ведь с Петром-то душа в душу, коммунию оба хотели, чтоб земля общая была. Только я не знаю, уж какая коммуния, когда есть такие кукурузы. Мы тут ни живы, ни мертвы сидели, думали, пропадем... Ну чего вы, мама, плачете? Чего душу разрываем? Тех гадов, убийц, ужасов, взяли. Им теперь отольются соленные слезки... Раскопали у них в лесу ямы, зерно реквизируют. Всех их захватили. Сегодня, как вам приехать, — кивнула она Ксане.

— Надя! Так это я видела, как их везли! — вскрикнула Ксана. — Убийц этих... Еще над возиком один плакал... Жалел их...

— Не слезами, пусть кровью обольются, — с горечью проговорила хозяйка. — Хлопчик тут есть маленький, так на глазах его отца терзался.

— Где этот мальчик? — спросила Ксана. — Как он жить теперь будет?

— Он деда все ждет, на горки ходит, высматривает. А тот сам хворый, недалеко тут, на хуторе, живет. Как узнал про Петру — тот зять ему, — ноги у старого отянулись... Хлопчик теперь у нас, куда ж ему?.. Ну чего вы, мама, как завелись? Сил моих нет смотреть на вас.

Женщина встала, улыбнулась Ксане и Наде, покружилась по хате, ломая руки, слезы стояли в ее карих блестящих глазах.

— Да что ж это я вам горести все рассказываю?.. Картошка остыла, яншенки не сжарили, сейчас я заведу.

Надя достала хлеб, очистила несколько картофелин.

— А этого деникинца, как его... сына Лободы, нашли?

— Нашли, — копошась у печки, отозвалась хозяйка, — в лесу застгли. Там у них и продовольствие и как бы оружие не было припрятано... Только бы Червона Армия не ушла с нашей деревни. А то нам пропсть. Всех изничтожат. У нас контра тут!.. Какая уж тут коммуния!

— Коммуния, коммуния, — слабым, хриплым голосом закричала старуха, — сбесилась? Что ты смыслишь? Да дадася тебе коммуния на что? Живи тихо

да молчи, пока кто не услышал, а то саблями изрубят.

— Да не хочу я молчать,— выпрямившись и краснея от гнева, ответила хозяйка.— Всех не изрубят, теперь уж и нам Советская власть пришла. Довольно нам спину гнуть. Ленин, слышали, мамо, что нам обещает? Достато! Справедливость! Вот что! И чтоб не было у нас кукулей!..

Она хотела еще что-то сказать, но дверь открылась, и вошел хлопчик, тот самый хлопчик, сын убитого Петра.

С ним была рослая кареглазая девочка, очевидно, Гая.

— Мамынька,— сказала она.— Павличко исты хочет.

— Ах ты, мой сыночек!— засуетилась женщина.— Иди руки мой да садись за стол. И ты, Галю, с ним, посподиайте, голубочки.

— Нема деда!— печально, по-взрослому сказал мальчик, скинул с себя куртку и долго оглядывался, куда положить ушанку. Свернул ее в трубку, подумал и заткнул за пояс.

Гая засмеялась, вывала у него шапку и, совсем как ее мать, ласково стала уговаривать:

— Туточки положим, рядышком с тобой, на скамеечку.

Мальчик хмуро огляделся. Его глаза задержались на Ксане, он узнал ее, губы его чуть тронулись, но улыбки не получилось. Своим наморщенным лбом и сутулостью он напоминал маленького старичка.

Сердце Ксаны сжалось. С гневом и отращением вспомнила она тех арестованных, что встретились им сегодня по дороге.

А Дуся-то заволновалась. Не знала, за кого волнуется.

Ксана стояла и с болью наблюдала за мальчиком. Он опустил голову и, схватив свою ушанку, машинально тер ее. Ксана увидела приколотую к ней звездочку.

Ей хотелось что-то сказать мальчику, утешить его, но она не нашла слов, только провела рукой по его давно не стриженной голове и просящими глазами посмотрела на хозяйку. Та печально покивала ей головой.

— А к вечеру мы с тобой, сынок, вместе пойдем до дйда. И Галю с собой возьмем. Так?— обратилась хозяйка к Павличку, накладывая в миску картошечку.— Ты только не печалься, голубок. Вон Червона Армия пришла, у нас теперь жизнь будет хорошая. А батьке твоему, мученику, красному герою, мы на могиле дубок посадим, чтоб люди помнили, что здесь закапал. И ты, голубок, вырастешь тоже красным героем. Чи не так?— Она все щебетала и щебетала, потом подошла к старухе, быстро отерла ее лицо тряпочкой и, глотая слезы, тихо проговорила:

— Ну, мамо, пожалейте меня, Христом-богом прошу, что вы, как дите малое, все плачете? Теперь уж наша взяла, мамо! Наша взяла!

ГЛАВА X

ИМЯ НЕИЗВЕСТНО

Полк, куда надо было доставить письма, газеты, брошюры, стоял в ближней деревне, всего в каких-нибудь семи-восьми верстах от села, где разместились артисты. Ксана сама вызвалась пойти туда. Она уже несколько раз одна, а иногда с Надей

или еще с кем-нибудь из труппы отправлялась на передовую линию фронта по поручению политотдела дивизии. Чаще всего это была читка красноармейцам какой-либо брошюры или газетной статьи.

Сейчас Ксана ждала, когда комиссар Аноньев перепрежет пачку с газетами и письмами, которую он принес из подвоя, и задаст свои обычные вопросы:

— Идешь по направлению к фронту. Поняла?

— Поняла.

— Значит, смотри в оба. Дорогу расспросила?

— Расспросила.

— Ну так. Придешь к комиссару...

— Да я знаю,— нетерпеливо улыбнулась Ксана.

— Так вот... Не боисься одна? Жаль, Надежда прихворнула.

— Ничего я не боюсь.

— Смотри, какая хребрая!.. Спросишь комиссара, может, газеты почтитать, письма неграмотным!..

— Ладно. Спрошу.

— Ну все. Топай!

Ксана легко подняла пачку и пошла по узкой улице, а вернее, просто по затвердевшей глинистой коле. Идти было неудобно, и Ксана зашагала рядом с колею, прижимаясь к хворостинным плетням.

В деревне было тихо и смутно; редкая баба, проходя, оглядывалась на Ксану. Несколько лет, еще с империалистической войны, здесь квартировали солдаты, одни уходили, другие занимали хаты, крестьяне понору встречали их и только молча глядели в землю, когда от них требовали хлеба, лошадей, какой-нибудь снеди.

Сразу за деревней широко распахнулись дали. В тишине и безлюдье простирались поля, зажатые песчаными пустошами, мелкосемем, овражками. Земля еще лежала неспаханная, твердая, с едва проклюнувшейся травкой, ждала человеческих рук.

Ксана особенно любила свои путешествия потому, что в эти часы она оставалась наедине с природой.

Прохладный ветерок с легким шумом касался щек Ксаны. Ей казалось, что это дышит земля, может быть, о чем-то шепчет на своем земляном языке.

Бледное теплое солнце купалось в дымчатом море, оно уже перешло середину неба и катилось вниз, его лучи начинали нежно окрашивать горизонт в розовые и сиреневые тона заката.

Все было значительно в природе, словно за той красотой, что видна людям, таилось еще что-то невидимое, полное скрытой силы и своего, особого разума.

«Боже мой, как хорошо!— подумала Ксана.— И печально, и все равно хорошо. Кругом война, раненые, горе, где-то живет Павличко с истерзанной душой, а в природе прекрасно...»

Она шла и шла одна в этом немерянном пространстве, где была земля и огромное круглое небо. Позади она оставалась таким, как обычно, голубоватым, синим, а впереди, у горизонта, словно раздвигались занавес, и она входила туда, как в золотые ворота, за которыми начиналось царство розово-желтых, малиновых, огненных красок. Но это было нечто большее, чем царство красок; казалось, там находится особый мир иных радостей и иных печалей.

Вдалеке замаячила какая-то черная точка, она росла, приближалась. Кто-то ехал ей навстречу, лошади шла шагом. Всадник задумчиво качался в седле, и Ксана подумала, что он тоже, наверное, во власти этой захваченной природы.

Он подъехал и разом соскочил с седла.

— Ксана! Куда это вы?

Это был Алеша Крушенков из дивизионной школы. Она знала его. На фронтовых переулках часто перекрещивались дороги ее и Алеши. Они любили перекинуться словом, какой-то тревожащей мыслью, немного и сдержанно рассказывали о себе, о своих близких. Иногда касались тех общих вопросов, о которых Ксана так часто говорила с Колей, — о людском горе, о нищете, о несправедливостях жизни, о законах, которые должны быть...

А еще Ксана знала об Алеше, что он поэт. Он не читал ей своих стихов. Только однажды, когда они долго шагали рядом с обозом, он тихонько напел ей свою песенку.

И Ксана в ответ дала ему на один вечер тетрадку со стихами. Тетрадок было много. Но Ксана дала только одну, где были самые неинтересные стихи. Ей казалось, что это еще можно себе позволить. Но тех, в которых было что-то очень ей близкое, ни когда и никому показывать нельзя...

— Куда это вы, Ксана? — повторил Алеша, и карие глаза его стали круглыми и черными.

Ксана рассказала, куда идет.

— Это ужасно, — сердито пробормотал Алеша. — А почему же не пошел с вами еще кто-нибудь? — Да я сама, я сама так хотела, — засмеялась Ксана.

И она невольно огляделась вокруг и стихла, не умея и не желая выразить своего восторга перед тем прекрасным, что окружало ее. Это была ее тайна, как были тайной ее стихи, которые она писала, и люди, которых она любила, сама того не зная.

— Посидим на этом пригорочке, — предложил Алеша. — Здесь сухо, и трава уже пробилась.

Они сели. Алеша закурил. Ксана тоже свернула тонкую самокрутку из махорки и, неумело держа ее, задумалась. Было тихо, только фыркала и переступала с ноги на ногу лошадь.

— Хорошо здесь. Люблю простор, поля, — сказал Алексей и вздохнул.

Ксана, улыбаясь, молчала.

— Не могу я понять вас, Ксана, — неожиданно заговорил он, — не то вы отчаянная, не то просто еще ребенок и не понимаете, что делается вокруг...

Упираясь локтями в колени, он сидел на пригорке, свесив голову вниз.

Ксана встала, подошла к лошади, хлопнула ее по шее, погладила в ее печальные глаза.

— Я нигде не пустил бы вас... — ровным голосом, без интонаций сказал Алеша. — Я почему-то совсем не понимаю вас, что вы. И зачем вы здесь. Женщин, которых я вижу на фронте, каждую по-своему я понимаю. А вас нет. Зачем вы здесь? Совсем еще дитя... Среди всей этой крови и грязи?

— Что вы говорите, Алеша! — вспыхнула Ксана. — Значит, мне надо было сидеть дома, учить уроки? А здесь пусть работают другие? Да?

— Не знаю! — Алеша встал, вытирая из-за голенища сток и хлестнул себя по сапогам. — Там, где сейчас я стою на квартире, — начал он другим, мягким и тихим голосом, — под окном растет сосенка. Я по утрам с ней здороваюсь. А вчера ночью не спелось, сосенка качается перед окном, прямая, тонкая... И я ей тоже кивал. Откуда она здесь?..

— Ну вот! — не зная, что сказать, пробормотала Ксана. — Пойду. А то поздно будет возвращаться.

— По правде скажите: не боитесь?

— Конечно, нет! А чего я должна бояться? — с

вызовом спросила Ксана и подняла с земли свой туючок.

— Подождите, — решил вдруг Алеша. — Берите мою лошадь! Я бы сам вас проводил, да у нас учения.

— О-о! — радостно охнула Ксана. — Это чудно! Это замечательно! Правда, можно? А то, говорят, какой-то строгий приказ насчет лошадей...

Ксана только недавно научилась ездить верхом и редовала каждому случаю прокатиться на лошади. И сейчас она, не дожидаясь ответа, сразу занесла ногу, чтобы попасть в высокое стремя, но Алеша подставил ей колено, и она, осторожно ступив на него носком, легко вспрыгнула в седло.

— Вернитесь, может, доведете коника; мы тут же остановились, за селом, на хуторе. Или расседлайте, во дворе поставьте, я сам приду за ним.

Привязывая сбрую к седлу ее туючок, не глядя на Ксану, Алексей продолжал свою прежнюю мысль:

— Мне очень хочется с вами поговорить обо многом, обо многом... Не спеша, не на ходу...

— Ну спасибо! — весело крикнула Ксана, едва он привязал ее ношу. — Мы обязательно поговорим. При первой же встрече... — Она тронула повод, лошади сразу пошла. — Вы даже не представляете, как я люблю верхом... Теперь я быстро домчусь, — говорила она, повернувшись в седле и, удаляясь, махнула ему рукой.

Алеша долго стоял, провожая ее взглядом.

Деревню, где должен был находиться полк, Ксана разыскала быстро. Но две роты вместе с командиром полка утром ушли вперед и расположились где-то в поле. Здесь же, в деревне, царила какая-то тихая суета и озабоченность. Все торопилось, бежало куда-то, и толком что-либо узнать было не у кого.

Солдат здесь встречалось немного, полк был сильно потрепан в боях. Военкома Ксана не нашла, он тоже уехал куда-то на хутор. Она спешила, чтобы размяться, побродила по длинной улице, зашла в хату выпить и вышла на площадь, где стояли возы без лошадей. С трудом она раз узнала, как найти те части, что ушли с командиром полка, и направилась туда.

Предполагая, что это близко, Ксана пошла пешком, ведя коня на поводу.

Меж тем вечерело. Огромное желтое солнце сияло в небе, золотило черное поле и медленно падало вниз.

Ксана шла долго по кочковатому полю, вперед было пустынно, безлюдно. Устав от неудобной дороги, она с трудом взобралась на лошадь и все приглядываясь к кустарникам, к полям, к дальней рощице, не видя ли издали солдат. Ей даже стало немножко жутковато: куда же она едет?

Но неожиданно у небольшой сосновой рощицы возникла фигура красноармейца; он шел навстречу. Ксана заметила, что и в роще есть люди; у самой опушки стояло оружие.

Боец, держа перед собой винтовку, приблизился, хмуро разглядывая Ксану. Она попросила ответить ее к командиру или к комиссару, объяснила, что привезла письма, газеты.

И вот она в редком сосняке. Очень молодой, худенький, светловолосый человек, бледный до голубизны, с суровым выражением лица, поднялся с пафета оружия; окружавшие его солдаты расступились.

Громко, с чувством радостного возбуждения, Ксана стала рассказывать, как она давно ищет их, как уже хотела возвращаться...

— Тш! — остановил ее юный командир. — Говорите тихо. Все разнесится. Враги близко. Могли выслать разведчиков.

— Так близко, — удивилась Ксана, — что могут услышать? И впереди уже наших войск нет?

Командир развел руками и улыбнулся.

— Вы одна? Письма — это хорошо, что вы привезли. — Он передал пакет кому-то из окружающих. — Раздай там. А то не успеют дотемна прочитать. И посмотрю, нет ли мне... А вы очень устали! — обратился он снова к Ксане. — Ведь надо возвращаться.

— Сейчас? — удивилась девушка. — А лошади нужно было бы отдохнуть. — И так как он промолчал, она добавила: — Да вы не думайте, что я в темноте побоюсь ехать.

— Нет, я не потому...

Они стояли друг против друга, немного смущенные: он потому, что не может оказать ей обычного фронтowego гостеприимства и гонит ее, усталую, обратно; она потому, что явилась несвоевременной гостьей, пожалуй, даже помехой, что надо снова ехать по этому большому, бесконечному полю, а уже смеркается...

— Понимаете, у нас тут не очень-то тихо... В общем, ожидаются кое-какие события... — Юноша говорил это чуть небрежно, как говорят старшие братья своим маленьким сестрам-несмышленышам, он даже бисил для солидности и поигрывал кожаным портсигаром, подкидывая его на руке. — Пойдемте, я немного провожу вас. — Он потрепал лошадь, взял повод и пошел вперед.

Ксана молча шагала за ним, глядя сбоку на его усталое лицо.

— Я охотно дал бы вам провожатого, — сказал юноша, оборачиваясь к ней, — но нам сейчас каждый человек нужен... Нас мало... Очень мало...

— Подождите, — перебила его Ксана, — я поеду, может, кому сказать надо, чтобы прислали людей?

Он забко подернул плечами. И здесь, уже вдали от солдат, он заговорил просто, не рисуясь, словно сам с собой, а не с чужой девушкой, артисткой, которую видел до сих пор лишь издали.

— Это знают. Да что ж подделывать? Нет, значит. И с оружием плохо. У нас есть трехдюймовка, а снарядов нет, да один пулемет. В сущности, мы... безоружны против них; общались прислать небольшое подкрепление, да вот нет...

— Подождите, — остановила его Ксана, тронутая откровенностью и доверием. — Я сейчас поеду. Не надо меня провожать. Идите к своим. Вдруг что-нибудь там случится.

— Сейчас нет. Светло еще. — Он огляделся вокруг.

В тусклых сумерках стояло безмолвие, тайное, враждебное.

Губы и брови юноши были изломаны печалью, он постоял, ежась от холода: шинель его осталась на орудии. Ксана вскочила на лошадь и чуть нагнулась к нему.

— Мне почему-то вы кажется совсем знакомым, то есть как будто из нашей гимназии, вы так напоминаете мне наших мальчишек...

Он резко вскинул голову и мурно посмотрел на Ксану.

— Нет, вы не обижайтесь, — торопливо проговорила она. — Наши мальчишки были такие верные, настоящие... Самые дорогие...

Юноша придвинулся ближе и вдруг на секунду прижался лбом к ее колену. Ксана провела рукой по его голове. Он быстро и неловко взял ее руку и поцеловал.

— Я прощаюсь через вас со всеми, кого оставляю.

— Не надо так, — испугалась Ксана. — Что вы говорите! Будьте мужественны!

— Я никогда не был трусом! — резко и гордо отстранился он. — Я не такой уж юнец, два раза был ранен. Мы делаем свое дело так, как подобает. Вени его на миг опустили, словно он хотел взглянуть сам в себя, потом — глазами, полными тоски, посмотрел на Ксану, на небо, по сторонам и сказал спокойно:

— Мы здесь форпост. Мы выстоим, пока другие части перегруппируются. Я сам вызвался задержаться. Вот... Если когда-нибудь что-нибудь услышите об этом бое, знайте, я сделал все, что мог. И солдаты нашего полка тоже. Мы не представляете, какие это герои!

Он повернулся и быстро зашагал обратно.

— Подождите, — негромко позвала Ксана. — Я даже не знаю, как вас зовут.

— Командир полка Моисеев, — бросил он на ходу, чуть обернувшись к ней.

— А имя? Имя? — прошептала Ксана, но он быстро уходил, не оглядываясь. Она подумала было догнать его верхом, покрутилась с лошадей на месте; в сумерках его тонкая фигура таяла, казалась уже далекой.

Ксана решительно повернула лошадь домой, к своему селу, и погнала ее рысью.

Смутно и печально было у нее на душе. Словно проводила на смерть дорогого человека.

Сумерки ступились. Ксана вглядывалась в дорогу, ехала, больше полагаясь на лошадь, чем на себя. Черная земля распласталась под копытами, редко мелькал кустарник. Вот наконец деревня, где она искала полк. Сейчас здесь было тихо и темно. Ни одного огонька не светилось вокруг. Ни скрипа возов, ни говора людского — все словно вымерло. Только возле одной хаты у изгороди стояли две девушки, тихо о чем-то говорили, сморкались, наверное, плакали. Увидев верхового, они бросились во двор. Из-под накиннутых кафтанов мелькнули вышитые рукава рубах. «Чего они так испугались?» — подумала Ксана. — Мало ли здесь верхом проезжают! О, да ведь, наверное, отсюда все солдаты ушли, — вдруг догадалась она, — потому так тихо!..

Озноб побежал по спине. Она быстрый погнала лошадь. То, что часть так поспешно покинула деревню, подтверждало ей слова Моисеева. И хотя она мало разбиралась в военных делах, она поняла, что пока там его полк будет задерживать неприятеля, здесь должна происходить переброска, перегруппировка войск. И она уже началась.

Ксана ехала и думала об этом незнакомом юноше, имени которого не знала, вспоминала его слова, его скупые жесты, хмурый взгляд, бледное юное лицо...

«Господи, пусть бы он остался жить, пусть бы ничего не случилось!» Ей хотелось кого-то просить — неужели Бога, неужели бога? — думала она с тяжким огорчением, — или судьбу, что ли, просить, умолять, чтобы его оставили в живых, только на этот раз оставили, а дальше уж, наверно, не будет тако-



го опасного положения. Пусть только пройдет этот раз!»

Совсем стемнело. Луны не было. Ксана с трудом различала в темноте признаки, по которым определяла дорогу. «Вот этот овраг оставался вправо. А этих холмиков вроде не было. Но не заблудилась же я!»

Скоро местность стала более знакомой, очевидно было, что деревня близко, и Ксана пустила лошадей шагом. Действительно, издали различались хаты, клуны, редкие огоньки. Даже показалось, что пахнет дымком.

Ксана остановила лошадей, поглядела назад. Здесь словно был рубеж, дом, защита. Позади осталась опасность для дорогих людей и гордость за них. И боль.

Лошадь усталым шагом пошла к селу.

На душе у Ксаны было горько и торжественно. Она не могла бы объяснить, чем полна ее душа. Ведь не только жалостью, нет, и не просто симпатией к человеку, готовому биться и умереть за свои идеалы, и даже не состраданием. Кто скажет, отчего человек плачет и страдает, слушая самую дорожную для него музыку? Отчего человек волнуется и долго не может успокоиться, глядя на прекрасную картину? Есть люди, которые не плачут и не волнуются. Музыка касается их слуха, но они ее не слышат, взор их скользит по картине и спешит далее.

Но Ксана ехала и плакала, не вытирая слез, горько и мучительно, словно души ее коснулась музыка.

Кто-то шел ей навстречу быстрым шагом, она хотела посторониться, но человек упрямо шел к ней, почти под копыта лошади.

— Что такое? — спросила Ксана, плохо различая человека и не соображая, что происходит.

— Ксана! Наконец! Я думал, что-нибудь случилось. Решил идти навстречу.

Секунду она не могла понять, кто это. Ей даже показалось, что она вернулась в сосняк и ее встречает Моисеев.

Алеша встречал ее. Так не нужны ей были сейчас люди, так не хотелось ничего объяснять! То, что осталось позади, было чем-то очень значительным и далеким от обычных дел этой жизни. И те люди в сосняке и бледный юноша, их командир, были героями, о которых говорить надо было тихо или думать молча. Но здесь, на фронте, люди понимали все просто, естественно: бой, мало оружия, мало патронов, смерть; или: кто-то должен остаться, заслонить, отдать жизнь; все это было обыкновенно. Ксана не умела понять это обыкновенное, и в душе

ее все еще звучала мелодия, в которой жила высокая, непостижимая красота человеческой души, и мучительная боль за нее, и смирение перед великой необходимостью...

— Ничего не случилось, — ответила она, возмущаясь в обычный мир, вздохнула, вытерла рукой лицо и спрыгнула с лошади. Земля началась под ней, в ногах бегали мурашки.

— Вы... взволнованы чем-то? Я вижу, — сказал Алексей.

— Там такие герои! — проговорила Ксана и, испугавшись своего дрожащего голоса, замолкла. Потом добавила твердо: — Берите лошадей, Алеша, езжайте домой. Я дойду.

— Вот что, — ответил Крушенко. — На фронте дела неважные. Говорят, против нас польская армия выступила. Не дают нам передышки... Поспешите домой... Наши отступают.

— Я знаю, — вдруг осмысливая все события вечера, проговорила Ксана. Она машинально аяла протянутую ей папиросу, но не закурила, а тут же бросила.

Они прибавили шаг и шли молча, думая каждый о своем. Только лошадей всхрапывала и тяжело вздыхала.

ГЛАВА XI

В ТАЙНОМ ЯЩИЧКЕ МОЗГА

День был прохладный, хотя солнце то и дело ненадолго пробивалось из-за толщи туч и снова пряталось. Ветер шевелил ветви кустов и деревьев, курившихся зеленой дымкой. Чуть поморосило. Водяная пыльца покрыла шинели и лица красноармейцев.

Они стояли нестройной толпой, потягивали «козьи ножки», по привычке прचा их в рукава, переговаривались. Командиры кучками топтались возле них, поглядывая в ту сторону, где находилась небольшая группа дивизионного начальства — штабные, политотдельцы. Ждали начальника дивизии. Должен был состояться митинг. Митинг этот, видимо, был особенно значительным в связи с переменой на фронте.

Высокий немолодой солдат в короткой, до колен, шинели неумело пытался проиграть что-то на случайно оказавшейся трубе; у него ничего не вышло, а он, надувая худые желтые щеки, трубил все одно и то же.

Артисты теснились у домов на узком тротуаре. Они не знали, могут ли здесь присутствовать — их никто не пригласил, видимо, в спешке забыли, — но всем хотелось посмотреть, что здесь будет, хотелось увидеть и послушать нацива, он, наверно, расскажет о делах на передовой.

А дела были тревожны. Панская Польша давила свои полки на Украину и пошла занимать города и села, держа курс на Киев.

Энергичным шагом прошел через площадь и присоединился к штабным молодой комиссар дивизии в бурке и кавказской папаче. Многие проводили взглядом его стройную фигуру. Усатый солдат зашептал молодому:

— Парень боевитый, не гляди, что молодой. Сам в бой лезет. Храбрый! И трусов терпеть не может, будь то хоть и командир полка. А уж тем, что в крестьянскую скрюнку заглядывают, не ждате пощады. Расстреляет! Парень с башкой, разуму не занимать.

Артисты не раз встречали его, когда он, обгоняя обоз трупы, проезжал мимо верхом один или с нацивом. Следом за ними мчались несколько военных.

Ксана еще тогда обратила внимание на юношу в картинно развивающейся бурке, с гордо поднятой головой, словно он глядел далеко вперед и не видел того, что находилось вблизи.

Сейчас она рассмотрела его. В резко очерченном, южного типа лице, в огненных глазах чувствовалась воля и властность. «Умный, видно», подумала Ксана, еще по школьной привычке определяя достоинства человека по внешнему виду, — только зачем-то рисуется».

Появились еще командиры. Прошли по площади в разные стороны вестовые. Красноармейцы приносили знамя. Гомон затихал.

Перекивая друг друга, командиры стали выравнивать свои части. Из переулков еще подходили опоздавшие, но уже вся площадь настроилась сурово и торжественно.

Начинался день, полный особой, напряженной значительности, как это могло быть лишь на фронте, где решалась судьба революции, где как раз в это время армия отступала. И хотя артисты стояли отдельно, не втянутые в то общее движение, что здесь происходило, Ксана ясно ощутила свою прямую причастность к этому дню, ко всей фронтовой жизни, к этому митингу, который был выражением чего-то большего, важного, как бы клятвой. Ее лицо и уши горели, она откинула на затылок свою старую ушанку из позеленевшей мерлушки и стала прислушиваться. И хотя еще только строились войска и митинг еще не начался, ей казалось, что вот сейчас от каждого и от нее, Ксаны, потребуют куда-то идти, что-то делать нужное, трудное, может быть, смертельно опасное. И она готова была идти и немедленно исполнять то, что ей скажут, чем бы это ни грозило. «Самое дорогое — это Россия и революция...» — вспомнила она, сама удаляясь набежавшему воспоминанию, и с силой тряхнула головой, чтобы не терять своей глубокой сосредоточенности...

Какое-то замешательство происходило в группе, где находилось командование. Громкий и сердитый голос что-то выговаривал растерянному красноар-

мейцу, беспомощно оглядывавшемуся по сторонам, будто он ожидал кого-нибудь, кто его выручит. А командирский голос все повышался, и неожиданно, покрывая общий шум, громко, на всю площадь прозвучала грубая солдатская брань.

Ксана вспыхнула, словно ее обожгло. Кто ж это!.. В такую минуту!

Она взглянула и ослесла. Комиссар? Тот красивый юный комиссар дивизии? Не помня себя, она бросилась через площадь к островку, где собралось командование. Все взгляды обратились к ней.

— Это вы? — крикнула она, с гневом глядя в лицо под черной кавказской папачой и не замечая никого больше вокруг. — Это вы?.. Как вам не стыдно! — Она захлебнулась и не сразу смогла продолжить. — Красноармейцам мы объясняем, и они слушают нас... и стыдятся... и стараются сдерживаться, хотя они необразованные и неграмотные... Это же Красная Армия, а не белогвардейцы... И мне сейчас стыдно за вас, комиссар дивизии... — Голос ее прервался, она повернулась и побежала прочь, в своих больших сапогах и длинной шинели, маленькая, раскрасневшаяся, сердитая.

Она не видела, как серьезно слушала ее вся площадь, как побледнело лицо под черной папачой.

Когда она добежала до калитки дома, где ночевала, что-то громко подал команду, и сильные мужские голоса в бодром темле закрили:

«Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...»

Ксана остановилась и тоже зашела, громко, яростно, словно подчеркивая какую-то свою большую правоту. Мальчишки из «Зойкиной коммуны» сейчас же придвинулись к ней, стали рядом, будто готовы были защитить ее, и пели своими неокрепшими, но мужественными голосами. Надя пожимала ей издалека, широко улыбаясь.

Очевидно, пришел нацив. Все кругом зашевелилось и разом стихло. Ксана, зажатая собравшимися на тротуаре, не видела его. До нее донеслось лишь начало митинга. Слова нацива гулко разносились и таили в воздухе. Ксана прислушивалась, ничего не могла разобрать. Может быть, их заглушал стук ее сердца. Чтобы успокоиться, она ушла в дом.

В комнате, где она и Надя ночевали, стояла молдая, хорошо одетая девушка и глядела через окно не на площадь.

— Извините, — сказала она, увидев Ксану. — Я на минуту зашла.

— Отчего же вы извиняетесь? — удивилась Ксана. — Это же, наверно, ваша комната?

— Какая же она наша, если ее реквизируют для вас? — с обиженой ноткой в голосе ответила девушка и пошла к двери.

— Да ведь мы здесь только на время. Не сегодня-завтра уедем, — торжолово объяснила Ксана. — Надо ж нам где-то... — Но, заметив презрительный взгляд девушки, Ксана умолкла. «Почему, собственно, я объясняю ей, словно в чем-то виновата? — подумала она. — И почему она так презрительно смотрит?»

Действительно, девушка оглядела Ксану с головы до ног и насмешливо сощурила глаза. Несколько секунд они стояли молча друг против друга: шестнадцатилетняя девочка в сапогах и шинели и девушка лет восемнадцати в синем платье и голубой шелковой безрукавке на белом меху.

— Вы тоже воюете? — спросила нарядная девушка. — Вместе с солдатами?

— Воюю! Вместе с красноармейцами. За Советскую власть! А вы?

— А я нет! — вызывающе ответила девушка. — Воевать — дело мужчин. Я собиралась поступать в университет, да война помешала.

Университет... Какой же университет, если кругом еще столько врагов! За Крым цепляются врагелесцы, по Украине гуляют банды. Да наступают белополяки. А кто же не хотел бы учиться в университете? Ей, этой свеженькой, нарядной, небось, все равно, кто победит.

— Удивляюсь вам, — продолжала девушка. Она уже пошла было к двери, но задержалась и бросала теперь слова через плечо. — Удивляюсь вам. Как вы попали в эту Красную Армию? Как вы можете жить и находиться в этой среде, в грязи? Я слышала, как вы отчитывали того красавца. Вы же, кажется, интеллигентная?

— А вы почему не уехали отсюда с вашими петлюровцами, или с гетманом, или с какими-нибудь беляками? Их-то вы, наверное, не презирали? Они-то ведь такие блестящие, чистые? Зачем вы остались здесь?

— А что? — Насмешливое лицо девушки стало серьезным. — Не мое дело заниматься политикой. Я хочу получить образование. Мне не нужны никакие гетманы. Тем более ваша Червоная Армия, где все неграмотные, темные. Вы-то от какого горя пошли в солдаты?

Ксана молча, с какой-то тяжелой душой смотрела на девушку. И такая тревога и печаль были в ее глазах, что нарядная девушка словно застыла, она не могла уйти и чего-то ждала.

— Кто же вы такая? — наконец спросила Ксана. — Мы воюем с контрреволюционной армией, а такие, как вы, спокойно живут в нашем тылу и ненавидят нас. И, наверное, вас много? Служите, небось, где-нибудь в нашем ревкоме или комиссариате? А сами смеетесь над нами? И хотите учиться в нашем же университете. Как нам жить с вами вместе?

Нарядная девушка повернулась к Ксане и с ужасом смотрела на нее широко раскрытыми глазами.

— Я ничего такого не сказала и не сделала, — прошептала она.

— Чего вы боитесь? — болезненно морщась, сказала Ксана. — Вам нечего бояться. Это скорей я вас боюсь. Потому что вы чужая. Вы ненавидите нас. Она посмотрела на девушку с укором. — Если б вы знали, как много погибает людей, таких хороших, честных, хотя они часто и неграмотные! Они умирают за будущую жизнь, справедливую, добрую. И вы тоже будете пользоваться всем, что они завоевали... Вот и учиться в университете... А что вы-то сами сделали хорошего? Что? Только смеялись над нами! — Эти слова Ксана выкрикнула с силой и замолкла, боясь своего растущего гнева. Она бросила на кро-



вать шапку, которую держала в руках, и отошла к окну.

На улице громко, мужественно зазвучал «Интернационал».

— Вы меня плохо поняли, — услышала Ксана. — Мне просто стало жаль вас. Такая молоденькая. Вокруг грубость. Не думайте, что я безразличная к беде, я как раз жалостливая. Я и вас пожалела: вам приходится слышать и видеть бог знает что...

— Никто не нуждается в вашей жалости! Они грубые, — кивнула Ксана в окно, — но они честные, справедливые, и я их уважаю. А вас нет, не уважаю! — Она махнула рукой, давая понять, что говорит больше не о чем.

«Это надо продумать», — сказала она себе, — спокойно, одной продумать. Не забыть! Такая привычка была у нее с детства. Откладывать какую-то сложную мысль в тайный ящик мозга, чтобы потом, в тихую ночную минуту, разобрать ее до конца.

Девушка уже ушла. Ксана достала тетрадку со стихами и записала:

«Как быть с теми, кто хочет жить только для себя? И тут же подумала: «Нет, что-то не так. Только для себя? Значит, это безразличные к делам всех людей. Безразличные? Нет! Не может быть. Это не безразличные. Это чужие. Им наша революция не нужна...»

Кто-то постучал. Ксана оглянулась, подумала, что вернулась та девушка, подошла и распахнула дверь. Перед ней стоял комиссар.

— Можно войти? — спросил он.

— Конечно! — Ксана отошла от двери, юноша шагнул через порог.

— Я пришел извиниться, — сказал он хмуро и грубовато и помолчал. Ксана тоже молчала. — Я пришел извиниться, — повторил он. — Я не заметил, что там женщины. А мы на фронте привыкли так... Вы правы, конечно, и мне невольно перед вами. Но фронт — это не гостиния. Мы говорим по-солдатски.

— Не передо мной надо извиняться, — решительно ответила Ксана, — а перед всеми, кто вас слышал. Перед солдатами.

Комиссар постоял молча. Он был смущен и обижен.

— Вы не должны были делать мне замечание на площади, хотя и были правы.

— Если вы пришли, чтобы мне заявить, где и когда я могу делать замечания...

— Нет! — резко прервал ее комиссар. — Я пришел извиниться... Когда кончится война, — сказал он тише и спокойнее, — когда совсем кончится война и начнется мирная жизнь, все будет перестраиваться по-новому, по-большевистскому, и с этим грубым, грязным, что идет от старого, надо будет действительно покончить.

— Это уже сейчас надо делать, — прервала его Ксана. — А если оставлять одно, другое, то так все и привыкнут к этому грязному. Так и останется все

и будет расти и расти...— Она отвечала ему, а еще больше была, мысленно продолжая спор с девушкой.— Человек не должен принижать себя,— как-то горестно, почти страдая, говорила она,— не должен ни в чем идти назад, наоборот, изо дня в день он должен хоть в чем-то возвыситься, вырастать. Я думаю, что так должно быть у нас. У красных... Неужели я ошиблась?

— Нет, не ошиблись!— горячо ответил юноша.— Мне дорого слышать такие слова. Вы даже не знаете, как дорого. Вы правы. Мы часто позволяем себе что-то, делаем себе уступки, думая, что потом наверстаем. А ведь действительно неизвестно, наверстаем ли. Об этом мы еще должны с вами поговорить, хорошо? Не сердитесь больше на меня.

Ксана увидела умные, серьезные, но совсем мальчишеские глаза и несоразмерно тонкую шею между буркой и лицом и улыбнулась.

— Давайте познакомимся,— сказал юноша, чуть краснея и протягивая руку.— Шура Берман. Я очень сожалею, что все так вышло... Я видел вас в «Лесе». Вы ведь Аксиусу играли? Я не думал, что вы такая... молодая... Сколько вам лет?

— Шестнадцать. Пожалуй, не считайте меня ребенком. Я много уже много пережила. Я просто не могу думать иначе. Ведь мы сейчас воюем за самую хорошую жизнь, без всяких мерзостей, где все будет честно, справедливо... А если гадков будет оставаться, если мы не сумеем с ним справиться... Так за что же люди погибают?

Шура задумчиво покивал головой.

— Я хочу обязательно с вами об этом еще поговорить. Без спешки. Вы в партии?

— Нет.

— А надо!

— Не знаю,— медленно ответила Ксана и опять подумала о тайном ящичке мозга.— Я об этом не думала еще. Я не хотела бы отделиться от всех людей. Один, значит, худшие, а другие лучшие... Это разве хорошо? И вы думаете, что я тоже могу относиться к лучшим?... Мне это как-то непонятно. Это надо обдумать...

— Обдумайте,— сказал он строго.— Надо!.. Ну, а руку вы мне все-таки пожмете?

Ксана только сейчас заметила, что он стоит с протянутой рукой, и молча, с серьезным лицом подала ему свою.

— Я еще приду к вам. Ведь нам есть о чем поговорить,— сказал комиссар и, когда Ксана кивнула головой, вышел.

Она поглядывала ему вслед в окно. Он распрямился, шел твердо и уверенно, хотя и был еще совсем совсем молодой, и почему-то Ксане опять казалось, что он смотрит далеко вперед и не замечает того, что находится вблизи.

ГЛАВА XII

ДОРОГА НАЗАД

На горизонте показался конный разъезд. Некоторое время всадники топтались на месте, стояли, наблюдали издали за обходом трупы. Потом быстро рассыпались полукольцом и стали приближаться, как будто собирались с ходу окружить маленький обоз.

Адоньев приказал остановить подводы и разогнать винтовки.

Ровное поле лежало кругом—ни кустика, ни хаты.

Возницы-крестьяне, охая и ругаясь, суетливо выпрыгали лошадей. Может быть, надеялись ускать.

Толя Дмитриев пристроился за подводой с большим сундуком и оттуда стал прицеливаться.

— Команды не было!— закричал ему Адоньев.— Слушай меня!..— И добавил:— Может, сои!

Артисты с винтовками в руках сбились в кучку, вглядываясь...

— Чего ждем? Чего ждем?— вспыхнул Тарасов.— Скачут...

— Не поляки же сюда добрались,— нервно проговорил Крамской, беспокояно оглядываясь.

— Это не поляки,— с дальнего конца обоим крикнула Маруся.— Скорцов, где наш бинокль?

Скорцов, всегда умеющий держать себя в руках, пошел к ней, что-то на ходу объяснял.

— Да махновцы, небось,— пробормотал Толя Дмитриев, недовольный, что ему не удалось издали снять метким выстрелом хоть одного подозрительного всадника.

Меж тем конники приближались.

Они ехали неторопливо, сближаясь более тесным полукругом.

Вдруг, словно по команде, несколько человек вырвались вперед и поскекали, прижимаясь всем телом к конскому загривку.

Свист пронесся по полю. В руках всадников зашестелись сабли.

— Братцы... порубают,— жалобно простонал актер Непомнящий и на короточках пополз под телегу.

Действительно, казалось, еще несколько минут—и произойдет что-то ужасное.

Неповоко перепрыгивая через сбившиеся телеги, не выпуская из рук винтовки, бросился навстречу мчащимся конникам Адоньев.

— Стойте! Сои!

Но его опередила Надя. Быстрая и ловкая, она побегала вперед, широко раскинув руки, как будто собираясь плыть.

Только солдатские сапоги выдавали в ней фронтину. В этот теплый день она была в своей широкой синей шелковой юбочке и кофточке с украинской вышивкой.

— Сои же!— закричала она своим серебристым голосом.— Черти паршивые! Сволочи! Сои же!

Какая-то заминка произошла среди мчащихся конников.

На скаку они стали вдруг поворачивать коней, сдерживать их.

Было слышно, как ржут, вздымаясь на дыбы, кони, как бранятся отборной бранью, свистят и кричат верховые, отъезжая прочь.

Кто-то из них, удаляясь, сунул саблю в ножны, сорвал с плеча винтовку и, держа ее высоко одной рукой, выстрелил вверх, то ли не зная, куда деть свою силушку, то ли от злости, что произошел такой конфуз.

Сразу все зашумели, заговорили.

Опасность, сковавшая всех несколько времени назад, уже отошла.

Кавалеристы удалялись, исчезали за горизонтом, даже не подыжая поближе к трупам, не переговаривая с людьми.

— Кто это был?— еще не совсем придя в себя, спросила Ксана.— Буденновцы? Или из нашей дивизии?

Надя улыбнулась белыми губами, тряхнула головой.



— А кто их знает! — И вытерла руками испарины с висков.

— Запрягайте! Быстро! — скомандовал Адоньев и, не снимая винтовки с плеча, сам стал помогать водителям.

— Если б это были не наши, плохо б нам пришлось, — сказал он, обернувшись к Ксане. И, заметив стоявшего за ней Толю Дмитриева, укоризненно бросил: — А ты, брат, не торопись другой раз. Все по одному разу живем.

Обоз двинулся.

Актер Непомнящий шел вместе со всеми и все рассказывал и рассказывал, как он увидел развед, что он подумал, как испугался сначала, но потом понял, что свои...

— Да будет тебе брехать, надоело... — негромко бросил ему Толя Дмитриев. Это были единственные слова, напоминавшие актеру Непомнящему, как он лез под телегу. Больше об этом никогда не говорил.

Адоньев торопил обоз.

— Давай погоняй! — говорил он главному водителю, вскакивая на его подводу. — Сам видишь, какая петрушка, надо торопиться.

В ближайшей деревне стояли войска. Дымили походные кухни, у колодца бойцы поили лошадей, умывались, стирали портняжки. Часть войск уже покинула деревню. Уходили торпильно и тихо, не выстраиваясь колонной, а просто вольным потоком.

Маршрут тропы еще не был известен, жители признавали. Измученных лошадей пришлось отпустить.

Ксана и Надя попали в хату, из которой только что вышли красноармейцы.

Пожилый крестьянин с худым, усталым лицом сидел на лавке, согнувшись и опустив меж колен желтые жилистые руки с большими заскорузлыми кистями. Он мрачно, измученными глазами смотрел на входящих; видно, до смерти устал от каждодневных постояльцев, чего-то требующих, чувствующих себя в его хате дома в большей степени, нежели сам хозяин. Жена его на загнетке развела маленький костер из щепок: варила картошку. Они хмуро отвечали на вопросы, сами ничего не спрашивали.

Надя раздобыла в походной кухне каши с конопляным маслом, хлеба, она и Ксана сели за стол, пригласили хозяев, те несвесело отказались:

— У нас самих мало. Картошка зараз сварится, будем есть. Молочка бы на стол поставить, да ведь беда какая — корову у нас взяли да зарезали.

— Кто зарезал? — поинтересовалась Ксана.

— Милые, да разве узнаете? Один приходит, другие. Да разве мы знаем кто, вот как и вы — Червона Армия, чи денкинские, чи батько какой. Много тут разных. И спросить не с кого. Зарезали та счили. Чи им солони наши слезы?

Крестьянин встал, с трудом разогнул спину, вышел из хаты.

— Что делать! — с сочувствием сказала Надя. — Скорей бы война кончалась. Да вот ведь еще шляхта польская на нас пошла.

В хату вошли Тарасов и Коля Поторгуев — тихий и молчаливый третий член «Зайкиной коммуны».

— Сейчас надо отправляться, — сообщил Коля. — Только лошадей нет.

— Здесь лошадей все попрытали, — сердито сказал Тарасов, — не дают, хоть ты что! У тебя, тетка, есть лошади! — спросил он хозяйку.

— Откуда? — ответила та с жалкой улыбкой, скорей похожей на гримасу боли.

— Вот так все. Откуда? Откуда? — передразнил он ее. — А нам ехать надо. Нам на пятки всякая белая сволочь наступает. — Он вышел, с силой хлопнув дверью.

Коля улыбнулся: дескать, что с ним поделаешь, прав, конечно, да кипит чересчур, — и тоже вышел. Громкие, раздраженные голоса, крики тотчас же раздались во дворе.

Ксана и Надя выбежали на крыльцо.

У сарая стоял Тарасов и пытался сорвать замок.

— А говорил кнет лошади! — кричал он на хозяйку, который всем телом загоразивал сарай. — Говорил кнет лошади, а в сарае что?

— Товариш, товариш, — хватая за руки Тарасова, бормотал крестьянин, — да ее только вернули, триста верст гоняли, она ж мокрая, она дрожит вся. Пожалей, товариш. У меня ж одна толкьо.

В руках Тарасова появился топор — это Коля Поторгуев нашел его во дворе, сунул Тарасову, — и тот стал им сбивать замок.

Крестьянин зарывал и, упав на колени, хватал руки Тарасова.

— Убей меня, расстреляй меня, товариш, не дам кобылки... Как жить будем без нее?

Надя толкнула Ксану с крыльца и, сильно держа ее за руку, побежала со двора.

— Идем, идем отсюда, — говорила она, — нам с тобой нельзя вешиваться, это поручено Тарасову, он должен достать лошадей.

— Я не могу так, — возмутился и чуть не плача, сказала Ксана, — я так не могу. Пусты меня. Куда мы бежим?

Они остановились у стены длинного сарая. Глядя по голове Ксану, как маленькую, Надя убеждала ее, что иначе нельзя, крестьяне не дают лошадей, и труппа рискует остаться, попасть в плен.

— Но это несправедливо, — твердила Ксана, — загнанную лошадь надо оставить... И я не могу. Старик плакал, стоял на коленях...

Надя обняла Ксану и повела ее по улице, в одну сторону, в другую, и все говорила и убеждала:

— Понимаешь, в жизни много несправедливого, и как без него обойтись, не знаю. А ты хочешь, чтоб все сразу изменилось. И люди. И тот же Тарасов. Он честный, но... он не верит этому крестьянину. И знаешь, он более опытный, чем мы с тобой...

Они медленно подошли к дому, когда увидели Адоньева и Тарасова.

— Торопитесь! — сказал Адоньев. — Сейчас выезжаем.

— А я ваши вещички сложил на подводу, — улыбаясь, бросил на ходу Тарасов и, делая вид, что не понимает, из-за чего расстроена Ксана, шутиливо пропел, широко раскрывая свой большой рот с крепкими белыми зубами:



Что вы головы повесили, соколки мои...

— А где подводы? — спросила Надя.

— Возле Скворцовых. Второй дом от колодца, — уже серьезно ответил Тарасов. — Вы там посмотрите, все ли я сложил, не забыл ли чего. — Он махнул рукой и зашагал дальше.

Надя забежала во двор и тут же вернулась.

— Иди скорей, посмотри, сарай на замке. По моему, там лошадь стоит.

— Да? — удивилась Ксана и, глядя блестящими глазами на Надю, молча крепко пожала ей обе руки.

ГЛАВА XIII

НОЧНОЙ ШЁПОТ

- Ты не спишь, Ксана?

— Нет. Очень душно.

— Хорошо бы выйти на воздух, да не проберешься. Битком набито. Нogu негде поставить.

Ксана и Надя остановились в этой маленькой хатке вечером, когда других постояльцев здесь еще не

было. Они улеглись спать на чисто выбеленной печи, в этот день нетопленной: на дворе уже чувствовалась весенняя пора.

Было темно, когда в горницу завалились красноармейцы. Они на ходу сбрасывали вещевые мешки, садились на пол, ставили меж колен винтовки и тут же засыпали. Некоторые еще возлились, снимали сапоги и клели их под головы, примачиваясь на полу. Спали аловалку, уткнувшись лицами, не разбирая, в спину или в колени соседа.

Сразу стало душно. Кто-то еще дымил махоркой. В спертom воздухе люди кашляли, храпели, ворочались, бормотали не то спросонok, не то не могли заснуть.

— Надя! Спишь? Тебе отсюда видно окошечко? Костер развели на улице.

— Дежурят, наверное... А ты не крутись, спи.

— Не могу заснуть.

Сипловатый тенор в углу что-то тихонько монотонно рассказывает товарищу.

Неожиданно раздается неистовый, но ясный, членораздельный крик спящего человека.

— Бра-а-цы! Ка-ба-со-рро-ва-ва-ва-ва,— и дальше неясное бормотание.



В ответ кто-то тоненько, залихватисто смеется. А хриплый бас сердится:

— Вот дьявол!

— Надя, ты спишь?

— Ну?

— Слушай, я знаю, о чем думаю...

— Ну?

— Надо подавать в партию.

— Конечно. Тебе обязательно надо подавать.

— Знаешь, я раньше просто не думала об этом. А теперь понимаю: кто всей душой за красных, должен идти в партию. Я как вспомню Курск и этот ужас — отец в тюрьме, расстрелы, денюжкины с платками, и эта виселица — нет, нет! Этого больше не должно быть!

— Не всех берут в партию, Ксана, только лучших людей. А тебе сам комиссар дивизии сказал.

— Кто? Шура? Ну да, он сказал. И Адоньев не раз говорил... Но знаешь, Надюша, мне как-то неприятно, что вроде я себя считаю лучшей. И вообще-то я думаю, это так в идеале, что всех лучших берут. А вероятно, на самом деле всякие в партию вступают. И недобрые... И хитрые... А еще, может быть, и какие-нибудь честолюбивые. Или корыстные.

— Ну и что ж! Не святые же люди. Но зато входят в партию и берут на себя ответственность. И готовы жизнь отдать за победу. И на них все надеются, верят им.

— О себе я сама-то знаю твердо. В партии я или нет, я всегда буду поступать как нужно. Потому что я душой коммунистка. Понимаешь? Я, правда, несдержанная, могу сорваться что-нибудь, необдуманно... И еще, я знаю, я упряма. Мама всегда говорила... Но знаешь, Надя, самое важное, по-моему, сейчас другое. Положение тяжелое. Я уверена, что скоро мы опять будем наступать, но пока... Вот сейчас и должны идти в партию те, кто всей душой с красными...

...Темная ночь. Только отсвет костра желтеет в маленьком окошке. За стеной в сарае пропел петух. Решил, наверно, что уже утро. А тенор все рассказывает, все жалуется...

— Ну, браток, приезжаю я в село под вечер, в родимый дом не иду, ночи выкидаю, сижу в овраге. Замерз, думал, богу душу отдам. Задами прошел к дяде Степану, кузнец он, свойственник мне. Обогрелся. Самогону выпил. Похрабрел. «Ну», спрашиваю, — дядя Степан, скажи мне по совести, как оно тут было, как моя жена любимая с беляками спала, как она с колокольцами по селу разбегалась, как пласала под гармонь по славу и в честь белопогонников, что моего родного братца, Петра Семеновича, шомполами били!» Сам спрашиваю и сам плачу. И сам это глужее письмо в кармане тербелю, чтоб сердце мое не оставало... И скажи, браток, как человек устроен. Вот уж все я знаю, а маленькое еще теплится во мне ну самая кроха надежды — может, по злобе братец мой, Петр Семенович, описал...

Не видно во тьме, только слышно, поднялся кто-то с пола, шубешурит, дышит тяжело, лезет через спящих. Дверь в сени открыл, и сразу чистым воздухом повело. Загрело ведро, плеснула вода — и вот уже кто-то пьет, пьет, громко глотает студеной свежую воду. Шумно, задевая спящих, лезет назад, на свое место. Люди сердятся, кричат, стонут. Опять тишина. Только монотонно рассказывает силловатый тенор свою историю безмолвному собеседнику.

Да шепчутся на печи два женских голоса.

— Я не знаю, где сейчас Николай. Но мне кажется, что он тоже уже в партии. Ты не представляешь, Надя, он такой честный и очень умный... Я таких больше не встречала, хоть все наши мальчишки были тоже очень хорошие, благородные.

— Ксана, он... твой жених?

— Жених? Нет! Какое слово глупое. Почему жених? Я не думала об этом. Он мне когда-то написал, что любит меня. Нет, это гораздо больше, что он написал. Он как-то всю свою жизнь раскрыл и свое будущее, и все это он просто мне отдал. Я не знаю, понятно это тебе, Надя? Я так смеялась тогда, ну просто до истерики. Это, знаешь, первый раз мне сказали, что любит меня. И еще от неожиданности. Потом мы с ним говорили. Сначала я не хотела говорить. Но он так меня искал и ждал! Я его душой как-то поняла. И он уже считал, что навсегда будет около меня. И я тоже так считала. Он любит меня. Ну, не просто как-то; не то, что я ему нравлюсь, а больше, гораздо больше. Я это знаю, но не могу объяснить. Я только могу сказать тебе, он для меня много значит... Так много! Я теперь не представляю себя отдельно от него... Ты не спишь, Надя? Мне так хорошо, что он есть. И не то, что я о нем думаю. А просто он всегда со мною, около меня.

— Ты очень счастливая, Ксана... Мне даже завидно стало.

— Я? Ну что ты! Чем я счастливая?.. А знаешь, у меня был еще один человек. Борис. Не знаю, что это. Я когда вспомню о нем, ну... Он меня как-то пугал, я боялась его. Он мне очень нравился. Как-то жутко нравился. Просто не могу объяснить. Нет, не любила я его нисколько, а вот думала о нем; встречу — и почему-то сердце замерет.

— Да? А может, это и есть любовь? Или это страсть, Ксана?.. Нет, ты люби Николая...

— Конечно. Этот Борис, он уже для меня кончен. Он к белым ушел. Я даже думать не желаю о нем... А Николай мне самый дорогой. Вспомню его, и так на душе у меня тепло! Где он? Что с ним? Вот он жизни не пожалеет, это да! Это человек!.. На него всегда можно надеяться. И верить ему можно. Если бы в партию шли вот такие люди...

Уже заголубело окошко. Погас, наверно, костер, не видать отсветов огня. Спят усталые люди. И не спят усталые люди. Надо кому-то поверить свои думы, свои печали.

— И что же, думаю, делать мне, браток ты мой! Руки ломаю и не найду выхода. И е-то, жену мою милую, ненавижу люто и жалею ее, потому что нет ее вины в том, что с ней сделала, окаянная. Я любить ее больше не могу. Как представлю себе, что она, беззащитная, вытерпела, когда над ней эта банда измывалась, да как жизни чуть не лишилась, аж дрожу всерьез. И о брате своем, Петре Семеновиче, не могу вспомнить без слезы, встретить его боюсь, потому что убью, как сунутого сына. За что он ее передо мною в прах растоптал? Вся деревня знает горе ее и стыд ее, моя невинной голубочки. И я все это знаю, а себя не переломлю. Пошел я к ней. Не знаю, зачем пошел. Ничего ведь не вернешь, мне только голову сложить за святое дело, больше мне ничего не надо...

— Надюша, а я думала, мы вместе...

— Ты меня не суди, Ксана, я старше тебя, вся жизнь моя совсем другая. Я легкость люблю, веселье, я просто хочу жить, не задумываясь над всякими вопросами. Ты же знаешь, я люблю петь, пля-



сать, я люблю шумную компанию, я люблю, чтоб вокруг меня были мужичины... Но ты не думай, Ксана, что мне все равно, какая власть, нет! Я целиком с красными. Я и на фронт поэтому пошла. Муж мой, ты знаешь, он чекист, хороший, любит меня, занят очень, работает много. Он пишет мне: «Приезжай, мне трудно и скучно без тебя». И я, наверно, уеду скоро, мне без него тоже скучно, и отдохнуть хочется, просто пожить без забот. Я тебя очень люблю, Ксана, наверно, дочку я так бы любила, если б она у меня была. Ты как-то чисто и честно думаешь. Живешь так строго, хорошо. Я радуюсь, глядя на тебя, но сама я другая, не осуждай меня. Ну какой я член партии? Вот сделать что-нибудь трудное не побоюсь, это я могу, на передовые поехать, провести какую-нибудь работу, ты же знаешь, мы всегда с тобой беремся за все. Но зачем мне в партию? Да я долго ничего вынести не могу. Я вот скоро сбегу отсюда к мужу. Я легкомысленная. Ты-ш! Не смейся так громко. Ну, тише, Ксана, слышишь? Вот! А ты иди своей дорогой. Вступай в партию. Только об одном еще помни. Ты артистка. В тебе есть тот огонь, который нужен искусству. Это ты не оставляй никогда...

— «Встала она, смотрит на меня прямо и смело, гордая, вины за собой не знает. «Вот,— говорит,— Василий, пусть люди тебе скажут, что здесь было. Хочешь, оставайся со мной, я приму тебя, я жена твоя. Не хочешь — не мучь себя. Обиди на тебя не буду иметь, уходи». Ни слезы не пролила. «Высохла,— говорит,— мои слезы». И что же ты думаешь, браток! Она стоит, как каменная. А я плачу. И она-то, не я, а она от меня отворачивается. Гордая, не дай бог.

И ушел я. Вот, браток. Без вины виноваты мы с ней оба. Шел я оврагом, снег мне в лицо лепил, а я только молил, чтоб меня этим снегом замело наизов. Потому что нет мне житья без нее. И деваться мне некуда. Только смерти ищу. А вы дуром говорите: «Эх, Васька Сокол, да Васька Сокол, отчаюга, геройский парень, ему море по коленая». А мне горе по коленая, горе по грудь...

Громко хлопает входная дверь, с ветерком врывается запах коров, молока. Рассветает.

— Эй, давай, подымайся! — говорит пожилой солдат с круглой бородой и стучит прикладом ружья об пол.

Затих шепот на полу и на печи. Люди шевелются, потягиваются, поднимаются, разные люди, с разными думами, разными жизнями.

Сейчас они встанут и пойдут одной дорогой, все похожие друг на друга.

ГЛАВА XIV

КАК СЛЕЗА...

Ксана писала стихи. Несколько строк вышло сразу, а дальше никак не укладывались слова, которые надо было обязательно вставить в одну строку.

Она сидела на подоконнике и смотрела вниз в темный, небрунанный двор, где лежала куча угольной крошки — остатки топлива.

В этой узкой комнате на третьем этаже по Малой Васильковской, где ее поселили с Надей, было беспринято и тоскливо. Стихи не писались, когда бывало так тоскливо.

В комнате стояла железная кровать, непокрытый стол и один стул. Это все, что могли выделить хозяева квартиры двум артистам. Правда, из реквизита труппы они получили ковер, который вполне заменял матрац, а роскошное голубое одеяло Нади сразу делало комнату веселее.

Хозяева квартиры заперлись на замок. На стук нежданых гостей — девушек в шинелях — приоткрылась дверь. За портьерами виднелась столовая с височной лампой и звонком над столом, с кружевными салфетками на высокой спинке дивана, с тяжелым старинным буфетом. Из-за портьеры показалось испуганное лицо женщины, она что-то торопливо жевала, рука ее придерживала дверь.

— Нет, чаю аксиатить не на чем. Нет керосину. Нет, чайника свободного нет. Только один, нужен самим. Нет, воды нет, не доходит до третьего этажа, надо идти в подвал.

Артистки извинились вежливо и сухо. Дверь закрылась, щелкнул замок.

Киевляне жили своей собственной жизнью, отдельной от армии, которая заполнила все улицы, светилась у пристани. На Крещатике в маленьких кафе еще наспех закусывали люди, а хозяева уже спускали жалюзи, готовились закрыть двери; возле университета стояли и чего-то ждали группы молодежи, хозяйки торопились куда-то с сумками. Горожане были озабочены, неприветливы. Может быть, потому, что армия отступала.

Труппа получила приказ идти в Дарницу. Адоньев и Свирцов ходили от одной военной части к другой, выпрашивали подводы для вешей труппы. Им едва удалось отбить где-то для подводы.

Надя вошла в комнату и сказала: — Ты не слышишь? Бомбы бросают. Аэропланы налетели. Надо сложиться, уезжаем.

Ксане пришлось прервать стихи как раз в то время, когда слова так хорошо начали строиться в строке, ей не удалось даже записать их. Она спрятала книжку и карандаш в карман шинели и потащила вниз вещи.

Мост был взорван. На берегу Днепра стояла кутерьма. В поисках проезда возчики гоняли нагруженные подводы с одной улицы на другую. Они опасались, что белополяки войдут в город и их задержат, не позволят вернуться в свои села.

Артисты покорно бежали за подводами, отставая, то обгоняя их. Спрашивали встречных о делах на фронте. К артистам присоединялись полупутичи — бойцы, отставшие от своих частей, потом они расseyались, уходили вперед.

Проскакали на лошадях несколько курсантов дивизионной школы с Суржаком.

Маруса покрывала им след, Суржак придерживал лошадей, артисты окружили его.

— Прорвались паны, — сказал он своим хриплым голосом, гарцуя на вспотевшей лошади.

Свирцов придвинулся к нему ближе, торопясь, спрашивал подробности: где, когда, как случилось. Рубя слова, прожигивая их, — как бы не осрамиться перед артистами, — Суржак наспех рассказывал, как горстка бойцов с командиром долго обороняла важный участок, части успели перегруппироваться, так что потери не так уж велики.

— А те? Бойцы? И командир? — волнуясь, спросила Ксана.

Квадратное, все в шрамах, лицо Суржака странно сморщилось.

— Храбро бились. Как черти. Не жалели себя.

— Ну и что? — нетерпеливо спросила Ксана.

— Ну, задержали, — ответил ей вместо Суржака Свирцов.

— А командир? Жив? — настойчиво спрашивала Ксана, сцепившись рукой в край седла, чтоб не дать уехать Суржаку.

— Никого не осталось, — рубанул он.

— Я знаю, — с дрожью в голосе сказала Ксана. — Я знаю. Это Моисеес.

В ее памяти мгновенно возникло черное поле, по которому шагал конь, ночь, пустота.

— Моисеес, — повторила она еще раз, громко и внятно, как бы желая утвердить это имя.

Но ее никто не слышал. Суржак отъехал и удалялся на глазах. Подводы давно промчались, и артисты побежали догонять их.

Испытывая горечь от того, что людям некогда остановиться мыслям на подвиге командира и его воинов, некогда почтить память тех, кто принес высокую жертву во имя великого товарищества, Ксана и сама побежала за всеми, страдая от этого еще больше, задыхаясь и торопясь.

Приехали в Дарницу.

Артисты спешили найти приют и разобрались по домам. Уже вечерело.

...На небольшой площади, у канавы, горела костер. Вокруг сидели солдаты, что-то хлбали из котелков. Некоторые спали на земле, повернувшись спинами к костру. Неподдалеку стояла холодная солдатская кухня. Под ней припрятан, с головой закутавшись в шинель, повар.

Все здесь показалось Ксане естественным, простым, добрым: уютно трещал костер, и ей захотелось посидеть у этого костра, послушать чужую беседу, побыть с людьми, которые не сегодня-завтра тоже пойдут в бой.

Она подошла ближе, солдаты подвинулись.

— Есть курить, хлопчик? — спросил ее совсем молодой солдат, протянувший босые ноги к самому костру.

Ксана дала ему кисет с махоркой, присела рядом на корточки.

По другую сторону костра молодой голос негромко пел каким-то особым способом; это напоминало тирольскую песню, хотя слова были русские, народные. Лица его не было видно за дымом.

— Кружка есть? — спросил Ксану пожилой солдат, который все время занимался костром, подкладывая щепу, мешал, ворочал, поправлял ведро с кипятком, висевшее над костром.

— Нет, — ответила Ксана.

— Ну мою. Кипяточку хошь?

Он щедрым жестом протянул ей жестяную кружку, словно был хозяином этого костра и принимал гостей.

— Спасибо. Я не хочу.

— Что спасибо? — ворочал пожилой солдат. — Попил чаю, тогда и сказал спасибо, а это одни пустые слова.

Все в этом солдате было какое-то добротное, хозяйское. Он сразу вовлекал каждого, подошедшего к костру в единое товарищество, и каждый мог получить все то, чем здесь располагали: кружку кипятку, «козью ножку», доброе слово, место у костра; и каждый мог отдать сидящим здесь людям то, чем располагал сам: кусок хлеба, соль, песню, острое слово, шутку.

Ксана молча сидела среди незнакомых людей, прижавших ее за хлопчика, и слушала их побасенки, их

вспыхивающий и потухающий разговор, и на душе у нее становилось спокойнее, словно она попала в самый центр жизни, где все мысли, и желания, и чувства настоящие, ясные. Особенно хорошо было то, что никто ее ни о чем не спрашивал; можно было молчать, или говорить, или петь, или спать, — что человек хотел.

Ксана сидела, обняв колени и уткнув в них лицо. Ей хотелось так сидеть без конца и под говор незнакомых людей думать о своем. Перед ней проплывал весь день с утра, Киев, этот узкий двор с углем, аэропланы, потом бег, долгий бег за подаводами. И за всем этим — скорбная, непонятная смерть юного и чем-то близкого человека.

Возникали в памяти, кружились и исчезали непонятные строчки еще не сложившихся стихов:

...И кому было дело — хорошо ли, худо ль,
На спине солдата затнута хлясть.
Если бомбой рванулась стеновая удыль
Из мужичьих заросших глаз.
Если крошью и мозгом заирваганы стены,
Если фронту не стало границ,
Если жизнь человека утратила цену,
Как слеза, что упала с ресниц...

К ночи кое-как погрузились в одну из теплушек длинного воинского состава.

— Отступают... — Об этом все только и говорили, озабоченно, сдержанно, и каждый утешал себя и других: — Это временно. Это только на небольшом участке.

Все уже забыли, как еще совсем недавно фронт так и дингался: то наступали, то отступали. Но в последнее время дела шли очень хорошо, и казалось, что теперь так и будет всегда.

Никто ничего толком не знал, строили догадки, передавали слухи: белополякам помогают англичане, французы. Потому и прорвали фронт.

Высокий, пожилой и очень худой подполков Чурюканов с длинными усами и хитроватыми, острыми глазами ходил от вагона к вагону и говорил людям что-то утешительное насчет боев.

Шла ночь. Поезд двинулся. Вдалеке бухали орудия. В стороне фронта по небу расплылось зарево, что-то горело.

В соседних теплушках ехали штабы, подвие.

Постепенно все улеглось спать.

Раннее утро было необыкновенно красивым. На ясном, очень чистом небе висело ослепительно желтое солнце. Оно разливало мягкое тепло, весна была в разгаре. Весь воздух струился, дрожал, в недалеком хвойном леске отчетливо были видны на темных ветках светло-зеленые длинные побеги. На небольшом лугу у самого поезда блеснула молодая трава, усыпанная желтыми цветами одуванчиков.

Поезд стоял в Броварцах.

Люди вышли на лужок, жмурились на солнце, рассматривали на краю неглубокой канавки, отделяющей луг от железной дороги. То тут, то там неярким, расплывающимся в утреннем свете огоньком загорелись костры.

Около Нади, выбежавшей на луг, толпились штабисты. Они, как всегда, шутили, острили, хотели нравиться Наде.

Ксана села на краю овражка, где четверо немолдых военных, скорее всего политотдельцев, устроили небольшой костерок и над ним на несложном сооружении подвешивали чайник. Они пригласили и Ксану, и она уже ополаскивала их кружки и принесла из вагона ржаные сухари, которые Наде два дня назад подсушила в деревенской печке. Политотдельцы говорили о людях, присоединившихся к Красной Армии в Киеве, — среди них были меньшевики и бун-

довцы, вспоминали эпизоды из истории отношений большевиков с меньшевиками. Ксана с интересом слушала, стараясь все понять, расспрашивала, и политотдельцы с доверием и расположением объясняли ей все толково и поучительно, как старшие объясняли детям.

Внезапно в небе низко-низко закружилось несколько аэропланов. На лугу взлетели фонтаны земли. Люди побежали, одни к лесу, другие назад, к вагонам. Где-то закричали тонким и визгливым голосом.

Дуся Новокосовская и Клава Понсет, стоя в дверях вагона, громко звали Ксану.

Ксана вскочила, немного отошла от костра и, прислонясь к дереву, что росло неподалеку, стала смотреть вверх. Аэропланы летали неторопливо, низко, ей даже показались, что она видит лицо летчика.

У вагонов, став на одно колено, целился из винтовки в аэроплан Толя Дмитриев. Он стрелял и щелкал затвором, только падали гильзы. То же самое стали делать еще несколько человек.

Надя, вся красная и потная, с кем-то из штабистов волокла с луга раненого.

Аэроплан летел над самым поездом; неподалеку разорвались бомбы.

Что-то грохнуло и с силой ударило Ксану в грудь. Она на секунду задохнулась, а когда глянула вокруг, не узнала места. Там, где был костер и возле него сидели люди, она увидела взрытую груды земли, она словно еще шевелилась, будто люди пытались выбраться из-под нее. Ксана увидела заспанное землей почерневшее лицо человека, который только что объяснял ей, что такие бундовцы. На этом угловом лице открылись и закрывались совершенно белые глаза. Рядом из опрокинутого чайника текла вода. Ксана быстро наклонилась, поймала чайник, налив воды на руку и плеснула на это черное лицо. Но только сейчас она увидела, что тела нет, на взрытой земле лежала одна голова. Ксана отшатнулась и торопливо стала искать остальных людей, только несколько минут назад сидевших здесь, рядом с ней.

Но среди грязи и взрытой земли валялись лишь кроваво-черные куски тел. Она металась с чайником в руках, боясь наступить на живое, еще надеясь, что кто-нибудь уцелел, только засыпан землей.

По лугу ползли раненые.

Стоя в двери вагона, Дуся истерическим голосом непрерывно звала Ксану, но в ответ Ксана нежно и требовательно закричала:

— Где саниты? Где санитары? Пришлите их сюда скорей! Здесь раненые, здесь умирают люди! Вагон с красным крестом был наглухо закрыт.

Ксана бросилась к нему, ужасаясь, что там могут сидеть, закрывшись, люди, обзаванные заботиться о раненых. Она стучала кулаками в дверь теплушки, выкрикивая совершенно непривычные для нее ругательства:

— Мерзавцы! Трусы! Сволочи! Откройте сейчас же! Дайте бинты, йод! Подлые трусы! Можете там сидеть, выбросьте нам бинты!

Подбежал Тарасов, отстранил Ксану от вагона и стал стучать сам своими мощными кулаками.

Дверь вдруг отворилась, два испуганных санитаров выскочили с носилками и, не замечая ближних раненых, ошалело бросились на луг.

Аэропланы улетели. Состав был цел, но раненых оказалось много. Постепенно их разместили по вагонам, кое-как перевязали. Подобрали убитых, снесли и сложили их в одном месте на лугу.

Чурюканов созвал мужчин рыть могилу и сам, вооружившись лопатой, энергично копал, на его устах дрожали капли не то пота, не то слез.

Маруся, Надя и еще несколько человек пошли в лес наломать еловых веток.

Дуся и Клава не пустили с ними Ксану. Они заставили ее переодеться, она была еще в крови и в земле. Очевидно, бомба упала прямо в костер, вокруг которого сидели четверо пожилых людей. Ксана еще не успела узнать их имена. Землю, смешанную с кровью ее новых товарищей, ударило Ксану в грудь. И сейчас еще она чувствовала боль, но как это было ничтожно перед тем грозным и страшным, что свершалось у нее на глазах. Она переоделась и сидела в дверях теплушки, спусти вниз ноги. Совсем близко люди молча копали большую яму. По вагонам шли переклички — считали людей.

Ксана посмотрела на сваленные в кучу останки, — совсем недавно это были живые люди, — и внезапно ей захотелось спать. Она сделала попытку подняться, чтобы подойти к нарам и там лечь, но не смогла и стала неудобно валиться на спину. Товарищи подняли ее и перенесли. Им казалось, что она потеряла сознание, нет, она дышала слабо, но ровно и спокойно. Она спала.

Убитых сложили в братскую могилу, покрыли кулаком и засыпали землей. Почти весь эшелон собрался у невысокого холма. Холм убрал еловыми ветками, их связали красными бантами.

Ксана проснулась, вышла из теплушки. Сон длился всего несколько минут, но непреодолимая слабость уже миновала.

Все так же сияло солнце, так же необыкновенно прозрачно был прозрачен воздух, но это уже никого не радовало: здесь прошла смерть.

Пели «Вы жертвою пали». Торопились. Наконец, был дан сигнал к отправлению поезда.

Кто-то начал писать химическим карандашом на кулаке фамилии лежащих в братской могиле, но еще не успели установить всех убитых, — человек бросил писать, свернул кулак и сунул его под еловые ветки.

Поезд медленно отходил. Колеса стучали все быстрее. Паровозный дым плыл над полями, и вместе с ним плыла печальная песня.

Ксана стояла у открытой двери и смотрела на убегающую землю, на деревья, на столбики с цифрами.

За ее спиной разговаривали люди: в вагон трупы — последний в составе — набилось много военных, они вскакивали на ходу, когда поезд уже пошел. Сквозь шум колес до Ксаны долетали отдельные слова, фразы:

- Это ненадолго...
- Дальше Киева не отступим, черт его батьке...
- Сейчас подымется вся петлюровщина...
- Не забывайте, товарищи, не забывайте, что наша Краснознаменная...
- Командование должно было учесть...
- О-о! Наш комиссар подкованный, убежденный. И воевать умеет. Парень орден Красного Знамени получил...

Ксана не вслушивалась. Но случайно долетавшие фразы говорили ей о многом. «Наша Краснознаменная»... подумала она с гордостью. И комиссар тоже имеет орден. Шуря. Это о нем сказали «убежденный». Да, конечно, отступление ненадолго. Ненадолго, черт его батьке!

Ее мысли прервала Надя. Она крикнула из глубины теплушки:

— Ксана, я совсем забыла отдать тебе письмо. Вчера пришло. Увезла его в тюк и забыла, сейчас только увидела.

Большая скала сердце Ксаны. Как долго она ничего не знала о своих — о матери, об отце — выдворен ли? — о сестрах, братишке — какие синие руки были у него в минуту прощания! Как голодают, наверно,

все они! Ксана боялась думать и о Мире — тоже близкой, как сестры, и даже еще более родной по общим мечтам, увлечениям. Она отгоняла от себя всякие воспоминания, они несли с собой чувство вины и тревоги.

И сейчас, забравшись поглубже на нары, она с бьющимся сердцем распечатала большой матый конверт, надписанный тоненьким почерком Миря.

ГЛАВА XV

МИРА

«М

илая моя Ксана!
Ни одного письма от тебя. Узнала у твоих адрес и пишу. Жива ли ты? Где ты? Если бы ты знала, как здесь пусто сейчас, как не хватает тебя.

Буду писать все по порядку. Родная моя Ксана! Никого больше здесь нет. Все поразехались. Мальчишки либо на фронте, либо бросили школу и где-то работают, — некоторые на железной дороге. Ты не поверишь даже — Алексей Кудряшев, помнишь, он сидел на последней парте, такой воспитанный, высокий дылда. Мы еще его однажды встретили на Московской, помнишь, он курил. Так он сейчас работает в пожарной команде. Представляешь? А Борис, знаешь ли ты это? Борис ушел с денщиками.

Девчонки тоже осталось немного. Помнишь Жекку Станиславскую, она не стала кончать гимназию — ой, я все по-прежнему говорю гимназия! — работает в каком-то детском уголке, туда люди приводят на день детей, она играет им на рояле, учит петь, сочиняет сказки и рассказывает им. А сестры Дядины! Они бросили учиться, не знаю, что делают, магазин у них реквизизировали. Маша Мизрох уехала в Двинск, там у них родственники.

Только Павел Корольков, как и раньше, ходит один, шинель внакидку, этаким принц, страшно гордый и таинственный. Говорят, он работает в ЧК.

Я живу как будто в каком-то другом городе. Ну никого, никого из друзей. Школу я кончать не стала. Мама и тетка ругали меня так, что хоть зажимай уши. А теперь я поступила работать в канцелярию совнархоза. Очень тяжело дома, голодно, надо помогать. И мои смирились.

В городе все потихоньку устраивается, поставляли стекла, невозможно кое-где починили разрушенные дома. В клубе Ленина сейчас какое-то учреждение. Прохожу мимо и всегда вспоминаю, как ты здесь выступала, а после школы я ходила с тобой вместе, и моя жизнь тоже была заполнена, хоть я и не участвовала в кружке.

Ксана моя дорогая, как это было, что вокруг нас все кипело! Помнишь, когда открыли Дом юношества, ты готовила какой-то реферат — правда, так и не выступила, — там всегда собирались самые интересные ученики не только из нашей гимназии и всегда о чем-то спорили, шумели. Я помню, как ты убедительно доказывала мне, что религия должна отмирать, а я тогда не соглашалась с тобой. Я тогда еще ходила в церковь, как все в нашей семье. А теперь я тоже уже не хожу. Ксана, и ты бы породовалась, потому что я не просто не хожу, а по убеждению.

Когда ты вернешься — только вернись же, Ксана, ведь не могут же тебя убить на фронте, вернись, вернись, вернись обязательно, — я тебе все расска-

жу, как это происходило во мне, как я душою ушла от этого, хоть дома меня пилили знаешь как!

Но чем мне жить сейчас, Ксаночка, я и сама не знаю. У меня никаких талантов нет, и надо делать что-то значительное для всех, а как? Вот ты нашла себя — у тебя театр, сцена, теперь фронт. Ты такая смелая, взяла и поехала воевать. Я ни за что бы не поехала, я боюсь до ужаса, когда стреляют. Я много читаю и живу в себе, да с кем мне делиться? На службе люди какие-то занятые, у них семьи. Но не в этом дело, просто они скучные, говорят больше о еде и вообще о внешнем. Правда, у нас очень голодно сейчас. Только и удовольствия, когда мы на службе затопим железную печурку и печем в ней картошку, все, даже заведующий. Тогда немощно поразвеселимся и начинаем рассказывать о чем-нибудь друг другу. Но все же как это убого и мелко по сравнению с тем, как мы жили.

Я хочу в наш «Общественный сад». Ксана, дорогая, неужели уже не будет таких вечеров? Помнишь, в саду играл оркестр и всегда так пахло матиолой, и нас уже ждали мальчишки. Мы вместе слушали музыку.

А помнишь, как мы вдвоем ходили к театру, и сидели там на скамеечке у артистического входа — у нас не было денег на билеты, — и слушали «Евгения Онегина», и «Русалку», и «Пиковую даму», и «Садко». Как мы плакали над «Евгением Онегиным», и обе стеснялись и скрывали друг от друга слезы. Почему эта опера была нам такой близкой, так трогала сердце? Представь, я и теперь не могу слушать ее, плачу. Моя сестрица Калерия взяла меня в театр — к нам приезжала опера — и ругала меня ужасно, что я несдержанная и чувствительная.

Ксана, дорогая, я так хочу, чтоб ты приехала, я совсем одна, и мне слова сказать не с кем. Я пишу тебе и глупо реву над этими листками из тетрадки. Хорошо, что Калерия не видит. Ну приезжай же, приезжай поскорей. Я так боюсь за тебя, что ты на фронте, я боюсь и очень уважаю тебя.

А помнишь, как глупые девочки в классе посмеивались над нашим увлечением театром! И над нашими мальчишками. А они были верные и преданные! Что с ними там, на фронте? Где они?

Мы с тобой тоже не всегда ценили их и часто были несправедливыми к ним. Особенно ты, Ксанка, это точно, ты уж не сердись.

Помнишь, по утрам делили хлеб в школе — это поручили твоему Николаю, как самому справедливому, — и наши Николай старались незаметно отрезать от своих порций и добавлять нам. А ведь у них дома тоже было очень плохо с хлебом. А еще, как они ушли утром на Сейм, и был проливной дождь, а они так легко одеты, в тонких рубашках, и вечером прибежали и к тебе, и ко мне, мокрые, холодные, но принесли немного рыбы и поделились с нами, и даже нам дали больше. А у них-то дома было не лучше, чем у нас.

Нет, мне кажется, что нам с тобой, Ксана, как-то особенно повезло на таких верных, умных друзей, с которыми было интересно и хорошо. И все те мальчишки, которые к нам присоединились, тоже были интересные и какие-то не банальные — Толя, и ушастик Миша, и Юра.

Я никогда не забуду, как мы собирались над обрывком в саду, где электростанция, — помнишь нашу тоненькую скамеечку? Мы читали стихи, вернее, ты и Сережа-поэт, я забыла его фамилию. И еще ты читала монологи из пьес. И мы говорили об убеждениях и о трех категориях людей, и в эту лучшую, третью категорию мы записали только пять человек. Мне это совсем не смешно сейчас, а прекрасно, и так светло на душе, когда я это вспоминаю.

А один раз Андрей Коршун рассказывал нам, какие есть партии; он прочитал много брошюр о разных партиях, и мы долго разговаривали и спорили, и все согласившись потом, что самая честная партия — это большевики.

Ксана, моя дорогая, вернись, только вернись! Я без тебя как-то потерялась. Но я верю, что ты приедешь и опять будет все как было, все соберется вокруг нас, и жизнь будет идти не случайная, а настоящая.

Уже пора кончать мое письмо, но я никак не могу оторваться и еще хочу поговорить о том, о чем ни с кем больше не могу.

Я хочу напомнить тебе один вечер. Мы с тобой пошли после уроков в коридор нижнего этажа и вдвоем танцевали, потому что тебе не давалась мажурка, а предстоял вечер в гимназии, и мы хотели подучиться. Мы здорово тогда напрактиковались. А потом сели на окно и разговаривали. Во дворе было уныло, осень, сильный ветер, и летели листья. Прошел мимо окна Павел с своей шинелию вышивкой, и ты мне сказала, что тебе он очень нравится. И ты это повторила потом, когда нас разыскал Николай, при нем повторила, и я разозлилась на тебя ужасно, зачем ты это сделала. Мне было жаль его, нет, не жаль, я оскорбилась за него, я чуть не заплакала, как ты могла это? Слушай, я не боюсь сказать эти возвышенные слова, над которыми ты когда-то так долго смеялась, но если есть на земле любовь, то он тебя любил.

Дорогая моя! Я знаю, ты скажешь, что и меня любил мой Коля Шумский; как нам повезло: наши дорогие — два друга и оба Николаи! Но нет, Ксаночка, милая! Мой Николай — очень хороший мальчик, он относился ко мне так бережно, как к младшей сестре, но я понимаю — он хотел подражать твоему Николаю, он видел его огромное чувство и как-то даже завидовал ему. Он воображал, что любит меня, и хотел поклониться мне, как твоей Николае тебе, но все равно это было поверхностно, он же не мог быть больше, чем он есть. Недавно я получила от него письмо. И ответила ему. Он утешивал в тяжелых боях...

Дорогая Ксана! Мать твоего Николая очень горюет, от него совсем нет писем. Она приходила к твоим узнать, пишет ли он тебе. Но писем нет. Дорогая Ксана, встреть его хорошо, когда он вернется, я так хочу, чтоб он вернулся....

ГЛАВА XVI

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Ксана ходила как в тумане. С письмом Миры ворвалось напоминание о той жизни, которой она жила до фронта.

Мучительно было вспомнить родных, и особенно отца: когда она уезжала, он был тяжело болен тифом — и все изнурены голодом и холодом. А сестры и братишка! Она с тоской отгоняла от себя возникающие перед глазами голубые прозрачные лица, красно-синие вспухшие руки. Ее давило чувство жалости к близким и собственной вине. Взяла да уехала. Хотя чем она могла помочь? Работу найти было трудно. Хорошо, что хоть Леля поступила в хлебопекарню вести учет. Они будут сыты. А какая бы от нее польза была дома? Нет, она не жалела ни сестру, что уехала. И вернуться домой она тоже не

хотела. Это было сильнее ее. Фронтальная жизнь — и трудная и голодная — увлекала ее. Навестить родных — это другое дело. Но возвратиться домой? Зачем! Там мир теснее, она уже выросла из него, как из старого платья. Ее место здесь. Она живет жизнью всеобщей, а не только своей собственной. Правда, она не окончила школу. Ну и что ж! После войны она уедет в Москву. Учиться. Чтобы стать настоящей артисткой, играть роли, которые она тайком выучивает наизусть. А Миря, младшая подружка? С ней связано все дорогое — школа, Дом юношества, кружок друзей, споры о жизни, стихи и Николай. Это все слитное, неразделимое.

И хотя Николай там, в Курске, уже не было, ей казалось, что если она вернется, все ее друзья тоже съедутся и превращенная полоса жизни восстановится. Она еще не знала, что каждый прожитый день уходит навсегда, что ничего не повторяется, что жизнь — это необратимый ход времени, все, что ушло с ним, ушло навек. Она этого не знала и, хотя любила все, что там оставила, не хотела возвращаться в прошлое.

Оставаясь одна, Ксана мысленно перебирала все, что было в письме Миря, — маленькие радости и горести, напоминание о друзьях, о встречах. И только одно, самое большое и главное, она обходила, страшась остановиться на нем мыслю, додумать до конца. Это делалось помимо ее воли. Может быть, инстинкт учил ее набирать силы для испытаний. Она тихонько говорила себе: «Николай!» — и гнала от себя этот образ, словно болясь, что перед ней вдруг разверзнется пустота. Ею владели беспричинный страх, в душе копошилась тоска. Одной ей было тяжело, а с людьми она томила. То бродила подолгу одна, то вписывала в свою тетрадку новые строчки стихов, то вдруг бежала к людям, чтоб вместе с ними попеть, поговорить, подучиться, только бы не вспомнить о своем, о том, что ее мучило.

Надя теперь часто оставляла ее одну. Возле Нади кружилась молодая красивая поляк — переводчик Ян. Все свободное время она проводила с ним, а возвращаясь во временное жилище, подолгу смотрела на себя в зеркало, напевала и загадочно улыбалась. Но по-прежнему заботилась о Ксане по-матерински, старалась получше накормить ее, помогала постирать, вымыть голову.

И сейчас, когда она снова въезжали в Киев, отбитый у поляков, Надя шепнула Ксане, всматриваясь в движение повозок, людей, верховых.

— Видишь, там с поднацами Ян. Я пойду к нему. А ты не отходи от обоза, а то потеряешься.

Ксана улыбнулась, проводила взглядом легкую фигуру Нади в галифе и сапожках, в белой блузке и накинута на плечи френче.

Дело шло к вечеру.

Обоз застрял на улице, квартирные побежали искать пристанище.

Ксана сидела на подводе, ждала и невольно слушала шепоток Адоньева и Клары Понсет, доносившийся с соседней повозки. В своей излюбленной полулежачей позе, укутанная так, что из вороха вещей выглядывало только ее курносое, некрашеное, но доброе лицо, Клава тихо и поучительно говорила Адоньеву:

— Ты меня не понимаешь, Адоньева, я в душе анархистка-индивидуалистка, я не хочу никому подчиняться, хочу быть сама по себе. И я ленивая. Я тебе это сто раз говорила.

Что-то нежно буркотало в ответ Адоньев, уговаривал, суетился вокруг подвода.

— А где мои сапоги, Адоньева? — спрашивала Клава. Там набойки сбились. Надо чинить.

И пока Адоньев торопливо искал на подводе в ворохе вещей сапоги, Клава своим мягким, чуть соплятовым голосом читала стихи Ахматовой, Бальмонта, Блока.

Чтоб не вслушиваться в чужой разговор, Ксана, сидя на краю подвода, накинута на голову шинель и, устроив себе таким образом тихое убежище, раскрывала тетрадку.

Картины виденного, пережитого обступили ее. Они всегда сопровождали ее, как бы стоя за кулисами ее повседневной жизни, и достаточно было вызвать их на сцену, как они разворачивались во всей яркости и ошутимости. Приблизиться к ним, пройти снова сквозь них было мучительно и прекрасно: они рвали сердце напоминаниями о крови и страданиях, но странно — на них уже ложилась дымка таинственного, влекущего, как хорошо известная, любимая музыка.

И Ксане хотелось записать хоть немного, хоть что-нибудь; она писала и черкала, писала и черкала и все искала и искала те слова, которые рассказывали бы так, как ей это виделось...

— Еще не разместили вас? — спросил, заглядывая в ее шинельный терем, неожиданно появившийся Равичев.

— Нет еще.

— Вы что, одна?

— Нет, я с Надей Ласской. Вдвоем. Она только ушла вперед.

— Вот что! Айда ко мне. У меня здесь квартира свободная. Семья уехала. Места много.

— Хорошо! — обрадовалась Ксана. И крикнула Адоньеву, что устроилась, и пусть Надя идет прямо туда, к наподду.

Равичев передал комиссару адрес, взобрался на сиденье к вознице, и подвода затарахтела по булыжной мостовой.

В квартире было несколько опустелых холодных комнат, еще сохранявших уют благоустроенного дома, много книг.

Равичев открыл кабинет, зажег на письменном столе лампу под зеленым абажуром и сам вышел в кухню.

Ксана осмотрела комнаты, нашла в одной диван с подушками, бросила на него свою шинель. Маленькая ночная лампочка слабо осветила плюшевым светом пол, спинно.

Девушка постояла, потрогала запяльняющуюся крышку. Ах, если б сейчас кто-нибудь сыграл Лунную сонату! Большие иконы. Только Лунную.

Равичев вернулся в кабинет, оттуда крикнул, что в кухне есть примус и чайник, можно поставить чай и, набросив на плечи шинель (в комнатах застоялся некий холод), сел к письменному столу.

Ксане было видно в полуоткрытую дверь, как он рылся в ящиках стола, что-то читал, записывал. Лицо его у зеленой лампы казалось бледным, измученным.

Ксана порылась в книжном шкафу — перед ней мелькнули имена: Фердинанд Лассаль, Жан Жорес, Фихте, Бебель, Эрнст Ренан... «О, как много впереди!» — всколыхнула подумала Ксана, выбрала себе книгу Жеффруа «Заключенный», улеглась на диван и стала читать. Трагическая и благородная жизнь Огюста Бланши — энтузиаста, фанатика и несчастливца — захватила ее.

Шел вечер. Нади не было. Ксана читала. Ей послышались шаги. Она заглянула в приоткрытую дверь. Через несколько неосвещенных комнат там, в кабинете, все так же светила зеленая лампа, но Равичева возле стола не было. Ксана вглядывалась в темноту соседней с кабинетом комнаты и увидела его. Он

стоял, заложив руки за голову у какой-то фотографии на стене. Стоял и думал. Что-то удерживало Ксану у двери. Равнодушие всегда казалось ей умным, ученым, немного сухим. Политический руководитель. А здесь у портрета стоял худенький, невысокого роста человек, в измятой гимнастике, стоял и покачивался, заложив руки за голову. И Ксана показалось, что ему больно, что он горюет, что чем-то большим полна его душа. Она нечаянно подглядывала это. «Кого-то любит,— мелькнуло у нее в голове.— Какая это тайна — любовь,— подумала она.— Люди не говорят о любви. Это было бы мелко, если б говорили... И молча страдают. Но почему страдают?» И неожиданно твердо и уверенно раскрилась ей, что любить — это не радость, а страдание; или нет: и радость и страдание. И, может быть, больше страдание, чем радость.

Ей хотелось закрыть лицо руками, погасить свет и плакать втихомолку, чтоб никто не увидел и не услышал. Большое и невероятно прекрасное мерещилось ей впереди, но за этим уже стояло страдание, беда... Так она подумала, не доверя себе отчета, почему ей пришло это в голову.

Кто-то тихо, неуверенным шагом вошел через кухню. В темноте шел наугад, на свет, падавший из комнаты Ксаны. Ксана поднялась навстречу. Она увидела Зойку и ужаснулась ее виду.

— Что ты! — спросила она и, подбегая к противоположной двери, откуда виднелся кабинет Равичева, быстро прикрыла ее. — Что с тобой?

Зойка села на диван, и слезы, как камни, посыпались из ее глаз, она не вытирала их.

— Меня выгнали, — сказала она. — Из коммуны выгнали.

— Боже мой, что случилось? — удивилась Ксана, глядя на распухшее, бледное Зойкино лицо.

— Приюти меня, Ксана. Мне некуда... Где Надя? Она меня тоже, наверно, выгонит.

— Да что такое?

— Я тебе все расскажу. Я сошлась с одним человеком. У него жена. Ты его знаешь? — захлебываясь слезами, говорила Зойка. — А он просто подлец! Просто подлец! Он меня в такое положение...

— Что ты говоришь? — возмущалась Ксана. — Зойка! Зойка! Что ж ты делала, Зойка?

— Я его полюбила. А теперь... Ах, какой подлец! Это такой укус! Ксана, что мне делать?

— Подожди, подожди. Надя придет... Успокойся. Надо с ней поговорить...

— Меня мальчишки выгнали, — плача в голос, рассказывала Зойка.

— Это невозможно. Как ты могла, Зойка? Я тебя не упрекаю. Но что ж ты сделала?

— Я сама им рассказывала, мальчишкам, а они меня... выгнали.

— Подожди, подожди. Я сейчас пойду к ним. Как же это можно? Ты ляг вот здесь. Засни, успокойся. Я пойду с ними поговорю.

Ксана надела шинель, руки ее дрожали. Надо было что-то предпринять. И ей ничего не пришло в голову, кроме того, что надо бежать в «Зойкину коммуна» и поговорить с мальчишками. Она не представляла толком, что произошло, только понимала, что случилось большое несчастье. И это несчастье было в том, что Зойка позволила себе унижительное легкомыслие — сойтись с человеком, у которого есть жена, то есть человек близкий, более близкий, чем она, Зойка. Ничего другого она не могла придумать.

Зойка перестала рыдать, только колени тряслись бурной дрожью, она прижимала их руками, но руки тоже дрожали. Нестерпимо было на это смотреть.

— Ты ляг, Зоя. Ляг. И спи. Я побегу. Только дай мне адрес. Надя скоро придет. Ты ей все расскажи. И, несколько раз повторил адрес, Ксана выбежала из дому.

Путаясь в темных незнакомых улицах, она с трудом нашла длинный деревянный дом с рядом черных окон. Только в одном окне горел свет. Ксана постучала в это окно и вошла во двор. Входной двери с улицы не было. Вдоль всего дома во дворе тянулась открытая, заставленная всякой рухлядью терраса. Ксана поднялась на террасу, нашла дверь, толкнула ее и сразу оказалась в освещенной комнате.

Ей бросился в глаза большой стол с обрезками материи, на столе восседал, скрестив ноги в носках, старик еврей, с картинно красивой седой бородой и седыми выходящими волосами, прикрытыми черной шапочкой-ермолкой.

Тут же, у стола, топилась железная печурка, с огненным прогоревшим боком. Вокруг печурки сидела вся «Зойкина коммуна» — трое ребят. Они что-то хлещали деревянными ложками из одного котелка.

— Ксана! — кричал Толя Дмитриев, снимая с колена котелок. — Ты что?

Тарасов и Коля Поторгуев вскочили: — Ну и ну! Вот гости! Случилось что!

Но по тому, как часто моргал Толя Дмитриев, как разводит руками Тарасов и таинственно улыбался Коля Поторгуев, Ксана видела, что все они отлично понимают, почему она пришла.

Ксана неловко было говорить при чужом человеке. И старик понял. Он страхнул сматанный и разросшийся мелом пиджак, слез со стола и, надевая на носки галоши, вежливо сказал:

— Я уже пойду к жене, хватит с меня на сегодня. А вы, барышны, садяте, усажайтесь. И неизвестно к чему, добавил: — Жизнь есть жизнь! Это веселое выражение лица совсем не вязалось с сединами, со старостью. Казалось, что стоит только начать разговор, он скажет много смешного, остроумного, что он прожил интересную жизнь. Но сейчас было не до него. Едва старик вышел, Тарасов спросил:

— Насчет Зойки, да?

— Да, — ответила Ксана, чувствуя неловкость и не зная, с чего начать.

Но Коля Поторгуев, обычно тихий и застенчивый, вдруг горячо заговорил:

— Мы ее берегли, мы все ей делали, мы как слуги были, она у нас, как дитя, жила. Ни разу никто ничего не позволил себе... Эх, Ксана, мы же, как братья, охраняли ее, дуру эту поганую... Он сильно покресил и махнул рукой. Никогда еще он так много не говорил.

— Боже мой, как вы строго!

— Ты вот что, Ксана, — мрачно добавил Тарасов, — не мешайся в это. Строго! Потому что фронт! Мы ее предупреждали, мы говорили. Она все «хи-хи» да «хи-хи». Уж как мы ее оберегали! А теперь что говорить будет о трупле? Обманула она нас. Мы ее чистотой считали. Мы при ней, знаешь, как... Ну ее к чертовой матери...

— Ну! — обормотала его Ксана. — Как вы смеете? Я вас рыцарями считала...

— Да ты знаешь, ты знаешь, что произошло-то? — Не знаю и знать не хочу! — закричала Ксана, зажимая уши, чтобы не услышать что-то страшное. — Да вы-то как поступаете? Ей и так худо. А вы ее как ославляли! Выгнали! Как это?

— Не хотим мы ее, такую, не хотим! — тоненьким голоском закричал Толя Дмитриев. — Вот и ас! И ты, Ксана, не мешайся. Тебе нечего!.. Мы ее к себе не возьмем!

Ксана села.

— Товарищи милые,— сказала она тихо.— Что же делать?

— Уезжать ей! — резко бросил Тарасов, выпуская из рта огромные клубы дыма.

— Некоторое время все молчали.

— Пойдем, проводим тебя,— предложил Толя,— а то поздно.

Шли не спеша по темным улицам. Народу не было, только патрули медленно бродили по тротуарам, и шаги их гулко разносились, вызывая эхо среди домов.

На ходу прощаясь у дома, никто не сказал больше ни одного слова о Зойке.

Надя астротила Ксану в кухню. Прошептала:

— Зойка спит. Там, в другой комнате, есть еще диван. И кресла в составила. Как-нибудь уляжемся.

— А что с ней делать, Надя?

— Да ничего особенного,— спокойно сказала Надя.— Дуреха она, вот и все! Лучше всего бы ей уехать. Завтра поговорим.

ГЛАВА XVII

ДЕНЬ ТРЕВОГИ

А длинная струйка дыма поднимается к потолку и, расплываясь там, как нисточка, чертит беспокойные зигзаги. Кухонная керосиновая лампочка, подвешенная высоко на стене, накренилась набок, стекло почернело. Люди не замечают этого. Одни сидят на двух простых узких скамьях у стен, устало упираясь локтями в колени, курят, ждут собраний. Другие стоят кучками или уселись на краю стола, на подоконнике — беседуют, спорят. По черной доске на стене можно догадаться, что здесь когда-то был класс, теперь парты вынесены, стены грязные, закопченные. В комнате густой мажорный дым, силуэты людей вырисовываются, как в туманных картинах, что отражает на белой простыне волшебный фонарь.

Ксана стоит в нерешительности у порога и невольно слушает долетающие до нее оживленные разговоры.

— ...Такая братва приехала, понимаешь! Ребята с одного завода! Ну-у, увидишь!

— Это наши, бакинцы! Знаю, знаю.

— И латыши! Крепкие! Как из железа козаны...

— Теперь должно дело пойти. Держись, шляхет! Два человека азартно спорят:

— Предположим, я не понимаю в тактике. Но пусть мне объяснят, зачем загнали людей в лошину, это же настоящий капкан. Их перестреляли, как кур.

— Брось! Не было другого выхода! Или ты что, считаешь их нарочно, что ли, подставили?

— Я ничего не считаю. Я хочу получить объяснения командира, как это произошло. Могу я требовать объяснения?

— Командир не обязан перед тобой отчитываться!

— Перед всеми, не передо мной...

— Не обязан!

— Так? Не обязан? А комиссар обязан?

Люди спорили о чем-то очень значительном, Ксана хотело дослушать их до конца и понять, что случилось, но ей необходимо было еще узнать о том важном, для чего она сюда пришла. А лампа копчила все больше, и надо было немедленно прикурить

фитиль. Как достать эту лампу? Видимо, придвигали к стене стол, чтобы повесить ее так высоко.

Ксана подошла ближе и озабоченно огляделась. Да, надо было придвинуть стол.

— Ты что? — поднявшись со скамьи, спросила ее девушка в накиннутой на плечи кожаной куртке, под которой виднелась солдатская зеленая гимнастерка и такая же юбка.

Ксана взглянула в скуластенькое, веснушчатое лицо девушки, в ее живые, умные карие глаза.

— Лампа! — показала она.

— О-о! — Девушка быстро ухватилась за стол.— Ну-ка, ну-ка, слезайте! — чуть улыбась, кивнула она головой той, кто сидел на столе.

Те вскочили. Кто-то помог придвинуть стол к стене, сам влез на него и привернул фитиль.

Девушка посмотрела на Ксану, мягко улыбнулась. Было в ней что-то спокойное, даже немного робкое.

— Здравствуй, Ксана!

— Здравствуйте, — нерешительно ответила Ксана.

— Ты меня не знаешь? Я Клара Духанина. Я в подвале работаю.

— А-а! Я слышала про вас. Вас орденом наградили!

— Да. А почему ты мне «вы» говоришь?

— Ну... вы же старше меня. И на фронте уже давно.

— Ну и что же? Ты тоже на фронте. Сколько тебе? — спросила она и сама почему-то смущилась.

— Семнадцатый пошел.

— Да, совсем еще... Мне уже девятнадцать... А ты сегодня в партию вступаешь?

— Да! — Ксана обрадовалась. — Вы знаете об этом?

— Знаю, конечно. Нет, так не годится, я не люблю так... Давай на «ты»! Вот, Ксана,— улыбась, она взглядывала в лицо Ксаны, словно раздумывала, можно ли с ней говорить, как со взрослой. — Я про тебя еще что-то знаю.

— Что?

— Что ты стихи пишешь.

— Нет, это я только для себя.

— А ты не для себя. А для нашей газеты напиши.

У нас газета хороша!

— Я не сумею. Я совсем не умею.

— Ну попробуй хотя бы.

— Я попробую.

— Ты волнуешься?

— Нет, я совсем не волнуюсь. Я обдумала и решила, что необходимо вступить в партию. А вы? А ты? Тонка?

— Да, я уже член партии. Еще в Москве...

— Ты москвичка? Я обязательно потом поеду в Москву.

— Конечно. Тебе надо еще учиться.

— Да! Я так и думаю... Только потом. Когда война кончится. Ты, наверно, часто ездишь на передовую?

— Езжу. Знаешь, я еще в Москве поговорила много.

— Когда?

— Во время революции. В семнадцатом.

В комнату вошел высокий сутулый человек с белым спокойным лицом и круглой черной бородой. Он поискал кого-то глазами, заметил Духанину, направился к ней, о чем-то заговорил.

До Ксаны донеслось:

— Приказ есть отправляться... Наши здорово продаются... Сейчас проведем собрание накоротке... Только самое неотложное решим.

Среди разговора неожиданно они оба поверну-

лись к Ксане. Чернобородый внимательно и строго посмотрел на нее, а Клава, улыбаясь, покивала ей головой. Потом чернобородый неожиданно поздоровался с Ксаной и, все так же серьезно глядя на нее, пожал ей руку. Ксана смутилась, и, когда вдруг в дверях показались Адоньев, Маруся Емельянова, Скорцова, она сорвалась с места и подошла к ним. Шумно вошла еще группа людей, с ними Рабичева.

Все вокруг зашевелились. Рабичева окружили, расспрашивали, снова посылались голоса спорщиков. Началось собрание. Из коридора входили люди, в комнате стало тесно, многие противниклись вперед, становились прямо перед Ксаной и своими спинами загромождали от нее все, что происходило в центре комнаты. В просвете между людьми она увидела, как Рабичев подошел к столу и, опираясь на него своей шестипалой рукой, стоя, стал читать какой-то документ. А у противоположной стены, встав на цыпочки, Клава вытягивала шею и глядела по сторонам, кого-то искала. Может быть, ее, Ксану?

Все еще кто-то входил, люди топтались, продвигались вперед. Ксана плохо слышала, она была невелика ростом, а слова с трудом пробивались сквозь плотную людскую стену.

Все же до нее доходило, что речь идет о том, как мужественно вели себя красноармейцы и командиры какой-то части в недавних боях, говорилось о тех, кто особенно отличился, упоминались отдельные бои. Иногда делались упреки по чьему-то адресу. Все это слышалось неотчетливо, люди шумно встречали каждое сообщение, переговаривались. Многие Ксану упускала.

Но ее тревожило другое: а что же она, Ксана, сделала такое, чтобы ее приняли в партию? Она не участвует в боях, просто разъезжает с трупной по прифронтовой полосе, бывает иногда на передовой. Если артисты попадают в трудное положение, так только потому, что фронт очень подвижный, все часто меняется, войска то наступают, то отступают. Но она-то сама еще ничего хорошего не сделала. Она не может равняться с теми, о которых сейчас говорят, которые постоянно в боях, рискуют жизнью; вот они-то храбрые люди, прямо герои, они идут на смерть, чтобы защитить Советскую власть. А она! Ведь еще и трусиха в душе. Как она ревела, когда ковер ташила! А когда шла той морозной ночью по поручению Адоньева, как боялась волков и пряталась, дуреха, на кладбище! Она, конечно, сделала тогда все, что ей сказали, но ведь никто не знает, как она трусила.

Интересно, как это все будет происходить. Вероятно, вызовут, поставят перед всем собранием и... и что? Что? Она не представляет, как это будет. Но, наверное, очень торжественно и тайно. Она еще не видела, как принимают в партию. И никто ей не рассказывал. Даже у отца никогда не спросила. Правда, его принимали давно, еще в семнадцатом. Ей тогда было мало лет, ничего не смыслила. И не догадалась же теперь кого-нибудь спросить!

Воображение рисует ей необычную величественную картину. Вероятно, ее поставят на какое-то возвышение и будут ей что-то говорить. Может быть, прочитают ей какие-то законы, правила или предостерегут, какой она должна быть отныне. И ей надо будет дать клятву или обещание, а может быть, присягу. Или отречься от чего-нибудь.

И только тогда откроется какая-то светлая дверь и ей скажут: «Войди!» Вот так, как у Тургенева, — стоит девушка у порога...

Ксана до того реально представляет себе эту торжественную минуту, что у нее все замирает в груди. А вдруг ее спросят: «С какими мыслями вы идете в партию? Чего вы добиваетесь? В чем сомневаетесь? Что вы делаете хорошего для народа? Какой вы станете? И что оставите за порогом?»

И на все это надо будет ответить! Вот когда Ксаной овладевает волнение. И от этого в голове стоит звон, будто на маленьких колоколечках быстро-быстро вызванивают колокола.

До Ксаны доходят отдельные слова и фразы выступающих. Сейчас говорит Клава, ее речь тихая, но ясная, и Ксана почти все слышит.

— Больно терять товарищей, — говорит она. — Многим мы потеряли. Слыва им, отдавшим свои жизни в бою...

Кругом шевелятся, снимают фуражки, встают; те, кто сидел, встают. Несколько секунд все стоит молча.

— Мы пополним свои ряды. На место выбивших придут другие, — снова говорит Клава.

Опять становится шумно. Раздаются какие-то возгласы, кто-то выступает.

Адоньев тихонько подталкивает Ксану и на ее воспринятый взгляд только моргает и улыбается. — Здесь! Здесь! — кричит он кому-то через головы.

Маруся смотрит на Ксану строго, без улыбки. «Почему она так смотрит? — думает Ксана. — Может быть, видно, как она волнуется! Надо держать себя в руках».

Грузный высокий человек в хорошо пригнанном френче, пробираясь вперед сквозь толпу скупившихся у двери людей, прошел мимо Ксаны. Перед ней мелькнуло уверенное, чисто выбритое лицо с блестящими, как изюмины на куличе, глазами, с подстриженными усиками.

И сразу в ее памяти ожила картина: ночи, стрельба, через плетень прыгает, озирается, человек в полушубке и стреляет наугад в темноту. Вот этот человек, с быстрыми черными глазами. Он бежит с места бов. Он просто трусливо прячется в закутки дворов.

И вот теперь он пришел на партийное собрание. Горячим пламенем зажигается лицо Ксаны. Шумные волны бьют в уши, накатываются, как прибой, Ксана ничего не слышит.

Воспоминание так страшно, что о нем невозможно никому сказать.

«А может быть, я ошиблась? — думает она. — Может быть, это не он! Может быть, этого совсем не было!»

Она всматривается в его профиль, оглядывает всю его фигуру, такую сильную, крепкую, его широкие плечи, жирный затылок, курчавые волосы. Он и не догадывается, что кто-то знает его тайну, что кто-то, рассматривая его, пытается проникнуть в его мысли. Вдруг он беспокойно оглядывается, ежится, как человек, почувствовавший чей-то упорный взгляд. На какую-то секунду его глаза задерживаются на лице Ксаны, но она непроницаемо смотрит вперед: если их взгляды столкнутся, он сразу поймет, что его тайна известна.

Потом он проходит вперед и что-то говорит, говорит, кажется, отвечает на вопросы, но до Ксаны долетает только голос, только интонации, такие боевые, такие уверенные. Или нет, это, наверно, бьют в уши волны, тяжелые волны гнева, испуга, обиды, отравления...

Вновь и вновь возникает в памяти та сцена. Она стоит перед глазами, и Ксана всматривается в нее,

всматривается сквозь темноту и видит все-все, вплоть до жердины, полуотгоравшей от плетня, на которой еще мотаются ленточки лыка, да кучи хвороста у сараа, припертой к стене оглоблей, чтоб не рассыпалась, вплоть до отстоящей полы его дубленой полушубка, когда он, пригибая голову, стрелял назад не оборачиваясь, не глядя, друг там или враг. Ксана даже кажется, что сейчас она видит все подробности, которых тогда не смогла из-за спешки разглядеть, они отпечатались в ее памяти, как на фотопластине, и теперь она может внимательно рассматривать их...

А если это был не он? Кто-то похожий? А она мысленно клеветает на него? Ведь вот же он на партийном собрании, — наверное, член партии. Нет, не надо о нем думать. Так легко ошибиться. Лучше потом она поговорит с Клавой. Потому что ведь, может быть, это все-таки он?.. Довольно, довольно о нем! У нее сегодня такой важный день. Надо быть внимательной. Там ведь что-то говорят. И почти ничего не слышно. Ксана пытается выглянуть из-за спина, до нее смутно доносятся слова Рабичева: «...смелая, много раз отправлялась на передовую»... Это, конечно, о Клаве Духаниной. Какая же она храбрая! А по виду такая обыкновенная, с веснушками...

По собранию прокатывается долгий шум, стихает, снова прокатывается. В задвигавшейся толпе опять мелькает лицо того грузного, высокого человека. Он вытирает лицо большим чистым платком. Редко у кого видишь такой чистый платок. Он вытирает лицо, и его блестящие глаза бросают быстрые взгляды на окружающих.

«Надо пойти вперед, — решает Ксана, — я ничего не слышу здесь, за спинами этих огромных людей. И не желаю я больше думать об этом человеке. И Ксана начинает проталкиваться вперед; ей казалось, что это будет очень трудно, но между тем ее легко пропускают, даже помогают ей. Адоньев как-то ласково хлопает ее по плечу и подталкивает.

Внезапно все начинает двигаться, громко разговаривать. Собрание окончилось. Ксана прямо тут же сталкивается с Клавой и с радостью жмет ей обе руки. Вот какая она, Клав! Такая скромная с виду, с веснушками. Клав обнимает Ксану за плечи, и они вместе со всеми выходят на улицу.

И вдруг словно молния обжигает Ксану. Но ведь это-то, Ксану, должны были принимать в партию! И

почему же не принимали? Ей становится так нехорошо, так горько и обидно, и странное чувство собственной вины овладевает ею. Надо было самой пойти вперед и напомнить. Или спросить. А она-то наблюдала за этим отратительным человеком.

Она хотела бы спросить Клаву, как же ей теперь быть, но это очень стыдно. Ведь надо было самой пойти вперед и сказать. Что сказать? Что она должна была сказать? Примите меня в партию? Нет, разве так это делается? Ведь есть ее заявление. Ксана до слез обидно. Она так ждала этого дня. Она столько ночей думала обо всем. И о том, как она должна дальше жить и поступать.

На улице они останавливаются и кого-то ждут. Клав ждет Рабичева. Может быть, все-таки спросить у нее: как теперь быть? К ним подходит тот черноробордый неулыбчивый человек. Его фамилия Дабор, так называет его Клав. Дабор. Он смотрит на Ксану и кивает ей. И Ксана тоже машинально кивает, но на лице ее — отчаяние.

Потом вдруг подходит тот, грузный, самоуверенный. И опять перед глазами Ксаны мелькает та страшная картина, как в кинематографе.

Клав Духанина разговаривает с ним. И Ксана хочется убежать. Убежать домой и все рассказать Наде, во всем разобраться. Но Клав крепко держит за плечи, словно чувствует, что Ксана не по себе.

— Вот, познакомься, Ксана, это Шкляр. Его тоже принимали. — Клав еще что-то говорит, но Ксана слышит только одно слово «тоже». «Тоже принимали». Значит, еще кого-то приняли? Кого? Ее, Ксану? Не может быть! Ей ничего не говорили, у нее не брали клятвы, обещаний. Так, наверно, это было по-другому? Конечно, по-другому. Только она плохо слышала. Приняли! Именно ее приняли! Приняли!

Мысли Ксаны бегут, бегут. Ее приняли. Значит, ее приняли, Боже, как все ужасно вышло! И этот тип, Шкляр, — его тоже приняли! Кто же он такой? Может быть, это все же не он? Не тот? Иначе как его могли принять? Но нет! Ничего неправильного сделать не могли. Это же в партию!

«Довольно, довольно волноваться, — сама себе говорит Ксана. — Глупая фантазерка, чего только не выдумывала: клятвы, отречения, присяги! А это гораздо проще. Все хорошо, все правильно!

Спокойно иди домой и обо всем подумай. Совсем спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно!»

(Окончание следует).



Петр ВЕГИН

Колыбельная

У меня колыбельной не было.
У меня была колыбельная —
колыбельная
самодельная.
В ней из разных песен слова
про войну и про полуюшко белое.
Коротка была, солона
колыбельная.
В санитарном поезде
под Баюками
младшебра Полечка
меня баюкала.
«Полоушко-поле...»
А колеса язгали
на разезде.

Полечка, Полечка...
Красненькие крестики...
Колыбельная.
Колыбель.
Стая тающих голубей.
Как надломленный колосок
надо мной ее голосок.
Ты не стой у меня в изголовье,
я не маленький.
А она стоит в изголовье:
«Что, мой маленький?»
Ты не стой, уходи лучше спать,
колыбельная.
Дай мне новую написать
колыбельную...

Люсита Вильямс,

американская киносценаристка.



«Ленин-человек и его дело»

*Как родилась книга
Альберта Риса Вильямса о В. И. Ленине*

Известный американский публицист Альберт Рис Вильямс вместе со своим коллегой и другом Джоном Ридом были не только свидетелями, но и участниками Октябрьской революции. В. И. Ленин доверял им. По просьбе В. И. Ленина Вильямс стал организатором Интернационального батальона Красной гвардии, во главе которого участвовал в боях с белогвардейцами. Впоследствии он и его жена Люсита не раз бывали в Советском Союзе, путешествовали по стране, наблюдая становление и укрепление Советской власти. До конца своих дней Вильямс оставался добрым другом Советского Союза. Он написал несколько правдивых книг о нашей жизни и множество статей, помещенных в американской прессе.

Однажды жарким летом, в августе 1919 года, с улицы до меня донесся чей-то голос. Я жила тогда в Нью-Йорке, на верхнем этаже маленького двухэтажного дома. Это было в Гринвич-Виллидже.

Я высунулась из окна и увидела свою приятельницу Эни, редактировавшую тогда «Журнал для всех». Рядом с ней стоял высокий, атлетического вида молодой человек, с копной светлых волос, с глубоко посаженными голубыми глазами. Стоял, улыбался веселой, белозубой улыбкой.

Таким впервые возник в моей жизни Альберт Рис Вильямс. Таким навсегда сохранила этот образ моя память.

Потом они поднялись ко мне. Мы познакомились. Как-то сразу я ощутила в этом человеке дыхание земли. В руках у Альберта была веточка барбариса. Он только что вернулся из местечка Коритон на Гудзоне от своего друга Рида, у которого он работал в его маленьком доме. Альберт весь как бы дышал запахом

леса и поля. Признаюсь, эта веточка барбариса, которую он, уходя, забрал на столе, хранится у меня до сих пор. И сам этот вечер нашего знакомства вспоминается мне сейчас до мельчайших подробностей. Альберт был в ударе. Шутлился, смеялся. Играл в слова. Он с увлечением и захватывающим интересом рассказывал разные истории. Сначала мир этого человека мне показался сияющим, беззаботным. Но в тот же вечер я поняла, что это не так. Иногда этот крепкий, загорелый человек вдруг задумывался, голубые глаза его темнели, на крупном лице появлялась озабоченность.

Только позднее, когда мы познакомились поближе, он признался, что его целиком захватила работа над книгой, которую он во что бы то ни стало должен написать, книгой об интереснейшем из людей, каких он когда-либо встречал, — книгой о Владимире Ленине.

В тот вечер Альберт с увлечением рассказывал о Ленине, об его деле, об Октябрьской революции, сви-

детелем которой он был. А я слушала и чувствовала, как меня все больше и больше интересует этот молодой, сильный американец. Идея революции, развернувшейся на другом конце земного шара, революции, о которой тогда в западной прессе ходило столько слухов, казалось, целиком водела им.

Счастливый случай сделал двух корреспондентов нью-йоркских газет — Джона Рида и Альберта Риса Вильямса — свидетелями всего того необыкновенного, что произошло в России в октябре 1917 года. И вот теперь оба они увлечены, каждый по-своему, старались рассказать американцам правду о событиях в России. Альберт разъезжал по городам, выступал перед рабочими, читал лекции широкой аудитории. Нелегко было говорить правду настороженной, предубежденной публике. Но он говорил ее, и когда реакционеры пытались сорвать эти лекции, он спорил, он доказывал — он знал, что правда фактов на его стороне.

Но главной заботой его в те дни было все-таки завершение книги о Ленине. Писалась она нелегко. Белогвардейцы во Владивостоке отбирали все материалы, которые он скопил и вез в чемодане. Пропало все: и документы, и записные книжки, и масса вырезок из газет. Но немногого, что удалось провезти, забрали у него американские морские разведчики, задержав его в Сан-Франциско. Подвергнув его допросу, разведка выпустила его (вернув отобранные вещи), и как только он получил возможность читать газеты, он обнаружил так называемые «спасовские документы», содержащие в себе чудовищную клевету о том, будто Ленин является «немецким агентом». В этих фальшивках не было ни логики, ни фактов, ни доказательств. Но Альберт хорошо знал прессу. Знал силу ее воздействия на читателей. Он дал себе слово написать о Ленине. И слово это он сдержал. У него была блестящая память, и он начал работу.

— Как важно сейчас, когда на Западе столько клеветит на революцию и так лгут о Ленине, рассказывать американцам правду! — говорил он мне.

Альберт провел в России тринадцать с половиной месяцев. Вместе с Джоном Ридом они не раз встречались с Владимиром Ильичем Лениным. Ленин знал их, откровенно беседовал с ними, и вот сейчас, очутившись на родине, они оба задались целью — рассказать правду.

— Видите ли, — объяснял Альберт, — жизнь Ленина — это не просто жизнь выдающейся личности эпохи. Его жизнь — это история революции, история русского народа.

И хотя в то время я мало знала о России, о революции, я поверила ему. Такова была сила его убежденности. Так и во время лекций он легко овладевал аудиторией, зажигал в ней интерес, увлекал равнодушных. Помимо врожденной способности оратора и удивительного голоса, в нем была неподдельная искренность и обаяние. В нем была вера.

Время было трудное. Даже умеренные социалисты присоединяли свои вопли к проклятиям в адрес Ленина как «немецкого агента». Но даже те, кто поносил Ленина громче всех, по существу, не верили в смысл выдвигаемых ими обвинений. Альберт продолжал собирать большую аудиторию, где только было возможно. Он не устал повторять, что петля вокруг русской революции затягивается все туже и туже, что, наступаая, белые подходят к самой Москве, что сама революция в опасности.

Кульминационным моментом этой борьбы Альберта за правду об Октябрьской революции были митинг в вашигтонском театре Поли. Это было в начале февраля 1919 года. Там он вступил в яростную схватку с

противниками русской революции и своей логикой и фактами одержал победу. На следующее утро, прочтя в газетах сообщение о том, что об этом митинге предполагается провести специальное сенатское расследование, Альберт немедленно направил письмо сенатору Овермену. Альберт требовал, чтобы его вызвали в сенатскую комиссию для изложения существа его выступления на митинге, для рассказа об истинных идеалах и целях Советского правительства и губительных результатах иностранной интервенции.

А потом он со свойственной ему решимостью провел в сенатской комиссии. У нас дома хранится старая, пожелтевшая книга со стенографическим отчетом о заседании этой сенатской комиссии, и я позволю себе привести для моих юных читателей выдержку из этой стенограммы:

«СЕНАТОР УОЛКОТ. ...Свидетели, недавно выехавшие из России, определяют количество сторонников большевиков в три процента населения.

СЕНАТОР ЮМС. Пять процентов.

АЛЬБЕРТ ВИЛЬЯМС. Нетрудно произвести подсчет. С фронта вернулось двенадцать миллионов солдат. Половина их возвратилась с винтовками. Это шесть или восемь миллионов винтовок. И вот если бы в России существовало широкое и глубокое антисоветское движение, эти винтовки были бы использованы силами, стремившимися сокрушить Советскую власть... Но каждый раз, когда возникала новая угроза Советской власти, эти миллионы винтовок и штыков вставали на защиту Советов...»

Альберт говорил, как всегда, убедительно и, обобщая эти свои показания, заявил: «Я верю в Советскую власть как в великую творческую силу, соответствующую нуждам русского народа. Я верю в нее всей душой, ибо другие правительства самым фактом своей гибели доказали, что они не имели права на существование... Большевики пользовались доверием народа, и он возложил на них свои надежды...»

Во время лекций Альберт получал десятки записок, на которые отвечал с большой охотой, даже если они были издосными и обидными. Он отбирал наиболее типичные из вопросов, которые задавали ему американцы, и выпускал брошюру, которую так и озаглавивал: «Семьдесят шесть вопросов и ответов о большевиках и Советях». В ней он как бы беседовал со средним американцем. На обложке брошюры были слова президента Вудро Вильсона: «Отношение, которое будет проявлено в ближайшие месяцы к России со стороны дружественных ей наций, явится подлинным испытанием их доброй воли».

Брошюра вышла и имела огромный успех. Она была распространена в двух миллионах экземпляров. Альберт получал лишь небольшой процент доходов, да и то не со всех экземпляров, и только от первого издания. Остальную сумму передал Нью-Йоркскому научно-исследовательскому институту социальных проблем. Работая над брошюрой, он продолжал писать статьи для журналов «Нью-рипаблик», «Либерэйтэр», «Нэйшн», а в августе 1919 года опубликовал в журнале «Азия» статью, так и озаглавленную: «Шесть месяцев с Лениным».

Как выяснилось, Альберт жил неподалеку от меня. Вместе со своим братом Говардом они снимали в мрачном доме плохо меблированную квартиру. Альберт был весь погружен в работу, и его меньше всего интересовало, где он жил и что ел. Он перепечатывал рукописи сам, работая на машинке двумя пальцами. Это еще больше задерживало его работу над книгой о Ленине. Чтобы ускорить дело, я предложила взять перепечатку на себя. Это было для него большим облегчением. И вот тут, печатая его рукописи,

я увидала, как бережно и любовно работает он над этой книгой. Он старался, чтобы она была доступна рабочему, служащему и интересна профессору. С большой тщательностью добивался он точного звучания каждого слова, каждой фразы. Прежде чем закончить работу над главой, он перечитывал ее вслух.

Не легко жилось ему в то время. Увеченный книгой о Ленине, он не хотел отрываться от нее, и порою заработки его совершенно прекращались. В доме не готовили пищи, утолять голод можно было лишь в расположенном неподалеку дешевом ресторанчике. Впрочем, он не унывал, не жаловался...

Занимаясь перепечаткой последних глав рукописи, я не раз заставляла Альберта болеть.

Подозревая, что причина его болезни — нерегулярное питание, я настаивала на том, чтобы он позвал доктора. Он только отшучивался и продолжал работать с еще большим упорством. В эти дни мысли о Ленине все время поддерживала его. Когда я становилась очень настойчивой, он принимался с энтузиазмом рассказывать, как вождь русской революции ограничивал себя в еде во время продолжительных затрудений; рассказывал о том, что он довольствуется тем же скудным пайком, что и его соотечественники.

— Ленину не нужно обладать воображением, чтобы представить весь ужас нищеты, — говорил он. — Ленин знает, что такое недоедание не отвлеchenно, не теоретически, он испытал его на самом себе. Может быть, и это заставляет его так страстно добиваться, чтобы навсегда было покончено с голодом и нищетой на всей земле.

Эти дни положили для меня начало новой жизни. Помогая Альберту в его работе, я совсем запустила собственную работу в кино, которой очень увлекалась. Ведь теперь передо мной раскрывались новые горизонты и новые цели жизни. Во мне зарождалась и крепла любовь к русскому народу. И мне казалось просто невероятным, что здесь, на моей родине, так боится и не понимают Ленина.

Наступил день, когда книга была закончена. Было решено, что мы вместе отправимся в это событие в Коритон-на-Гуадоне, в этом удивительно красивом местечке, где жили многие друзья Альберта и где работал над своей книгой «Десять дней, которые потрясли мир» большой друг Альберта — Джон Рид.

Сойдя с поезда, мы вступили на узкую тропу, окаймленную с обеих сторон травой, пестреющей осенними полевыми цветами и обсаженную кустами. Альберт с шутливой строгостью спрашивал меня, как называется тот или иной цветок. Потом вдруг стал вспоминать стихи о каждом цветке и читать их мне.

Через некоторое время показался домик Джона Рида. О Джоне Альберт мне много рассказывал.

— Когда и как вы познакомились? — спросила я. Альберт на минуту смолк, потом вдруг рассмеялся.

— О, это было чудесное знакомство! Джон Рид должен был выступать в Тремон-темпи. Я тоже был там, сидел в зале вместе с другими, ожидавшими Ри-



Альберт Рие Вильямс беседует с возлюбленным рыбаком. (Снимок 20-х годов.)

да. Прошло десять — пятнадцать минут. На сцене никто не появлялся. Представлять оратора должен был по программе известный профессор английского языка, но его не было видно. И тогда вдруг на сцену вышла энергичный, веселый молодой человек, с высоким лбом и живыми мальчишескими глазами. «Господа, никто не хочет представить меня, ну что же, позвольте мне представить вам сегодняшнего оратора, — заявил он несколько удивленной аудитории. — Джон Рид — это я. Профессор не приехал, и перед вами — председатель этого почтенного собрания и одновременно лектор, ибо председателем сегодня будет тоже Джон Рид. Шутка поправилась, и через несколько минут аудитория вся была в его руках. Так я увидел Рида в первый раз...

Перепахивая через маленький ручеек, мы подошли к домику Рида. Домик небольшой: жилая комната и столовая, где единственной обстановкой был большой длинный стол и две скамьи. Зато это скромное жилище было окружено красивыми холмами; Джон и Альберт часто уходили туда, чтобы поработать в тишине.

Рид сердечно приветствовал нас, и я сразу же почувствовала, какая прочная дружба связывает этих двух людей. Почувствовала и подумала, как хорошо, что эти два замечательных американца подружились именно в России, в Петрограде, и именно в 1917 году. И как это хорошо, что оба они сейчас вместе несут правду о русской революции, смело противопоставляя ее злобной антисоветской клевете.

— Вот, — только и сказал Альберт, показывая другу рукопись.

Открытое лицо Рида засияло.

— Уже! Как хорошо! Посмотрим, что будет, когда эта книга выйдет из печати. Издатели, наверное, устроят роскошный прием в честь автора.

— Вероятно, такой, какой устраивает авторам Ливерайт¹, — пошмеиваясь, ответил Альберт. — Помнишь, приглашенные являлись, и какие приглашенные! Каждый из них принимал быть в центре внимания, окруженный почтителями. В ожидании этих почтителей и выражений восторга все они разошлись и застали

¹ Издатель произведений Джона Рида и Альберта Рие Вильямса.

в разных углах комнаты. Да так и простояли в гордом одиночестве весь вечер. Помнишь?

Рид расхохотался.

— У тебя здесь так хорошо, — сказала Альберт, меня тему разговора.

Они вышли в сад. Альберт вдохнул воздух, напоенный ароматом трав.

— Знаешь, Джон, какая сила в этих событиях! Подумать только, и все это за один год! Встретить Ленина — да одного этого может хватить на целую жизнь!

На обратном пути зашел к писателю Флойд Деллу. Тот заметил рукопись, выглядывающую из кармана Альберта. Усадив нас за ужин, он взял эту рукопись, прочел несколько отрывков.

— Да это же лирическая проза! — воскликнул он.

— Я к этому не стремился, — ответил Альберт, хотя явно был польщен таким отзывом. — Главное — рассказать о Ленине, рассказать так, чтобы поверили.

...Гранки книги прибыли раньше, чем мы ожидали. Мы с Альбертом прочитали гранки с лихорадочной быстротой: книгу нельзя было задерживать ни на один день.

Чтобы сократить время, оставшееся до выхода книги, я решила научить Альберта печатать как следует на машинке. Это значительно облегчило бы его работу в будущем. Ведь не всегда же я смогу помогать ему.

— Нет-нет, — сказал Альберт. — Ленин писал обыкновенной ручкой или обыкновенным карандашом. Он даже никогда не пользовался стилем. — Он торжествующе взглянул на меня. — Я во всем стараюсь быть похожим на него.

О Ленине он мог говорить сколько угодно и говорить всегда с неизменным увлечением.

Мы с Альбертом уже были влюблены друг в друга и не скрывали этого. В него влюблены были еще четырнадцать девушек. Порой мне казалось, что кто-то стоит между нами. Что там греха таить, иногда я думала: «Может быть, у него есть жена, которую он причес, может быть, он является членом какой-нибудь тайной организации...» Впоследствии все стало ясным. Россия, Советская Россия, одна шестая земли, — и не меньше — была моей соотечественницей. И все-таки мне нелегко было примириться с этим до тех пор, пока я сама не узнала Россию и русский народ.

И вот наступил знаменательный день. Перед Альбертом лежат стопки его книги «Ленин — человек и его дело». Эта небольшая книжка в голубом переплете показалась мне великолепной. В Америке она сразу же вызвала широкий резонанс. Ежедневно почти доставляла множество откликов из различных газет. Рецензии были разные: и разгромные, уничтожающие, и полные брани и угроз в отношении автора, но были и умные, доброжелательные.

Один экземпляр этой книги Альберт подарил мне. С радостью прочла я дарственную надпись. В ней он благодарил меня за помощь в создании этого труда. Несмотря на то, что в надписи этой он обращался ко мне официально, я была счастлива, ибо знала, как он скуп на похвалу. Книга о Ленине, подаренная мне Альбертом, — самое драгоценное из всего, что у меня есть. Впрочем, я тут же ее спрятала от автора: боялась, что он отдаст ее кому-нибудь другому. Была у него такая привычка. Он говорил:

— Книжки пишутся для того, чтобы их читали, а не для того, чтобы прятали в книжные шкафы.

Но я и сейчас храню ее. Именно в шкафу, вместе с той самой засохшей веточкой барбариса.

Книга вызвала много толков и имела успех. Автора

приглашали на обеды, завтраки, встречи, устраивали его публичные выступления. Карманы Альберта были набиты экземплярами книги. Когда кто-нибудь останавливался по дороге и начинала задавать вопросы о Ленине, он в ответ протягивал книгу со словами:

— Здесь все написано лучше, чем я могу вам рассказать.

Время шло. И вот наступил вечер, когда мы снова встретились в том самом маленьком итальянском ресторанчике, где обедали в день нашего знакомства. Часто мы тут бывать не могли, это было нам не по средствам. Я сказала Альберту, что теперь, когда работа над книгой закончена, пора и мне приниматься за дела: ведь я совсем забросила свои сценарии. Пора возвращаться в Голливуд к своей работе, да и средств к существованию других у меня нет, а это означает, что наступает момент расставаться.

Альберт слушал и казался невозмутимым. Мне было чудно, что ему безразлично, встретимся ли мы снова. Но тут, лукаво усмехнувшись, он вдруг сказал:

— Ну, что ж, поезжайте в свой Голливуд. Друзья приглашают меня в гости в Калифорнию. Там я буду работать над своей новой книгой о русской революции. Так что вам убежать от меня все равно не удастся.

Чтобы скрыть охватившее меня волнение, я несколько невпопад сказала:

— Второй такой книги, как о Ленине, вам все равно не написать.

— Ну, что же, я это знаю. И все-таки придет время, и я напишу еще одну книгу о Ленине — воспоминания о нем.

Из ресторана мы возвращались медленно: я шла рядом с ним, красивым, молодым, и мне не приходило тогда в голову, что под конец своей жизни он действительно вновь возьмется за работу и, несмотря на тяжелую болезнь, будет снова писать о Ленине.

Возвращаясь сейчас в этих воспоминаниях в далекое уже прошлое, я не могу не рассказать об одном удивительном событии, которое случилось с Альбертом во время его последнего посещения Советского Союза. Сколько раз в течение нашей совместной жизни приходилось мне слышать от него сетования на то, что он так и не решился познакомиться с Лениным со своим трудом. Мне казалось, что это всегда его беспокоит.

И вот более трех лет назад мы снова приехали в Советский Союз. Идем по старому парку, в Горках, по дорожкам, занятым солнечными пятнами. Вот этот белый дом с колоннами, так напоминающий нам своей архитектурой наши старые дома колониальной поры. Здесь Ленин провел последние месяцы своей жизни, здесь он умер.

Поднимаемся по ступенькам. Проходим в ленинский кабинет, где время словно останавливалось и все осталось, как было при Ленине.

Молча осматриваем стол, чернильный прибор. Книжки, лежащие стопкой, — последние книги, которые читал Ленин. И вдруг Альберт легко вскрикивает. Оглядываясь и вижу, что он смотрит на тоненькую книгу в голубом переплете. Такую знакомую и такую дорогую нам книгу. Ну, да, это «Ленин — человек и его дело». Это нью-йоркское издание на английском языке.

— Так, значит, он все-таки прочел эту книгу, — едва слышно произносит Альберт.

Я смотрю, как сияют его глаза. Я счастлива вместе с ним.

Январь 1964 года.





«Зка невидаль — химия... Ну что тут, скажите на милость, интересного? Дико звучит, не правда ли? А между тем, ей-ей, с неподдельным сочувствием поглядывали на меня мои вчерашние одноклассники, когда мы, новоспеченные первокурсники, встретились по традиции у фонтана, что против Большого театра. О, еще бы! Им, будущим инженерам-электронщикам, инженерам-радиофизикам, инженерам-самолетостроителям, было искренне жаль неудачника, поступившего на химический факультет МГУ.

Да, в ту пору она была отнюдь не модной, профессия химика, хотя описанная «сцена у фонтана» происходила не так уж давно — в 1953 году. Тогдашняя средняя школа с ее оторванностью от жизни у многих из нас отшибла вкус к одной из самых удивительных профессий на земле. Не мудрено, что по окончании первого курса подавляющее большинство не одних десятков студентов химфака МГУ. Перезимовав в тепле университетских аудиторий, они подались учиться «на инженеров» — в те институты, куда им не удалось устроиться с первого захода. Ушли,

без сожаления распростившись с деятельностью химика-исследователя, с попранием, о котором М. Горький еще полвека назад восторженно писал: «Химия — это область чудес, в ней скрыто счастье человечества; величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области...»

И разве не отрадно видеть внешние перемены в умонастроениях молодого поколения? От желающих идти в химию отбоя нет. И неспроста. Химия перестала быть Золушкой, которая где-то на задворках науки влачит жалкое существование, исправно служа «на побегушках» у «привилегированных» наук. Партия отвела ей подобающее место. «Успехи химии в производстве синтетических материалов создали условия для бурного развития новейших отраслей техники: атомной энергетики, радиоэлектроники, реактивной техники», — говорил Н. С. Хрущев на декабрьском Пленуме ЦК КПСС.

Да, если бы Ленин был жив, он не мог бы не добавить к своей знаменитой формуле «коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны» великое откровение эпохи — плюс химизация народного хозяйства.

Плюс химизация...

Когда мы говорим «химия», перед глазами встают многотрубные гиганты индустрии, многоступенчатая жизнь строек, многозначные цифры плавов. Символы грандиозного промышленного переворота, который неузнаваемо изменит лицо планеты. Верно. И в то же время не совсем точно. Ибо мы стоим в преддверии не только индустриальной, но и аграрной революции!

Спросите у школьника: как он мыслит себе свое будущее место в химии? Восемь-девять из десяти намерены стать инженерами-химиками. Не иначе. И не иначе, как на гигантском химическом комбинате.

А ученым-исследователем? И не на заводе, а в поле? Кто хочет быть? Почти наверняка в ответ во-

На снимке: Вот она — соль плодородия! Только бережным руками доверит ее народ.

нарится робкое молчание. Нет, не потому, что не хотят. Потому, что, как правило, просто не знают, о чем речь.

«Наряду с механизацией,— сказано в докладе Никиты Сергеевича,— внедрение химии означает революцию в сельском хозяйстве, открывает путь к достижению самой высокой производительности труда».

Уже в этом году предстоит выработать двадцать пять миллионов пятсот тысяч тонн удобрений, а в 1965 году — тридцать пять миллионов тонн. Горы химической продукции! Но всегда ли мы видим при этом скромную фигурку человека, которому предстоит распорядиться этими гигантскими горами солей плодородия? Распорядиться по-хозяйски, умело, с полным знанием дела. Распорядиться так, чтобы ни один килограмм драгоценнейших химикалиев не пропал даром...

Два с лишним миллиарда пудов зерна. Пятьдесят миллионов тонн картофеля. Два миллиона тонн хлопка, льна, конопли. Вот каким простотой народного богатства могут обернуться тридцать пять миллионов тонн минеральных удобрений, а их дадут наши химические заводы уже к 1965 году!

Впрочем, почему «могут»? Почему не сказать просто: «обернутся»?

Агрохимик — вот от кого зависит эффективное применение удобрений. Казалось бы, нехитрое дело — разбросал по полю белые крупинки солей, привезенных с химического завода, и сиди себе сложа руки, жди прибавки урожая. Ой, так ли? Бывает, приходит пора, и перед глазами колоса шныряют — чахлые, анемичные. Жухлые, преждевременно повисшие плети картофельной ботвы. Ржавые пятна увядания, тронувшие свежую зелень кукурузных побегов. Типичные симптомы голода, охватившего зеленое царство полей и садов. Голода? Но почему? Разве за растениями не ухаживали? Разве в почву не вносились удобрения?

Ухаживали. Вносились. И даже очень много. Так почему же на ухоженное поле напал мор?

Тысячи и одно «почему» возникает перед агрохимиком. Что ж, порой эти «почему» тревожны и неприятны, но всегда они неконечны. И увлекательны, словно сказки Шахразада... И кому, как не агрохимику, докапываться до первопричины, досконально разбираться в первоисточниках этих неожиданных капризов земли?

Да, у земли свои прихоти. Кис-

лотность почвы, ее химические, физические, биологические особенности — все это должен учитывать агрохимик перед внесением удобрений. Иначе, не ровен час, растению и в самом деле несдобровать. Растение может не усвоить тот или иной химический элемент, а может и отравиться его избытком. В том и другом случае урожая грозит урон.

«Есан без толку разбрасывать минеральные удобрения,— сказала как-то Н. С. Хрущев,— большого урожая не получишь. Надо со знанием дела удобрять поля».

Удобрять со знанием дела... Нелегкая эта забота целиком ложится на плечи агрохимика.

«Правильно питать землю можно, лишь зная достоинства и недостатки каждого гектара почвы», — говорит академик С. И. Вольфович. Каждого гектара! Такое близкое знакомство с почвой своего края немисливо без любви к земле.

Земля... Даже из кабины космического корабля не окинешь единым взглядом тысячечерные просторы нашей Родины. Но где бы вы ни жили — на хмуром ли Севере, под ласковым ли солнцем Юга,— вы обнаружите много общего между почвами различных климатических зон. Поднимите комочек земли. Разотрите его в руках. Вы увидите, что он состоит из мелких рыхлых крупин, Зазоры между комочками — своеобразные складки воздуха и воды — совершенно необходимы для благосостояния растений. Прокляните горсть земли в консервной банке. Вы увидите, что часть вещества улетучилась. Это перегной — разложившиеся останки животных и растений. На дне остались песок, глина, известь. Все эти вещества содержатся почти во всех наших почвах. Но тонкий химический анализ обнаружит различие даже между почвами одной области!

Почва — сложный мир удивительных метаморфоз. Достоянием неосторожного вмешательства извне, чтобы установившееся физико-химическое равновесие сдвинулось, физиологическая гармония нарушилась, почва переродилась, утратила плодородие. Тогда, может, совсем не вмешиваться в этот сложный и во многом еще таинственный мир?

Вот уже сто двадцать лет длится интересный опыт, поставленный англичанами. Целыйный участок был распахан под пшеницу. Из года в год сеялся на нем пшеница, и только пшеница, причем совершенно не вносились удобрения. За первые же десять

лет урожайность снизилась с двадцати двух до десяти центнеров с гектара. И продолжала падать. Что ж тут удивительного? Земля требует ухода. А уход — это вмешательство! И прежде всего химическое.

Но вот другой пример. За последние два столетия в США около сорока миллионов гектаров плодороднейшей пахотной земли было загублено... удобрениями! Да, отчасти удобрениями, которые вносились фермерами без заботы о будущем земли, с единой целью — выкачать поскорее из земли ее соки, получить в первые же годы высокие урожаи, обогатиться, — а там что трава не расти. И не растет. Почва утрачивает структуру. А потом за работу принимаются вода вместе со своими закадычными друзьями — солнцем и ветром. Начинается эрозия, выветривание почвенных частиц — сущий бич плодородия!

Человек, по-настоящему любящий свою землю, не может варварски раскидать ценнейшее достояние почвы — плодородие, внося химические вещества бессистемно, вслепую, без далекого загляда в будущее. Чтобы использовать удобрения с толком, агрохимик должен заранее знать, как отнесется почва к солям — благожелательно ли, враждебно ли.

Взять, к примеру, аммиачную селитру. Великолепное удобрение! Содержит много азота — необходимого материала для построения живых тканей. То-то обрадуются ему растения! Растения, быть может, и обрадуются. А почва? Не всегда. Аммиачной селитре присуще одно «коварное» свойство. При систематическом применении она подкисляет почву, правда, слегка. Но этого «слабика» достаточно, чтобы северные подзолистые почвы с опаской встретили подобную «подкормку». Ведь они и без того страдают повышенной кислотностью. Да и растениям в конечном счете не пойдут во вред.

Еще более противопоказан для подзолов сульфат аммония. Вся штука в том, что он в присутствии влаги образует вредную для растений серную кислоту. А дождя на Севере не редкость. Пройдет год-другой, накопится столько ядовитой серной кислоты, что почва из матери-кормилицы превратится в злую мачеху-гонимельницу.

Внесение извести в почву — вот что помогает «раскислять» подзолы. Без известкования на этих почвах невозможно эффективно использовать удобрения.

Но, допустим, почве не противопоказано удобрение, например,

та же аммиачная селитра. Скорей на поле волшебную соль! Кузов самосвала медленно поднимается, чтобы сбросить пахучий порошок. Но что это? Вместо рассыпчатой рыхлой массы на землю с грохотом падают твердые белые глыбы. Все ясно: чешуйчатая селитра попала под дождь, слежалась, и порошок превратился в монолитную «скалу». Приходится дробить «скалы» ломанами, толочь колотушками. И вот картина: на посевах озимой, пшеницы валяются куски весом в полкилограмма, а то и больше. От такого удобрения один вред: растения могут получить серьезные ожоги.

Как внести удобрение, — это тоже не второстепенная проблема. Кемеровский и Лисичанский комбинаты выпускают прекрасную гранулированную селитру. Она не слеживается и легко высевается — не в пример чешуйчатой, — а в этом виде, к сожалению, пока выпускается основная масса аммиачной селитры. В гранулах гораздо удобнее транспортировать, хранить, высевать и другие удобрения.

Аммиачная селитра, сульфат аммония, хлористый калий, суперфосфат, фосфоритная мука относятся к числу простых удобрений. Иными словами, содержат лишь одно из питательных веществ, необходимых растениям, — либо азот, либо фосфор, либо калий. До последнего времени наша промышленность выпускала преимущественно именно такие удобрения. Между тем в земледельческой практике чаще всего нужна вся «тройка» — и азот, и фосфор, и калий. Ибо это главный рацион растений. Поэтому нередко приходится высевать один сорт удобрения за другим — по отдельности, по очереди. Работы удорожаются: туксовые селанки приходится гоить несколько раз по одному следу. Смешивать на месте — опять же невыгодно. Велики затраты ручного труда. А главное — смеси, изготовленные кустарно, не отличаются требуемой однородностью. Вот и поднимались всходы где густо, а где пусто.

С 1961 года на Новомосковском химкомбинате Тульской области налажено производство сложного удобрения. Это знаменитая «нитрофоска». Она содержит сразу три питательных элемента («нитро» — азот, «фос» — фосфор, «ка» — калий). Кажется бы, удобрение хоть куда! Вроде бы универсальное. Вроде бы эффективное. Вроде бы безвредное. Но подходит ли оно под сероем нашего Юга? Судите сами. Сероземным почвам подчас



Резервы солей плодородия? Они есть везде! Кто бы мог подумать, что на Рижском электроламповом заводе отходы производства окажутся ценным удобрением? Эта находка принадлежит не агрохимику, а инженеру Рижского завода Ф. Логуновой. Чтобы доставить удобрения труженникам села не слитыми из вагонов, аппаратчик З. Митченков расфасовывает их в пакеты из полимерной пленки.

не хватает азота, не хватает фосфора. Зато калий обычно присутствует в достатке. Нелепо расточать впустую дары щедрой химии, коли можно запросто обогатить азотно-фосфорной смесью. И вопросы экономики негоже упускать из виду настоящему агрохимику!

Умело маневрировать азотными, фосфорными и калийными удобрениями в масштабах огромной страны с ее бесконечным разнообразием географических условий — далеко не все. Конечно, азот, фосфор, калий необходимы, как белки, жиры, углеводы человеку. Однако, помимо основного «меню», растение до заделки нужны еще и «витамины» — микроэлементы. Их так называют потому, что они входят в состав растительных тканей в ничтожных количествах. Вот они: молибден, медь, цинк, бор, йод, кобальт, десятки других. На долю всей этой многочисленной компании падает не более одного процента общего веса растения. Но роль микроэлементов колоссальная. Без них растение оказывается по власти всевозможных недугов. От неполноценного корма и скот теряет продуктивность, падает.

В нужных пропорциях содержатся макро- и микроэлементы в навозе. Только вот беда: навоза у нас наберется не более двух тонн на гектар пашни. Не густо. Да и не в этом дело. Незачем ставить плодородие почв в зависимость от животноводства. Ибо навоза нет без скота. А скоту нужны корма. Но ведь корма — это урожай! Тот самый урожай, которого нет без удобрений, содержащих микроэлементы. Скажем, без того же навоза. Круг замкнулся. Где же выход? Как снабдить растение микроэлементами в требуемых сочетаниях?

Это тоже вопрос, адресованный агрохимикам.

Интересное решение предложил советскими учеными — агрохимиком А. П. Федоровой и инженером В. К. Дядыком.

Там, где сейчас взметнулись высь каменные громады городов, когда-то неутомимо шумели непроходимые девственные леса. С оглушительным треском прорывались сквозь чащу гигантские зверопроры. Пролетали над дряхлой старушкой Землей новые тысячи и миллионы лет, реки менили русла, высыхали и рождались вновь, в песок превращались крепчайшие скалы, и одновременно вздымались горные хребты, вымирали дикие представители флоры и фауны. Вымирали, падали и, оказываясь на дне древних водоемов, превращались в концентрированные «консервы» — каменный уголь. Консервы, сохранявшие запас микроэлементов в необходимых комбинациях.

Итак, возвратитесь земле соли, отобранные у нее древними растениями? Да, но уголь необходим топкам заводов и электростанций! Абсурдно удобрять землю каменноугольной мукой. Верно. Абсурдно. Да и в этом нет нужды.

Еще Вергиллий советовал древним римлянам «грязную сыпать золу поверх истощенного поля». Зола — минеральный остаток после сжигания органического вещества. Вспомните свой опыт с «кремацией» почвы в консервной банке! Там тоже органические вещества выгорали, а неорганические соединения оставались на донышке. Если это была хорошая почва, то остаток содержал вместе с глиной, песком и известью более или менее полный ассортимент микроэлементов. Не что подобное происходит и в каменноугольной топке. Уголь сгорает, но почти весь набор содержащихся в нем микроэлементов сохраняется и... выбрасывается на свалку в количестве ста миллионов тонн ежегодно. А меж-

ду тем, по-хозяйски утилизируя эти «отбросы», мы могли бы за три-четыре года полностью удовлетворить спрос сельского хозяйства на микроэлементы! И не только на микроэлементы. Дядюком и Федоровой запатентована незатейливая установка для обогащения золы фосфором и углеродом. Темы самими, которые сейчас вместе с дымом вылетают в трубу, отравляя атмосферу. А могли бы сослужить хорошую службу сельскому хозяйству, будучи, уловлены при мокром золоудалении и внесенные затем вместе с золой в почву.

Транспортировать золу на поля можно в тех же составах, что доставляют уголь к печам ТЭЦ, а затем обычно идут порошками. Практически даровое удобрение! Вот бы подвать эти резервы в масштабах всей страны! Такая организационная работа вполне по плечу комсомольским коллективам ТЭЦ.



Ядохимикаты удобнее всего распылять с воздуха. Так борются с вредителями в совхозе имени Ленина Апанского района.

Как видно, агрохимику должны быть не чужды и таланты организатора.

Разумеется, врачевание земли гомеопатическими дозами микроэлементов — дело сложное. Надо хорошо знать, в каких именно «витаминах» нуждается почва. Проблема грандиозного применения микро- и макроудобрений переросла без современной агрохимической службы. «Даже хорошо подготовленный и опытный специалист», — утверждает доктор сельскохозяйственных наук, профессор А. В. Петербургский, — не может вести это сложное дело, не опираясь на данные анализов почвы и растений, не экспериментируя с удобрениями.

Хорошо поставленная агрохимическая служба — залог эффектив-

ного использования огромного количества удобрений, которые вскоре хлынут на наши поля.

Впрочем, только ли удобрений? Добрая фея полей, несущая жизнь и процветание зеленому царству флоры, — химия умеет сеять вокруг себя и смерть.

Культурное растение осаждают полчища туняйцев. Одни летают, другие ползают, третьи накресли в землю корнями. Разношерства и многолика ватага нахлебников, а цель у всех одна, разбойничья — пожизненно беззастенчиво за счет работы хлебороба. Крохотны по размерам, но всемогущи, но аппетитом не уступят знаменитому Гарибальди: прожорливые твари в масштабах планеты поедают такое количество продовольствия, которым можно было бы прокормить дополнительно двести миллионов человек! А сорняки? А грибки? В 1954 году в Западной Канаде микроскопический гри-

бастром одноклассов жмыха. Но, конечно, лишь научные успехи последних десятилетий вручили агрохимику надежный щит и разящий меч.

Прополка вручню... Споры лет, это полезный комплекс физических упражнений, правда, чуточку одиозных. И тем не менее едва ли сыщется энтузиаст подобной вида спорта. От зари до зари гнуть спину над бесконечными рядами градок, параная руки о жесткие, колючие стебли сорняков, — и темпы черепашьи и производительности труда низкая. То ли дело гербициды! Химическая прополка гектара моркови занимает несколько часов, тогда как в одиночку, наедаешь на собственные мускулы и свою расторопность, вы и за месяц не уравниваете.

Урчание мотора, доносящееся с небес. Легкая тень гигантской стрекоты, скользящая над землей. Бесслесное облачко порошка, оседающее на грядки. И вот за один-единственный рабочий день прополоты сто пятьдесят гектаров.

Итак, сорную траву — с поля вон! Что ж, туда ей и дорога! А не сорную? Не убьет ли гербицид мимоходом заодно с сорняками и культурные растения? В том-то и фокус, что ядохимикаты обладают избирательным действием. Врагам — смерть, а друзьям хоть бы что. Имеются, правда, и такие гербициды, которые не разбирают, где свой, где чужой. Их иногда применяют для поголовного истребления растительности по обочинам дорог и каналов.

Обработка ядохимикатами повышает урожай зерна на десятую часть, овощей — на пятую, фруктов — почти наполовину. Каждый рубль, затраченный на химические препараты, оборачивается суммой от пяти до трехсот рублей. Ведь при этом не только сохраняется урожай, но и устраняется ручной труд.

В 1965 году сельское хозяйство страны получило в два раза больше пестицидов, чем в 1963-м. А сколько других даров принесет полям щедрая и всемогущая волшебница-химия!

Выступая на зональном совещании работников сельского хозяйства республик Закавказья в феврале 1961 года, Н. С. Хрущев упомянула любопытнейшую группу веществ: «Представляет интерес предложение азербайджанского ученого Д. М. Гусейнова о ростоу веществ нефтяного происхождения...» Оказавшись, из отходов нефти, которые раньше сбрасывались в канализацию, можно изготовить чудодейственные пре-

бок погубил три миллиона тонн пшеницы. Вот почему обожает химия свой смертоносный меч, в лапке которого звучит суровый латинский корень «цидо» — «убиваю».

Пестициды — таково общее название химических средств защиты растений. Зооциды уничтожают грызунов, инсектициды — насекомых, гербициды — сорняки, фунгициды — грибки, микроорганизмы. Эти термины не так уж давно замелькали с газетных полос, хотя история ядохимикатов насчитывает тысячелетия. Еще у Гомера встречается упоминание о «сере, отравляющей вредителей». А древнегреческий философ Демокрит, живший в пятом веке до нашей эры, советовал бороться с гнилью, опрыскивая растения

параты, ускоряющие развитие растений и созревание плодов. ПРВ — нефтяное растовое вещество — стоит две копейки килограмм. Зато при введении в почву в гомеопатических дозах (пятьдесят — триста граммов на гектар) в полтора-два раза поднимает урожай хлопка, капусты, других культур. А добавление в пищевую рацион, оно увеличивает яйценоскость кур, привесы овец, экономит корма.

И еще одна группа химических соединений сулит немалое подспорье в сельскохозяйственных работах. Например, десиканты. Распыленные по огороду или плантации, они быстро подсушивают стебли растений. А их напарники — дефолианты — вызывают самопроизвольное опадение листьев и веток. В итоге несравнимо облегчается уборка урожая машинами — в первую очередь хлопника и картофеля.

С каждым днем пополняется арсенал средств, которыми располагают агрохимики. Но... Весение едких препаратов не проходит бесследно для почвы. Вот почему агрохимик должен уметь не только удобрить поля, не только бороться с вредителями, но и предвосхитить результаты такого комплексного воздействия на землю. Вот почему не обойтись без глубокого проникновения в тонкий механизм удивительных процессов, протекающих в своеобразном и поэтическом мире, который под равнодушным сапогом прозрачности распадается скользкой грязью.

Да, почва — это мир сложных физических, химических и биологических процессов, которые могут привести человека к избиению. А могут и не привести. Все зависит от того, насколько умело и заботливо ухаживает за землей ее хозяин. Единого рецепта плодородия не было и нет — надо учитывать сотни всевозможных факторов, от которых зависит благосостояние растения. И надо, как говорится, съесть не один пуд соли, прежде чем познаешь соль земли.

Неохватны горизонты, которые раскрываются перед любознательными профессиями агрохимика. Но узки, ой как узки двери, в которые стучится молодежь, решившая посвятить свой труд и талант этой благородной и благодарной профессии!

А лишь в пяти союзных республиках готовятся кадры агрохимиков. Два института Российской Федерации выпускают до сих пор в год не более... 50 человек. В то же время в республике свыше пятисот производственных агрохимлабо-



Гранулы плодородия... Посмотрите, как любовно дернат их руки Надежда Григорьевна Заглады! И как внимательно следят ребята за увлекательным рассказом человека, по-истинному любящего землю! Вместе с преподавателем химии А. Т. Вербой полесская студентка пришла в учебную производственную бригаду Высшей средней школы Житомирской области, чтобы поделиться своими знаниями с будущими агрохимиками.

раторий. И ничего нет удивительного, что вакансия специалистов этой дефицитнейшей квалификации остаются незамещенными не только в лабораториях, но также в научно-исследовательских институтах и вузах. Недостаток же преподавательского состава приводит к ухудшению подготовки специалистов. А любые планы, даже самые грандиозные, могут так и остаться набором символических цифр, если не решить проблему квалифицированных кадров.

Сегодня в стране девять тысяч агрохимиков с высшим образованием и около тринадцати тысяч со средним. А потребности в два с лишним раза больше. Правда, вузы уже в этом году расширяют прием на факультеты агрохимических специальностей. Но ведь окончить вуз — это минимум пять лет! Даже техникумы выпускают специалистов через три-четыре года. Мало того. В агрохимии, как нигде, нужна производственная сноровка, нужен опыт работы в местных условиях. Стало быть, сверх времени учения придется накинуть еще два-три года, пока «зеленый», молодой специалист поднатореет в своем деле. Неужто ждать до 1970 года? Нет, время не терпит. Понятно, почему на декабрьском Пленуме ЦК КПСС был поставлен очень интересный и важный вопрос — об агрохимическом всеобу-

че. Массовое обучение сельских тружеников вполне по плечу имеющимся кадрам ученых и преподавателей.

Старшекурсники Горьковского сельскохозяйственного института помочь полеводам своей области в нелегком деле химизации сельского хозяйства. Под наблюдением вузовских преподавателей они составляют почвенные карты, комплектуют специальные библиотеки, разрабатывают детальные инструкции, где и как правильно удобрять землю, применять ядохимикаты. В каждом хозяйстве шефы взялись вести курсы агрохимического всеобуча. Почин подхватит молодежь страны.

Еще Дмитрий Николаевич Прынишкин, основоположник отечественной агрохимической школы, считал, что химизацию земледелия надо начинать с «химизации» агрономов, что избытком удобрений не заменит недостаток знаний. Да, соль земли — это не только удобрения. Соль земли — это прежде всего люди, кадры. Так пусть же шире распахнуты двери в химно плодородия перед беспокойным племенем ищущих!

Глубоко в землю уходят корни, питающие растение живительными соками. Но еще глубже будут проникать с каждым годом в жизнь нашего общества корни науки плодородия.



ОТРЕЧЕНИЕ ОТ БОГА

Это документальный очерк. Место действия, имена достоверны, как и письмо и классное сочинение, которые печатаются здесь с небольшими сокращениями.

В газете «Советская Белоруссия», в статье «Жизнь рассудила», посвященной вопросам атеистической пропаганды, я прочел несколько строк о школьном сочинении дрявятекой девятиклассницы Терезы Абрамович, вызвавшем серьезный семейный конфликт: ее выгнали из дому. Но девушка не сдалась. Скупые строки, посвященные ей, кончались сообщением, что сейчас она учится в г. Молодечно. Захотелось узнать больше. Написал ей. Вот ответ:

«...Получив ваше письмо, я даже растерялась. Оно очень меня удивило, а вместе с тем и обрадовало. Прочитав его, я вспомнила мрачные минуты моей жизни. Очень хотела бы, чтобы вся наша молодёжь вела борьбу с религиозным дурманом. Я старалась объяснить, что религия несовместима с коммунистическим бытом. Однако в своей борьбе я была почти одинока... Жила я в селе Дрявяты (Витебская область), где еще у многих не успели искорениться религиозные пережитки и вера в бога заслоняет все.

Сочинение на тему «Мое отношение к религии» писал весь класс, но многие делали так, что-



Тереза Абрамович. Фотография из ее зачетной книжки.

бы было хорошо для себя и для родителей. Я же написала то, что думала. Это было скорее отречение от бога, нежели разоблачение нашего ксендза... Когда приедете, смогу рассказать больше...»

И я приехал в Молодечно. Воскресный день. В техникуме лекций нет, представилась возможность побеседовать с Терезой. Невысокая, полная, подвижная, жизнерадостная. Несколько раскисшие серо-

зеленые глаза. Капризно, по-детски выпяченные пухлые губы.

Такой предстала предо мной Тереза.

РАССКАЗ ТЕРЕЗЫ

—Мои родители — очень религиозные католики, как и бабушки Ядвига и Софья. Я родилась на следующие сутки после Дня победы. Воспитывалась у бабушки Софьи. С малых лет ходила с ней в костел. Не понимала, как можно съесть картофель или выпить молоко, не перекрестившись. Бабушка обожествляла все. Гром? Пророк Илья промчался на колеснице. Молния? Страшает всевышний расплата за грехи... Всюду бог, бог, бог. Поступление в школу совпало с переездом к родителям в Дрявяты, считавшиеся центром парашни¹; вся католическая округа подчинилась нашему пану пробошу². Во втором ли, в третьем классе, не помню, начало рождества совпало не с воскресным днем, и я собралась в школу. «Грешница!» — закричала мать, дала изрядную трепку и потащила к ксендзу. Ксендз велел причащаться, не ешь с утра, стоять на коленях.

Когда я подросла, мне захотелось совместно с одноклассниками вступить в пионеры. Чувствовала: поделюсь дома — запретят. Однажды, возвращаясь из школы, забыла снять, как обычно, и спрятать галстук. Отец жестоко избил, правда, придавивши к чернильному пятну на платье. Забегая вперед, скажу: в отличие от матери он, более осторожный, чем она, всегда искал предлог для расправы, опасаясь вмешательства школы. Но я понимала: его бесит мое нежелание слепо идти за ними. С того дня, когда на мне увидели пионерский галстук, я по указанию ксендза по семь раз на день, отсчитывая бусинки на четках, коленипреклонно произносила молитвы, а по возвращении из костела выслушивала наставления матери: «Богот не велено, слышишь? Учительки свели тебя с дороги, стогреть им еще на этом свете, прости меня, дева Мария. Останешься без еды!» И оставалась. Иной раз бабка, сжалившись, подаст печеную бульбу без соли. При встрече с ксендзом на улице надо было подходить под благословение, целовать руку, которую он подставлял с пренебрежением. И то же самое, когда появлялся к

¹ Приход у католиков.

² Ксендз.

нам домой. Я забивалась под кровать. «В доме растёт звереныш, пани Станислава!» — шепдал ксендз Иосиф Козел, — вырвте калки, пока не поздно!»

Если хотите знать, я долго была верующей. И даже побой после вступления в пионеры не отняла моей приверженности к религии. Что удивительного? Ведь дом пропитан мраком божественности, суеверия, примет. Мне нравилось, что бабушка Софья или мама падали перед ликом богоматери, неистово шепча: «Benedici, santissima!»¹. Я повторяла за ними их движения, не обращая внимания на синяки на коленках и шишки на лбу.

Но школа из года в год постепенно раскрывала мне глаза на окружающий мир. Я изучала науки, пристрастилась к чтению, и религия, а вместе с нею вера в бога постепенно становилась нелепыми, смешным мыслом. Заслуга в этом и преподавательница русской литературы Леокадия Францевны Лавник. Ее беседы, наставления, рекомендованные книги сыграли огромную роль. Да и поступки ксендза, его ханжество и двуличие неспало способствовали укреплению моего неверия.

Как-то на одного рабочего совхоза, члена церковной «двадцатки» пало подозрение: поговаривали, что он совлок мешок овса из совхозной конюшни. Все следы вели к его двору. Однако не кто иной, как ксендз, желая снять подозрение с этого человека, заявила, что он в тот день сопровождал его в поездке по парашу и потому никак не мог в вечер пропажи оказаться на конюшне.

Сколько можно привести подобных случаев? Жалею, не все в классном сочинении изложила...

ИЗ КЛАССНОГО СОЧИНЕНИЯ ТЕРЕЗЫ АБРАМОВИЧ

Есть ли бог? В наш атомный век понятие о бже способно вызвать улыбку... Человечек создал бога, а не бог человека. На земном шаре много религий, много разных богов. И если свет создан богом, то каким из них? Не в компании же они действовали... Верить в бога — значит повиноваться. Этот принцип и использован с самого первого появления на земле классовых противоре-

чий... Я бы очень хотела, чтобы вся наша молодежь вела борьбу с религиозным дурманом. Пыталась втянуть в это школьных подруг. Однако в своей борьбе была почти одиночка... В детстве меня учили молитвам, поклонению Христу. Верила я или только привыкла шептать непонятные слова, зажигая свечу, падать ниц перед алтарем?.. История учит: религия служит захватчиком. От креста неотделим автомат... Религия — враг коммунистического общества. С ней надо бороться... Бог, говорят, против насилия. Зачем же силой родные хотели, как скотину в хлева, гнать меня в костел, где изза высоких и узких оконцев всегда сумрачно и тоскливо? А я люблю свет, солнце, песню и смех, словом, жизнь. Мне ведь еще шестнадцать. И оргину музыку тоже. Но по радио, не стиснутую церковными стенами и исполняемому подлыми артистом, не фальшивящим святошей на хорах... Костел стал постылым, вызывает у меня отвращение. Я презираю его, и служителей его, и посещающих его, в особенности, если это комсомольцы. А есть такие. Их лишь за это надо исключать. Я презираю и отрекаюсь от созданного человеком рукой бога; а всем тем, что твердила и твердят о нем, говорю словами моего любимого Овола: «...бог — это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы глгали мне всю жизнь».

РАССКАЗ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

Л. Ф. ЛАВНИК

Да, было такое. И «бунт» Терезы против религиозного фанатизма и деспотизма родителей, по счастью, не приведший к трагическому концу, и случаи с многими другими школьницами. Но посмотрим глубже. Мы, только мы, советские люди, несем ответственность за происходящее. Бытует в наших так называемых западных районах Белоруссии «теорияка»: дескать, особые условия, помягче, помягче действовать.

«Челен» с Терезой не изволновало ни сельскую, ни районную общественность. Общественные организации, призванные нести свет научно-атеистической пропаганды, застенчивы у нас и нерешительны.

Теперь о сочинении Терезы. Оно, как самое лучшее, ставилось в пример в других старших классах. Фамилия не называлась. Но по от-

дельным цитиовавшимся строкам сразу признали ее: в селе-то нашем всего сто дворов. И когда мать спросила: «Ты?», — честная и прямодушная девушка отвечала: «Я, мама, я, и не жалею!»

Терезино сочинение подкосило ксендза. Он слег. На первую после того воскресную проповедь он взошел на амвон, поддерживаемый под руки. Имя Терезы не произносило, но говорил о паршивой овце, которая несет беду стаду.

Дома Терезу избili. На крики прибежал сельский финансовый работник Георгий Ефимов, кстати, секретарь комсомольской организации. Сказал: «Завтра разберемся». Но назавтра забыл, как забыли или сделали вид, что забыли или ничего не знают, и живущий бок о бок управляющий отделением совхоза Иванов, и участковый милиционер, и секретарь парторганизации Парфенович, да и мы, коллектив школы. Чрезвычайное происшествие. Тонул человек. А мы стояли на берегу, и никто не равнулся в воду. Проклятая традиция не вмешиваться в то, что творится за чужими стенами. Но нет и не должно быть чужих стен в нашей жизни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА ТЕРЕЗЫ

— Я заболела. Металась в своем уголке в жару и бреду. Меня не кормили. Никто не подходил, только маленькая сестренка Ядвига, когда никого не было. Ставила жбан воды и убергала. Приходили соседки, плевали в мою сторону, произносили проклятия. Особенно злобствовала Стефания Волченко — жена члена церковной «двадцатки». «Побить камнями!» — шипела она.

В то утро, когда я насилу поднималась с койки, мать бросила короткое, свистящее, как бич: «Пшла воп!» Но куда? Куда же? Я собралась в рюкзак нехитрый скарб свой, пришла в школу. Оставалось проситься в интернет.

Директором тогда была Татьяна Иванова Хобко. Сейчас последний год перед пенсией учительствует. Она не решила приютить меня и послала за матерью, которая назавтра явилась. Ночь я провела у Леокадии Францевны. «Не верьте, пани директор, — утверждала мать. — Не можно дочь без крыш оставить. Нийдемо, Теся!»

Пришлось возвращаться к ма-

¹ Благоговение, святейшая!

тери. А там уже поджидали дальняя родственница Анна Абрамович и ненавистная Стефания. Старый отцовский ремешок с бляхой, каким подпоясывались железнодорожники, лежал на скамье, и со стены на него большими милосердными глазами глядела дева Мария. «Кайся! — крипела Стефания и швыряла меня оземь. — Кайся, грешница, кайся!» Ремешок ожег спину, бляха рассекла плечо. В глазах стоял туман. Я была близка к обмороку. За Анной Абрамович тулов повторила я слова с просьбой о прощении и с омерзением целовала материнскую руку. Нет, в те минуты она не принадлежала маме, самому дорожному и близкому существу. Но когда Стефания произнесла: «Теперь бедите ее к ксензуду», сердце мое снова ожесточилось, я закричала ей в лицо: «Никогда этого не будет, ни-ког-да!» — и потеряла сознание.

Очнувшись чужою со смешанным чувством стыда, боли и горячи. Восторжествовала кривда, и я, которую бросили люди, сама призналась в этом, пав перед ней на колени.

Наутро ползла к Леонаиду Францевне. Она велела ехать в Браслав — в райком комсомола, дала денег на дорогу. Секретарь позвонила директору. Меня приняли в интернат. В тот же день туда ворвалась мать и на глазах классной руководительницы Евгении Григорьевны Махат отдулила меня. Физическая боль казалась пустяком по сравнению с тем, что чувствовала разум и сердце. Евгения Григорьевна сказала: «Смирись. Родителей положено слушать. Я тоже была в детстве беспокойная. Прошло. И у тебя скроется с годами. И чем скорее, тем лучше!» И это говорила комсомолка. Она бесстыдно смотрела мне прямо в глаза. Стало трудно дышать.

Евгения вышла, и я подумала: а что, если б ее, как Зою, как Улю, схватили враги? Стояла ли бы она за свою правду? И тут сомнения опутали разгоряченный ум. А что, если бог существует и за неверие шлет мне подобные испытания? Он отвратил от меня тех, кто, казалось, должен защитить. Значит, он есть, он всевиден, и родные правы в своей жестокости. Так думала я, сидя на берегу. К озеру пришла машинально. Вспомнилась, передавали: лет семь назад недалеко от нас, вблизи Видзю, девушка выкинула иконы, оставшиеся после матери. В ту же ночь страшная гроза разразилась над местностью. Молния ударила

в дом, его охватило пламенем. Девушка выскочила через окно. Наутро ее нашли повешенной на сосне. И не таков ли должен быть мой конец? Но тогда яркие католики скажут: «Тереза грешна и сама осознала свою вину перед богом». Я не могла, не смела дать такое сильное оружие против самой себя. Сомнение вползло в мою душу, но только сомнение. Я не утратила неверия в бога и сверхъестественные силы.

Я не могла здесь учиться в 10-м классе, я должна была уехать. Никуда не выходила из интерната. «Если закуют костел, не жить тебе!» — доносилось в спину, когда появлялась на улице.

Занималась все дни. Готовилась поступить в политехникум. И только когда увидела по всем сланным предметам пятерки, сомнения окончательно покинули меня. Сущий бог — нет, он не дал бы мне счастья избавления от бед.

И еще скажу о Леонаиде Францевне. Она была мне как мать, как круглой сироте любящая старшая сестра. Если б не она...

ВСТРЕЧИ В ДРИСВЯТАХ

Дрисвяты — село, красиво расположенное на берегах большого озера. Центр отделения Видзюского совхоза. По существу, одна длинная улица. На взгорье костел. На противоположном конце улицы каменная церковь в зелени сада. Недалеко от нее новое большое школьное здание и просторный учительский дом на голом пустыре. Имеется еще и старообрядческая молельня. Это в населенном пункте, насчитывающем лишь 100 дворов (а всего в Браславском районе 4 костела и 6 православных церквей).

В Дрисвятах у меня было множество встреч. Каждая давала обильную пищу для размышлений. Директор совхоза, управляющий отделением и секретарь парторганизации, предсельсовета, учителя и директор школы, врач и завклубом, школьники — пионеры, комсомолцы и те, кто не смеет переступить родительского запрета. И, наконец, родители. Я записал некоторые высказывания.

**Ф. П. ЛУЩИК —
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ**

— Мы проводим атеистические лекции в сельском клубе, родительские собрания в школе, на которых учителя ведут антирелигиозные

беседы, вечера самодеятельности. Но надо сказать откровенно, это не затрагивает основной массы верующих. Если кое-кто из них и придет и услышит стихи Якуба Коласа о святом Яне или посмотрит антирелигиозный фильм, то покидает зал, не стыдясь плевым выразить свое отношение. У нас выступал бывший баптистский проповедник. Но в селе баптистов нет, и его лекция не только не достигла эффекта, а скорее наоборот. Ему говорили: «Ты москаль. Католик никогда не откажется от святого креста».

В Минске и в других городах Белоруссии с огромным успехом проходили выступления сложившегося с собой санскенда воспитанника семинарии в Ватикане, а вот Браславский район его не пригласил.

**Г. В. ЧЕРНОВ —
ДИРЕКТОР СОВХОЗА**

— Женился наш лучший тракторист Саша Лесин. Решили организовать комсомольскую свадьбу. Минская киностудия прислала операторов. Оркестры. Песни и пляски в национальных нарядах. Сотни людей за празднично убранными столами. Сияющая невеста в белом, с венком на голове. Без устали стреляли кинокамеры. А где фильм? Разве демонстрация такого фильма не учила бы, не будоражила бы мысль?

Совместимо ли это — комсомолец и церковь? А ведь нередко у дверей Дрисвятского костела подолгу стоят легковые машины и такси с номерами Литвы и Латвии, а у их костелов, говорят, стоят белорусские, и пассажиры — нередко молодые люди с комсомольскими билетами. Свадьба в церкви. Крещение детей. Мы сами своей инерцией, равнодушием, безразличием часто способствуем этому.

**И. С. ЛЫСОВ — РЕДАКТОР
«БРАСЛАВСКОЙ ЗВЕЗДЫ»**

— Не так давно в районе судили злостного сектанта-неговиста, долго севшего среди населения ядовитые семена. Антирелигиозная пропаганда у нас еще слаба. Вот случай с трактористом из колхоза «Перемога» Иосифом Белюном. В свободное от работы время писал иконы и торговал ими по сходной цене. А ведь он сам комсомолец, и его жена Галина Жураская — комсомолка, работает библиотечарем.

На июньском Пленуме ЦК КПСС секретарь ЦК Л. Ф. Ильичев в своем докладе привел слова священнослужителя из Свердловской области Введенского: «Атеисты работают в клубах с атеистами, а мы в церкви с верующими. Атеисты к нам не ходят, а верующие не ходят в клубы. Мы не мешаем друг другу». Видимо, и местный ксендз может сделать эти же выводы. Не в один дом входил я в селе Дрисвяты, далеко не в один, где на стенах множество изображений святых и разных фотографий. Все это развешено попеременно, но кучно, и сразу не понять, где кончаются одни и начинаются другие.

И на вопрос, почему, допустим, сын не пионер, а дочь не в комсомоле, отвечали примерно одно и то же: «Разве нельзя трудиться без этого?»

Многие дрисвятские школьники говорили со мной откровенно: «Уеду в город учиться — обязательно буду в комсомоле». «Без комсомола — никак, оформлюсь в армию. Родители со свету сжигнут, пока под их стрехой». Илин: «Зачем огорчать своих?». А то и повес: «Мать не выдержит — померет». Мне известны случаи, когда ребята вступали в комсомол, но когда дело доходило до поездки в райком за билетом, они шли на попятный.

У здешних комсомольцев не хватает инициативы для организации антирелигиозной пропаганды. Ведь можно было бы пригласить Терезу Абрамович выступить в сельском клубе или в школе, рассказать о себе, о том, как она устояла в этой трудной борьбе.

В школе работает географ, комсомолка Мария Антоновна Янушкевич, неутомимый организатор пионерских походов по родному району и соседним прибалтийским республикам. Пусть ее сегодняшний день нелегок. Разве мать ей не запрещала вступать в пионеры? Не забрасывали ли ее камнями, когда она стала комсомолкой? Не пытались ли отвести монашке из Пеликан на «перевоспитание»? А сейчас мать не нарадуется успехам Марыси. А почему бы не пригласить и Марию Антоновну и ее мать в сельский клуб?

Есть что делать атеистам в Браславском районе. Нужна их подлинная активность, воинственность. Нужен, очень нужен большой разговор с молодежью о религии, об



Плохо ведут антирелигиозную пропаганду комсомолы! Не видит, как по дороге в школу останавливаются учащиеся ребята у придорожных напиль, крестов, бьют поклоны. Еще много таких напиль и крестов на дорогах Западной Белоруссии.

Фото А. Лидова.

Этот очерк был уже почти полностью подготовлен к печати, когда я написал Терезе и прислал сообщить, как она поживает, как прошла ее производственная практика. Мое письмо вернулось обратно с пометкой почты: «Адресат выбыл». Это казалось невероятным. Куда могла деться подлая мысль об учебе девушки? Именно такой она запомнилась мне. Я принялся звонить в Молодечно: в политехникум, в горком комсомола. И вот что выяснилось.

Перед тем, как отправиться на практику, Тереза поехала в Дрисвяты. Потом была на практике, но, заболев, вскоре вернулась. Поправившись, попросила дирекцию техникума отчислить ее. Затем явилась в слезах к секретарю горкома комсомола Марковой и умоляла дать ей путевку на стройку, предупредив, чтобы никому не сообщали ее адреса.

В Молодечно ничего не предприняли, чтобы оградить Терезу от преследований мракобесов. Студентке-отличнице, переходящей на третий курс, спокойно вернули из техникума документы, отпустили на дальнюю стройку. Как говорится, с глаз долой — из сердца вон. Правда, Маркова по телефону добавила, что уже получила от Терезы письмо: она довольна работой и тем, как ее встретил коллектив строителей.

Вот что пишет Тереза:

«...Что я могу сообщить? Здесь я нашла то, к чему стремилось мое сердце: трудности и успехи, неприятности и радости жизни. Главное — чувство того, что делаешь какой-то вклад в общее дело и в чем-то чувствуешь себя первым.

Мы пролазили через железную дорогу в пустыню... Жарко. Крутом пески, никакой растительности. Казалось бы, надо доходить до отчаяния, но нет. Мы живем, и нам весело. С продуктами питания здесь тоже ничего, правда, все привозное, начиная с воды. Пресная вода поступает к нам за триста километров... На нашей станции построили летний кинотеатр, устраиваются тонцы.

Правда, мы скоро отсюда уедем — будем опять ночинать все сначала, прокладывая трассу, строить дома. Романтика!

Материальная сторона тоже не заставляет желать лучшего. К сожалению, для некоторых только это и существует, то есть деньги. Ну, у меня все. До свидания.»





Валерий Фимин

Тревога

Тревога!

И посыльные затопали
По городу, по гулким мостовым...
В казармах окна темнотой затоплены,
И с автоматами в шеренгах мы стоим.
И минометы встали на треноги,
И заревели танки по стерне...
Рождаются солдаты по тревоге
Из молодых, неопытных парней.
Мы кузовы гудящие заполнили.
Из глаз еще не выплеснулись сны...
Мы первую тревогу так запомнили,
Как помнят люди первый день войны.



Риталий Заславский

Смена

Памяти Н. Островского.

Ты в буденовке ходишь,
в шинели пробитой и рваной...
Пронеслась твоя жизнь,
пронеслась, но не вся!
Ты с гражданской вернулся,
ты долго залечивал раны
и мальчишку не знал...

А мальчишка на свет родился.
А борьба все идет...

Это помнит солдат Революции!
Но тебе не подняться:
ты дышишь трудней и трудней...
Умирает писатель.

А книги его остаются.
Эта книга — твоя.

И мальчишка стихает над ней.
Эта книга — твоя.

И мальчишка, веселый и юркий,
вдруг затихнет однажды,

и что-то изменится в нем:
будет снится ему

военкомы в армейских тужурках

и тяжелый наган,
перехваченный жестким ремнем.
Это все еще сон,
а пока это в явь обернется,
над кроватью портрет твой,
и книга твоя на столе,
да в бунтарских глазах
негасимое

вечное сходство,
отличавшее всех,
проходивших по нашей земле.
То же знамя над ним
(это знамя пылало над тобою!),
твоему поколению

выросло наше под стать:
ведь не зря же

по имени
всех твоих помнят героев
мальчуганы,

которым
героями хочется стать.





ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО ЖИЗНИ

...Если вы хотите получше понять новизну живописного языка импрессионистов, посмотрите, как написана Камиллом Писсарро мостовая «Оперного проезда» — серая и вовсе не серая. Влажная, отсвечивающая множеством полутонов — желтых, розовых, золотистых, зеленоватых, — а вместе с тем все-таки серая, каменная, мокрая мостовая Парижа.

Писсарро вместе с Моне и Ренуаром стали первыми в живописи поэтами современного города. Они воинно показали, что красоту и чувство можно и нужно искать не среди античных развалин или идиллических рощ и дубрав, населенных нимфами, а в килении сегодняшней жизни. Город для них не был чудовищем, от которого бежали романтики и классицисты; он был для них частью любимой страны — землей, где стоят дома и живут люди, где улицы, бульвары и площади заполнены шумной, пестрой толпой, катящимися экипажами и каретами, мерцанием света и тени.



Первая послевоенная зима полна была размышлений над прошлым и нарождающихся надежд.

Камилл Писсарро, уже поседевший в свои сорок два года, перед лицом гибели всего, что он сделал, готовился начать сызнова. В Лувеусени возвращаться ему не хотелось; он намерен был обосноваться в Понтуазе и звал туда Сезанна, вернувшегося с юга в Париж.

Поль Сезанн был по-прежнему мрачен и замкнут. Сын мелкого банкира из Экса, старинного городка в Провансе, он три года боролся с отцом, чтобы добиться разрешения посвятить себя искусству. Сломленный упорством Поля, отец вынужден был согласиться, но при этом назначил сыну более чем скром-

ное содержание, на которое тот едва мог просуществовать.

В Париже Поль быстро смог убедиться, как далеки его юношеские мечты от действительности. Он было даже смелодушничал — бежал от суеты и шума большого города обратно в тихий Экс. Блудный сын стал работать клерком в банковской конторе отца, но это продолжалось недолго. Страсть к искусству оказалась сильнее ненависти к шуму и суете; он вернулся в Париж и пытался поступить в Школу изящных искусств, но провалился.

Видимо, с той поры он положил себе за правило не считаться с провалами, не признавать их; он признавал за собой лишь одну обязанность — работать.

Посылая свои картины в Салон, он даже не рассчитывал, что они будут приняты. В 1865 году он писал Камиллу Писсарро о своем наслаждении тем, что его работы заставляют академию «краснеть от ярости и отчаяния». Позднее он обратился к «интенданту изящных искусств» графу Ньюверкерке с письмом, где требовал восстановить «Салон отверженных».

«Пусть я даже буду выставлен там один, — писал он, — я страстно желаю, чтобы публика по крайней мере узнала, что я не хочу, чтобы меня смешили с господами из жюри, так же, как они не желают, чтобы их смешили со мной. Надеюсь, сударь, что вы не ответите мне молчанием. Мне кажется, что любое пристойное письмо заслуживает ответа».

О том, каков был ответ, свидетельствует «резолюция» на полях письма Сезанна: «Он требует невозможного. Мы видели, как несовместима с достоинством искусства была выставка отверженных, и она не будет возобновлена...»

Теперь, в 1872 году, не было уже графа Ньюверкерке, но Салон оставался прежним. Картины опального Курбе были отклонены. Отвергнутыми снова оказались Сезанн и Ренуар. Моне, Писсарро, Сислей, Дега на этот раз и не пытались попасть в Салон.

Дега увлекся новыми сюжетами: он стал прово-

доть целые дни за кулисами Парижской оперы, куда его когда-то привел впервые покойный Базиль.

Эдгар Дега был противоречивым и странным на первый взгляд человеком. Отпрыск аристократического семейства (его настоящая фамилия была де Га), он смолodu отказался от дворянской привилегии. Как и Эдуара Мане, его готовили к блестящей карьере, но он бросил юридическую школу ради Школы изящных искусств, где первым его наставником был Ламотт, ученики и последователь Энгера.

Дега преклонялся перед Энгром с детства. В знакомой семье ему случалось видеть величественного старца, он надолго сохранил в памяти его облик и на всю жизнь — любовь к «энгровской» певучей линии и к ясной форме. Он любил также других великих рисовальщиков — Пуссена, Ганса Гольбейна — и копировал в Луаре их работы с таким усердием и мастерством, что трудно было отличить копию от оригинала.

В то же время именно Дега оказался художником, о котором Эдмонд Гонкур справедливо сказал: «Я до сих пор не встречал человека, который умел бы лучше изображать современную жизнь, самую душу этой жизни».

Маленький, в круглой широкополой шляпе, с насмешливо-грустным взглядом, не терпевший шума, презиравший суету, рекламу и славу, он был склонен к молчаливому одиночеству. С годами его замкнутость стала легендой. И вместе с тем именно он черпал свои темы в самой гуще шумной городской жизни и не раз высказывал упреки в чрезмерном реализме и «вульгарности» сюжетов.

«Человеческая комедия» занимала его куда больше, чем безмолвный мир природы. Пейзажей он почти не писал. Но так же, как Моне, Писсарро или Сислей влюбленно наблюдали и изучали природу, так и Эдгар Дега изучал и наблюдал человека-современника.

Его дар наблюдения, точность и зорность взгляда были несравненными. А силой зрительной памяти он мог сравнить разное только с Домье. В отличие от своих друзей он не работал с натуры, не писал свои картины «на месте». Его принципом было «наблюдать не рисовать и рисовать не наблюдать».

«Современные критики упрекали его в том, что он «срезает» края картин предметы и людей; говорили даже, что он попросту не умеет размещать желаемое на холсте, уложиться в формат картины. Между тем это было вполне осознанной необходимостью: Дега продолжал и логически развивал то, что было начато картиной Эдуара Мане «Музыка в Тюильри». Он показывал жизнь в движении. Не как сцену спектакля или же фотографию, где все тщательно расставлено по местам («подвиньтесь чуть левее, а то вас не видно»), а как часть живого, струящегося потока. Как «уловленное мгновение»...

Вот почему его картины жаждали за ранее сочиненными, а как бы подсмотренными, на лету выхватанными из жизни...

ДО И ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ

Вот мы и приблизились к тому времени, когда семеро отверженных решили наконец заняться устройством первой совместной выставки.

Принять такое решение оказалось нелегко. Многие искренние друзья художников были убеждены в том, что прочного успеха можно и следует добиваться

только в Салоне. Критик Дюре умолял Камилла Писсарро отказаться от рискованной затеи. Эдгар Дега опасался, что выставку могут считать революционным протестом. Он предлагал «кразбавить» состав участников, пригласив как можно больше художников из числа выставившихся в Салоне, чтобы отвести возможные обвинения.

Пришлось поспорить и об уставе будущей организации. Писсарро с его постоянным стремлением к справедливости предложил строгую систему правил, обеспечивающих равные условия для всех. Ренуар, не терпевший вообще никаких правил — ни в искусстве, ни в жизни, — возразил... Наконец уладили и это. Оставалось одно — помещение; и тут на помощь пришел фотограф Надар, в прежние годы не раз посещавший кафе Гербуа.

Пятнадцатого апреля выставка на бульваре Капуцинок открылась, а еще через десять дней слово импрессионистов, давно уже витавшее в воздухе, впервые отпечаталось черным по белому на страницах сатирического листка.



Итак, одни называли новую группу импрессионистами, другие (в их числе и Золя) — натуралистами. Людям порозю свойственно вкладывать в один и те же слова различный смысл. Вот почему факты всегда надежнее условных наименований.

О том, как приняли выставку на бульваре Капуцинок, мы знаем. Издательские обзоры этой чрезвычайно комической выставки печатались даже в Америке. Жюль Кларети, известный критик парижского Салона, утверждал: «Писсарро, мадемуазель Моризо и прочие, видимо, объявили войну красоте».

Озлобленный вой не помешал Писсарро написать: «Выставка идет хорошо. Это успех. Критика нас поносит и обвиняет в отсутствии знаний. Я возвращаюсь к моим занятиям, что более существенно, чем читать все это».

Ничего другого друзьям и не оставалось. Осмеянные едва ли не всеми газетами, они покидали Париж, чтобы обрести утешение в труде, в общении с природой. Писсарро возвратился в Понтуаз. Сезанн уехал на родину, в Экс, Моне — в Аржантей, где он снимал маленький домик.

Вот уже несколько месяцев он обнадеживал владельцев этого домика будущим успехом. Теперь он вернулся с пустыми руками, а хозяин не желал больше удовлетворяться обещаниями. Моне с Камиллой и сыном очутились на улице, и тут на помощь подошел Эдуар Мане. Приехав в Аржантей, он помог Клоду снять другой домик, и они стали работать рядом.

Здесь совершенно Мане окончательно признал все преимущества работы на открытом воздухе. Его палитра с каждым днем прояснялась. Он писал берега с лодками, покачивающимися на тихой воде, — писал, любуясь ярким светом солнца, голубизной реки, зеленоватым мерцанием теней. Он просил Камиллу позировать (это она с сыном Жаном изображена в картине «Берега Сены в Аржантее»). Он писал и самого Клода, работающего в лодке, в своей «плавающей мастерской».

Писсарро, не имея возможности продать ничего из своих работ, вынужден был уехать из Понтуаза с семьей; его приютил на лето знакомый владелец фермы. Альфред Сислей тоже попал в беду: его отец внезапно разорился, и он остался без всяких средств с женой и двумя детьми.

Положение усугублялось еще и тем, что «Анонимное общество художников», сколоченное для устрой-

ства первой выставки, потерпело полную финансовую неудачу и задолжало более трех тысяч франков, имея в кассе всего около трехсот.

В поисках выхода решено было устроить распродажу картин с аукциона. Такие распродажи были довольно частым делом в Париже; происходили они (да и теперь происходят) в «Галере Друа», где картины предварительно выставляются для обозрения. Событию таким образом распродавались картины умерших или разошедшихся коллекционеров.

Когда для обозрения были выставлены картины импрессионистов, газета «Фигаро» написала, что они «производят то же впечатление, какое производит кошка, разгуливающая по клавишам пианино, или обезьяна, случайно завалявшаяся коробкой красок».

Эти строки послужили сигналом к беспремерному издательству. Распродажа прошла в атмосфере скандала; публика свистала и выла, предлагая цены, которые подчас не окулали стоимости рам.

Правда, были среди присутствующих и такие, кто пытался поднять цены, но их одинокие голоса топили в свисте и оскорбительных выкриках. После аукциона один из этих немногих сказал Клоду Моне: «Подумать только, что я потерял целый год, ведь я мог познакомиться с вашей живописью на целый год раньше. Как могли лишить меня такого удовольствия!»

Защищая этого человека Виктор Шоке, он был скромным служащим таможенного управления и откладывал каждый свободный франк на покупку картин. За долгие годы он собрал большую коллекцию работ Делакруа; руководясь только собственным вкусом и не беря в расчет общепринятые мнения, он с первого взгляда уловил импрессионизма и стал их верным другом и помощником в борьбе.

Но дружба и помощь таких людей, как Шоке, друг Клода Моне, Кайботт или Диоран-Рюэля, о котором я еще расскажу, не могла возместить импрессионистам того, в чем упорно отказывало им современное общество. Требовалось неуязвимое мужество, чтобы продолжать работу в условиях нищеты, неприязни и насмешек, ни на шаг не сходя с намеченного пути.



В такой обстановке открылась спустя два года вторая выставка «непримиримых», на этот раз в галерее торговца картинами Диоран-Рюэля, на улице Лепелетье. Вот что писал в те дни Альбер Вольф, влиятельнейший критик из «Фигаро»:

«Улице Лепелетье не повезло. После пожара Оперы на этот квартал обрушилось новое бедствие. У Диоран-Рюэля только что открылась выставка так называемой живописи. Мирный прохожий, привлеченный украшающими фасад флагами, азодит, и его испуганному взору предстает жуткое зрелище: пять или шесть сумасшедших... группа несчастных, пораженных манией тщеславия, собрались там, чтобы выставить свои произведения.

Многие лопочут от смеха перед их картинами, я же подавлен... Заставте понять господина Писарро, что деревья не фиолетовые, что небо не цвета свежего масла, что ни в одной стране мы не найдем того, что он пишет, и что не существует разума, способного воспринять подобные заблуждения... В самом деле, попытайтесь вразумить господина Дега, скажите ему, что искусство обладает определенными качествами, которые называются — рисунком, цветом, выполнением, контролем, и он рассмеет вас в лицо и будет считать вас реакционером. Или попытайтесь объяснить господину Ренуару, что женское тело — это не кусок мяса в процессе гниения с зелеными и фиолетовыми пятнами, которые обозначают окончательное разложение трупа!»

Возможно, не стоило бы приводить эту полную яда тираду, если бы последние слова не относились к картине, перед которой останавливаешься, не имея от радостного удивления. Речь идет о «Купальщице» Ренуара, хранящейся теперь у нас в Музее имени А. С. Пушкина. Об одном из поразительнейших творений живописи, где свет и цвет сливаются так пленительно правдиво, что кажется, будто ощущаешь влияние теплоты обнаженного тела и видишь, как пульсирует под кожей молодая кровь. Где все живет и лунится — от влажного сияния глаз до скользящих, неуловимо меняющихся прозрачных теней... Кажется, надо быть слепцом, чтобы не увидеть и не оценить по достоинству изысканную естественность рисунка, волшебную легкость ренуаровских кисти, акварельную прозрачность красок. Розовые, фиолетовые, синие, дымчато-голубые и зеленоватые тона мерцают, сливаясь в непрерывном движении, — так, что перед тобой возникает мгновение, остановленное навеки и вместе с тем живое. Прекрасное мгновение, запечатленное одним из поэтичнейших живописцев, каких знало искусство.

«ЖИВОПИСЕЦ СЧАСТЬЯ»

Пьер Огюст Ренуар (так звучало его полное имя) родился в семье многолетнего бедняка портного и с самого раннего детства учился «жить припеваючи» даже тогда, когда в доме не бывало куска хлеба.

Тринадцатидесяти лет он уже владел ремеслом: расписывал чашки и блюда на фарфоровом заводе. Перепачканная красками рабочая блуза была на нем и тогда, когда он пришел в Школу изящных искусств.

В ателье Глейра он подбирал пустые тубы из под красок, брошенные другими учениками. Выжимая их до последней капли, он мурлыкал под нос что-то беззаботно-веселое.

На дискуссиях в кафе Гербуа он больше помалкивал, терпеливо выслушивая самые различные теории. Сидя за мольбертом, он пел. Его брат Эдмон рассказывал, что едва Огюст начинает писать, его лицо светлеет.

Уже будучи известным художником, он «картавил и тянул слова, как простой рабочий». В нем не было ни тщеславия, ни гордости, и он от души презирал все и всеяние правила. Он говорил о себе, что «подержим болезнью искания». К зрелым годам у него один глаз стал меньше другого — от постоянного «прищипывания» к натуре.

Его неприязнь к системам и правилам и желание жить по-своему были так велики, что он сам называл себя «пробкой, брошенной в воду и уносимой течением». «Я никогда не знал сегодня, что буду делать завтра», — говорил он. Продолжая его мысль, хотелось бы сказать, что течение, которое его уносило, было широким и сильным течением жизни; хотел того Ренуар или нет, оно несло его к новым берегам...



В 1876 году, когда была написана «Нагая женщина» (так названа в Музее имени А. С. Пушкина ренуаровская «Купальщица»), он познакомился в доме у писателя Альфонса Доде с известной артистической труппой «Комеди Франсез» Жанной Самари.

Необыкновенная одухотворенность и живое извещество этой любимицы парижан покорили Ренуара.

ра, и он решил написать ее портрет — тот самый, что висит теперь неподалеку от «Купальщицы».

Не знаю, много ли наберется в мировой живописи портретов, где так естественно сочетаются мысль и чувство, румянец жизни и обаяние человеческого разума. Кажется, вот-вот улыбнется и заговорит эта синеглазая и рыжеволосая женщина, так умно и доброжелательно глядящая на вас, подперев щеку рукой.

Но вот что писал об этом портрете критик Роже Баллю: «Должен заявить, что я не понимаю портрета госпожи Самари. Знакомая голова очаровательной модели совершенно теряется на этом грубом розовом фоне. Губы и руки художник вынужден был моделировать синим, чтобы хоть как-то выявить утопающее в общем блоке лицо. Ничто, я полагаю, не может быть более далеким от правды...»

Что можно сказать о такой оценке (как и об оценках Альбера Волфа, приведенных выше)? Разумеется, ни тот, ни другой не были слепы; более того, они считались знающими людьми. Они выражали вкусы и взгляды многих современников.

Размышляя об этом, я вспоминаю рассказ об одном епископе, не раз повторявшем в своих проповедях, что в небе должно летать ангелам, а удел человека — ходить по земле. Фамилия епископа была Райт, он имел двух сыновей, которых звали Орвилл и Виллбур. Если проповеди епископа иногда и вспоминают, то лишь потому, что каждый школьник отлично знает, куда поднялись братья Райт.

Ренуар и его критики были людьми одного поколения; и тут уместно подумать о долге художника, об его ответственности перед собой, перед современностью и перед будущим.

В самом деле, что, если Б. Ренуар стал писать так, как этого желали Альбер Волф и многие другие, чьи вкусы выражал этот многозначный критик? Здесь я снова забегу вперед, чтобы рассказать о поучительной истории, связанной с неизвестной нам Жанной Самари.

После катастрофических неудач, постигших первую, вторую и третью выставки импрессионистов, Ренуар впервые заколебался. Он был подавлен многолетней нищетой, невозможностью устроить свою личную жизнь (как раз тогда он познакомился с Алисой Шериго, будущей женой) и решил выставиться в Салоне. Он говорил: «Я не желаю считать что-либо плохим или хорошим в зависимости от места, где это повешено».

Тем самым он хотел подчеркнуть, что, выступая в Салоне, намерен оставаться самим собой и не думать меня, что-либо в своей живописи. Но... достаточно посмотреть другой портрет Жанны Самари, написанный для Салона и хранящийся теперь в Эрмитаже, чтобы убедиться, как трудно было художнику оставаться верным себе и в то же время угождать господствующему вкусу.

Куда девалась покоряющая свежесть живописи, улыбка легкости кисти, прозрачность сияющих, светозарных красок! Кажется, вместе с внутренней свободой ушел, померк свет солнца. Все потускнело. Жанна Самари стоит во весь рост, позировав, как принято было в салонных портретах, на условно-нарядном красно-коричневом фоне, чужом, как декорация у фотографа. Только лунный блеск глаз и очаровательная деликатность позы напоминают, что это и есть та прежняя Жанна, которую мы впервые увидели в полном сиянии дня.

К счастью, талант Ренуара всегда брал верх над неустойчивостью его характера. Получив деньги за выставленные в Салоне работы, он снял на Монмартре домик с большим залупленным садом, где соби-

рались его друзья. Там и написана прелестная сцена «в саду», которую можно увидеть теперь в Музее имени Пушкина. Разумеется, то была картина не для Салона, и понадобилось еще немало времени, чтобы люди по достоинству оценили эту произвину солнцем живопись.



Природа не раз «испала» Ренуара в часы сомнений. Он создал свой жизнерадостный стиль в лесу Фонтенбло и на берегах Сены, работая рядом с Моне в Буживале. Но в отличие от Клода, для которого деревья, небо, скалы или море были достоянием источником вдохновения, глаз Ренуара всегда искал человека.

В его пейзажах жизнь природы и жизнь человеческая так слиты, что вы, глядя на его холсты, как бы входите в мир, полный движения, света, шестеста листьев и людских голосов. В его портретах, писанных на открытом воздухе, женщины и дети напоминают вам живые цветы.

Ренуар писал и мужские портреты, но больше любил писать женщин и детей, — вероятно, потому, что здесь мог полнее выразить свою любовь и прекрасному.

Но его понимание прекрасного очень существенно отличается от привычного смысла, который вкладывали в это слово академики. Однажды он сказал: «Любой наблюдательный человек заметит, что, несмотря на простоту законов, управляющих жизнью, все творения природы бесконечно разнообразны... Два глаза, даже на самом красивом лице, всегда чуть-чуть различны, нос никогда не находится в точности над серединой рта; долики апельсина, листья на деревьях, лепестки цветка никогда не бывают совершенно одинаковыми. Кажется даже, что все прекрасное черпает свое очарование именно из этих различий...»

Посмотрите портреты Ренуара, и вы увидите, какую жизненность и обаяние придают им эти тонко подмеченные «неправильности».

Женщины Ренуара не похожи на мраморных салонных красавиц. Это парижские продавщицы, прачки, белошвейки, актрисы, подруги художников, не знающие уныния, живые, веселые, готовые после трудового дня танцевать до упаду при свете бумажных фонариков под открытым вечерним небом.

Из глазами смотрит на вас сама душа Франции. В их облике выражена безмерная любовь художника к своей стране и своему народу. Не зря в письме из Италии (куда он попал впервые сорокалетним), очарованный гением Рафаэля, Веронезе и Тьеполо, Ренуар признался: «Самая уродливая парижанка лучше самой красивой итальянки...»

ГЛАВА IV

ГОДЫ ИСПЫТАНИЙ

«М» не все труднее и труднее, — писал осенью 1875 года Клод Моне Эдуару Мане. — С позавчерашнего дня у меня нет ни сантимата, нет больше кредита ни у яхсника, ни у булочника. Хотя я и верю в будущее, но вы сами видите, что мне очень тяжело в настоящем».

Такова была действительность после второй выставки импрессионистов, где Клод показал восемнад-

цать полных жизни и солнца полотен, написанных в Аржантее (ныне почти все эти картины хранятся в Лувре).

Теперь он увлекся новой темой, проводя недели на парижском вокзале Сен-Лазар. Множество людей, клубы дыма и пара под стеклянным навесом, последние тела локомотивов — все это привлекало особенной, незиданной живописностью. Клод чувствовал себя открывателем нового мира, устанавливая свой мольберт то в одном, то в другом месте вокзала.

Но и эти необычные пейзажи, показанные на третьей выставке импрессионистов, не имели никакого успеха.

Между тем здоровье жены Клода Камиллы, порванное постоянными невзгодами, день ото дня ухудшалось. Она так и не смогла оправиться после тяжелых родов и умерла в сентябре 1879 года.

Даже в этот горестный час Клод не оставил кисти. Позднее он рассказывал, как смотрел на рассвете на мертвую Камиллу, оцепенев от горя, и вдруг почувствовал, что его взгляд, помимо воли, отмечает синие, серые и желтые тона, наложенные смертью на ее лицо. Ужас охватил его. Он не мог не написать Камиллу в последний раз. Глотая слезы, он сравнивал свою участь с участью лошади, осужденной всю жизнь вращать мельничный жернов.

То были такие раздумья. Всплышка горя молнией озарила самое страшное, и Клод Моне вдруг увидел себя узником собственных открытий. Свет и цвет — вот за что он бился, вот ради чего обрел себя, Камиллу, детей на годы лишений. Цвет, свет — и ничего более...

Но разве этого мало? Разве не здесь пролегла дорога к обновлению, правде, к большому искусству сегодняшнего дня? Должен же был кто-нибудь протопить ее!

Все это надо было бы продумать до конца, но жизнь не позволяла задумываться надолго. На руках у Клода осталось двое сыновей, о них надо было теперь позаботиться и за себя и за Камиллу.



Писсарро тоже бился с нуждой, обращаясь время от времени за помощью к разбогатевшему кондитеру и владельцу ресторана Мюреру. Несколько лет назад Мюрер пригласил Ренуара и Писсарро расписать кондитерскую, а затем купил у них несколько картин, что дало ему повод считать себя в некотором роде покровителем искусств (хоть он и платил преимущественно натурой — обедами в своем ресторане, хорошо зная, что голод не тетка).

Позднее он стал устраивать для художников еженедельные обеды по средам; это льстило его тщеславию, а обходилось не так уж дорого. Сислей и Ренуар были среди тех, кто иногда пользовался щедротами этого расчётливого, хоть и незлобного буржуа.

Такого рода покровительство не могло, разумеется, изменить положение, тем более что беда была не только в материальной нужде. Гораздо более страшным оказалось всеобщее равнодушие.

Под двойным гнетом нужды и безразличия не мудрено было надломиться. «Я устал от такого длительного прозябания», — писал Альфред Сислей в Лондон, сообщая своему другу о решении представить работы в Салон.

Сезанн, готовый, как всегда, быть отвергнутым, лишь бы привести в ярость жири, тоже решил по-

слать работы в Салон. В Салоне, как прежде, выступал и Эдуар Моне. Моне уехал и не желал появляться в Париже. В такой обстановке непоколебимый Писсарро бился за организацию четвертой выставки.

Камилл Писсарро был единственным из группы основателей, кто не покинул поле боя ни разу. В наиболее мрачные годы, когда самые стойкие отказывались, он один оставался на посту. Но даже и этот мужественный боец не смог бы продержаться до конца, если бы не подоспела помощь Дюран-Рюэля.

Роль этого человека в истории новой французской живописи я решился бы сравнить с ролью нашего Третьякова. Подобно Пезлу Михайловичу Третьякову, торговец картинами Дюран-Рюэль обладал многими «антикупеческими достоинствами» (выражение Третьякова). С давних пор он поддерживал все новое. Он первым стал приобретать произведения барбизонцев. Он был среди тех немногих, кто не отвернулся от Гюстава Курбе в тяжелые дни.

Еще за несколько лет до первой выставки импрессионистов Дюран-Рюэль обратил внимание на их работы. Он приобрел первую картину Эдуара Моне, выставленную в Салоне, а затем стал покупать по-немногу у Моне, Писсарро и у Сислей — самого тяжелого и самого неудачливого из друзей.

Хотя Альфред Сислей считался британским подданным, он был французом и по рождению и по безграничной любви к земле, на которой жил. Даже немногие его пейзажи, хранящиеся в наших музеях, достаточно внятно рассказывают о том, какой это был наблюдательный, правдивый и поэтический живописец. Самые простые мотивы преображались под его кистью, как бы открывая зрителю душу природы, ее затененную красоту.

В самом деле, посмотрите хотя бы «Мороз в Лувезеннен». Кажется, что может быть неприхотливее: десяток разбросанных домов, покосившийся забор, несколько голых деревьев. Но как верно передано здесь само дыхание зимнего вьюного дня, когда в зеленоватом небе стоит морозная дымка, тени густо синеют, а вершины деревьев горят холодным пламенем под лучами солнца.

Несколько строк французского писателя Жоржа Дюамеля кажутся мне написанными именно об этом пейзаже: «Солнечным утром в конце февраля я покажу вам березовые ветви на фоне лазурного неба. Каждая тонкая веточка кажется обаятой пурпурным огнем, и сквозь это прелестное сияние на вас с чудесной нежностью смотрит небо. Ждите, внимательно присматривайтесь и не уходите, пока не поймете. Это — такое ощущение счастья, что можно терпеливо ждать зимы, лишь бы снова появился этот чудесный свет».

«Мороз в Лувезеннен» был показан на первой выставке импрессионистов. Впоследствии Сислей написал еще очень много картин, полных тонкой, негромкой поэзии, и умер в последний год девятнадцатого века, так и не получив признания.

Но вернемся пока к Дюран-Рюэлю. Многие считали его попросту сумасшедшим: какой же нормальный купец станет вкладывать деньги в находовой товар? И действительно, получился так, что Дюран-Рюэль остался на время без средств и не мог более приобретать картины у импрессионистов. Но как только дела фирмы улучшились, он снова послал им на помощь. Причем теперь, в отличие от прошлых лет, предлагал непопулярные цены, но платил на расчёт, помня, чтобы художники могли спокойно работать.

Казалось бы, наступают лучшие времена, пришло желанное облегчение. Но, как ни странно, именно теперь раздоры между друзьями стали усиливаться. Попытки организовать очередную выставку натолкнулись на всеобщую несовторчивость, и Писсарро пришлось, как всегда, заняться примирением. Ренуар при этом обвинил его в «политических и революционных тенденциях», с которыми не желал иметь ничего общего. Сам он согласился участвовать в выставке при условии, что его картины будут представлены не им самим, а Дюран-Рюэлем.

Нет, беда была, оказывается, не только в материальной нужде, заставляющей каждого искать свой собственный выход. Как видно, всем вместе и каждому в отдельности не доставало чего-то главного, что могло бы спаять их накрепко перед лицом общей цели. Быть может, не доставало именно тех «политических и революционных тенденций», в которых Ренуар обвинил Камилла Писсарро.

С течением времени эта нехватка ощущалась все явственнее. Другой одолевала сомнения. Ренуару вдруг стало казаться, что он не умеет ни писать, ни рисовать и зря отдал столько времени работе на открытом воздухе. Его снова потянуло в музей, к «чистой линии» Энгера. Клод Моне жаловался Дюран-Рюэлю, что не находит удовлетворения в том, что делает. Порой ему казалось, что он теряет рассудок. Во время одного из подобных приступов он уничтожил несколько своих картин, а затем глубоко жалел об этом. Дега все более замыкался.

В отличие от своих друзей он не знал материальной нужды. Быть может, именно поэтому его судьба (как и судьба Эдуара Мане) с особой ясностью свидетельствует об истинной причине бед и несчастий.

Непризнание — вот едва ли не самое тяжкое, что может постигнуть художника. Оно никогда не бывает беспринципным, и такой человек, как Дега, не мог не сознавать, что дело тут было вовсе не в недопонимании, невежестве буржуа или слепоте критики. Слишком глубокий был идейный разлад между буржуазным обществом и художниками, чересчур неприимными взгляды...

В такой атмосфере готовилась восьмая выставка импрессионистов. Она открылась весной 1886 года в здании на углу улицы Лафитт и Итальянского бульвара без Клода Моне, без Сислея, без Ренуара. Все понимали, что это последняя выставка группы.

Единство было утеряно навсегда. Даже Дюран-Рюэль испытал на себе последствия бессмысленных распри, разлада и взаимной враждебности. Многие из тех, кому он помогал в тяжелые дни, теперь отворачивались от него, прибегая к другим, более оборотистым торговцам, если это сулило выгоду.

Один лишь Камилл Писсарро, выстоя до конца, оставался прежним. Глядя на всеобщий разброд, терпя одного за другим друзей, он писал старшему сыну: «Это так похоже на людей и так грустно...»

ГОРЬКИЕ РАДОСТИ

В 1881 году близкий друг Эдуара Мане Антонен Пруст, чей портрет вы можете увидеть в музее имени Пушкина, получил пост министра изящных искусств в кабинете социалиста Гамбетты.

Это была радостная новость, и не потому лишь, что Пруст был в дружбе с художником. «Наконец все-таки появился министр, который понимает, что во Франции существует живопись», — писал Ренуар, узнав о новом назначении.

Пруст был действительно человеком широких взглядов; заняв свой пост, он первым делом приобрел для государства ряд картин Гюстава Курбе. Это был посмертный триумф великого национального живописца.

Затем Пруст внес в список представленных к ордену Почетного легиона Эдуара Мане.

Пруст, несомненно, знал маленькую слабость своего друга: Мане давно мечтал о красной орденой ленточке и не далее как три года назад имел по этому поводу серьезную стычку с Эдгаром Дега, презиравшим ордена и награды.

Теперь Мане получил желаемое. Были у него и две медали, присужденные Салоном. Но все это и не пахло счастьем. Когда граф Ньюверкерке передал ему свои лицемерные поздравления, Мане ответил: «Можете сказать ему, что я ценю его нежное внимание, но что он сам имел возможность дать мне эту награду. Он мог сделать меня счастливым, а теперь уже слишком поздно компенсировать за двадцать лет неудач».

Да, теперь было слишком поздно. Вот уже пятый год Мане тревожила боль в ноге; временами она усиливалась, мешая работать, и он вынужден был проводить долгие месяцы в деревне, сидя в саду. Правда, он использовал вынужденную неподвижность, ставя перед собой мольберт и наблюдая ту волшебную игру солнца в зелени деревьев, что так привлекала Моне и Ренуара. Но его тянуло к большому полотну, и он все-таки являлся, преодолевая боль, за свою последнюю композицию.

«Бар в Фоли-Бержер» — картина, которую он выставил в Салоне 1882 года, была написана широко и свободно, с невиданным мастерством. Замысел же был ошеломляюще необычен: девушка стоит за стойкой, глядя на вас, а в зеркале позади нее отражается весь бар с массой людей, сидящих за столиками, и фантастическим блеском огней. (Этот прием, впервые найденный Эдуаром Мане, впоследствии лег наезд, с успехом применяется и сегодня кинематографистам.) Но современная публика холодно приняла картину, где «героиней» опять-таки была особа «низшего круга», и Мане с присущей ему иронией сказал Альберу Вольфу, что ничего не имел бы против прочтения, пока еще жив, великолепную статью, которую тот напишет после его смерти.

Это были слова, полные самых мрачных предчувствий. Через год он слег. Начался паралич левой ноги, ее пришлось отнять, чтобы избежать гангрены. Но операция не помогла. 30 апреля 1883 года Эдуар Мане умер, едва перевалив за пятьдесят лет.

Его интерес к современной жизни еще только разгорался; уже будучи больным, он рассказывал, как однажды взобрался на паровоз, в кабинет машиниста и кочегара. «Эти два человека представляли замечательное зрелище. Эти люди — вот современные герои! Когда я выздоровею, я напишу картину на этот сюжет!..»



Клод Моне примчался в Париж, послав на многочисленные похороны. Он жил теперь в Живерни; вот уже около двух лет он был женат на вдове богатого коллекционера Гошеда. Нужда ушла навсегда в прошлое, а облегчение не приходило. Его работы изредка продавались благодаря усилиям Дюран-Рюэля, но в общем-то публика принимала их равнодушно.

Клод с горьким чувством наблюдал все, что происходило вокруг своей могилы. Не прошло и года

после смерти Мане, как открылась выставка его произведений. И где же? В той самой Школе изящных искусств, которая никогда не признавала ни таланта Мане, ни его права прокладывать новые пути.

На выставке было полнолюди. Альбер Зофф утверждал всем и каждому, что всегда любил Мане. Распродажа показала неслыханный результат — сто шестидеять тысяч франков! Что ж, все меняется, жизнь идет вперед, и теперь французам понадобилось куда меньше времени, чем голландцам, признавшим Рембрандта лишь через двести лет после его смерти.

Ренуар, Моне, Писсарро, Сислей и Дега вынуждены были покидать разделять удел живых. Персональные выставки этих живописцев, устроенные неутомимым Дюран-Розелем в Париже и Лондоне, не принесли успеха.

Настроение было самое мрачное. Ренуар и Моне решили поехать вместе к морю, на Лазурный берег. Но воскресить времена Буживала оказалось невозможно. Теперь им трудно было работать вместе, и не потому лишь, что раздоры последние лет расшатали прежнюю дружбу. Тогда, в Буживале, они шли вместе вперед, охваченные каждой открытий. Теперь общность дерзаний исчезла, каждый предпочитал искать выход в одиночку — по своему разумению.

ВСЕ ДЛИННЫЙ ПУТЬ

Теперь, когда мы приблизились к итогу многолетних исканий, борьбы, побед и поражений, я испытываю потребность оглянуться еще раз и охватить взглядом весь долгий путь, пройденный импрессионистами.

Задумываясь над тем, как лучше это сделать, я вспоминаю один из многих залов Эрмитажа — свои любимейший, зал Рембрандта.

Не помню, сколько раз я бывал в этом зале. Во всяком случае, с юных лет я не уходил из Эрмитажа, не побывав здесь и не проведя хотя бы часа перед полотнами, которые, казалось, знаю на память во всех подробностях.

И тем не менее мне случилось недавно увидеть эти картины по-новому — так, как никогда еще их не видел.

Произошло это, возможно, потому, что на этот раз я пришел только к Рембрандту. Я давно уже намеревался поступить так, но все не получалось: то сворачивал по пути к Гитеру Брейгелю, на его озорной мужицкий праздник, то останавливался у Франса Гальса, чтобы порадоваться буйному размаху его кисти, или же заходил в тот зал, где хранится драгоценнейшая жемчужина: единственный в Эрмитаже холст Эль-Греко.

Но теперь я шел через величавые анфилады, не глядя по сторонам; хотелось до конца испытать то, о чем не раз говорил с друзьями: искусство бесконечно многообразно и в то же время глубоко индивидуально. Нельзя, невозможно воспринимать одновременно самых различных художников, сотни самых разных картин, в каждую из которых вложено столько мыслей, чувства, а нередко и страданий. Если вы по-настоящему любите искусство и хотите понимать его по-настоящему, то наверняка должны иметь любимых живописцев, к которым будете приходить, словно к близким людям, возвращаясь — сегодня к одному, завтра к другому — и всякий раз унося что-то новое и очень нужное вам.

С этой мыслью я переступил порог зала Рембрандта и остановился у первой картины — у «Флоры», написанной, когда Рембрандту было двадцать восемь лет.

Я знал, что ожидающая ребенка женщина, улыбающаяся мягко и чуть стыдливо, — это Саския, любимая жена художника. Я знал, что портрет написан в дни безоблачного счастья, когда не было и отдаленного предчувствия грядущих гроз. Тем ясным счастьем и светлыми картинами.

Причудливый наряд Саскии отливает всеми оттенками золота; нетрудно было представить, как наслаждался Рембрандт, наряжая жену, любящую его и сознавая себя способным запечатлеть этот миг навсегда.

Мастерство Рембрандта уже тогда было блистательным. Но от года к году оно менялось. Переходя от «Флоры» к другим картинам, я шел как бы по ступеням жизни художника. Я видел, как меняются глаза людей, которых он писал, как на место светлой юношеской улыбки приходит мудрость зрелых лет, а затем и печаль. Я видел, как в трагическом горниле жизни накалялись краски и как безмятежно гладкая поверхность картин вскипает гневом и состраданием, делясь беспокойной, бурной. Я видел, как от года к году все меньше привлекает художника внешний блеск бытия: золотое шитье наряда Флоры, розовящие на свету кончики пальцев Даная, алые подвески ее браслетов, ее парчовые туфельки. Как все это занимало Рембрандта смолу! Но взгляните на покойно сложенные руки седебородого «Старика в красном», тяжелые руки с набрякшими венами, — вы прочтете в них суровую историю целой жизни.

И наконец еще один старческий руки, руки слепого отца на плечах блудного сына. Дрожание от горя и счастья узловатые пальцы на драмном рубце...

В этой картине, написанной Рембрандтом незадолго до смерти, нет ни золота, ни парчи, ни блеска драгоценных камней — ничего, кроме драгоценнейшей правды человеческого чувства. Вся ложная мудрость вековых правил отступает перед простой, одетой в рубище правдой. Быть может, современникам Рембрандта казалась безумной смелость кисти, подчинявшейся только сердцу художника. Даже и сегодня поражаешься огнестойкости силе и свободе мазка — то прозрачного так, что просвечивает холст, то густого, будто струи горячей лавы.

Двадцать пять эрмитажных картин Рембрандта, от «Флоры» до «Возвращения блудного сына», если их смотреть одну за другой, лицом к лицу с жизнью художника и его временем, приносят сверх наслаждения прекрасной живописью еще нечто такое, что трудно передать словами. Это великая школа искусства, меняющегося вместе с жизнью. Великая школа правды.

Я рассказывал об этом потому, что хотел бы вместе с вами окинуть взглядом весь долгий путь Клода Моне, пройти от холста к холсту по ступеням его жизни. Я выбираю Клода Моне по двум причинам. В наших музеях можно увидеть восемнадцать холстов Моне — лишь небольшую часть его огромного наследия. Но эти восемнадцать холстов (как и двадцать пять эрмитажных картин Рембрандта) охватывают очень большой период жизни и позволяют проследить, с чего начинал и к чему пришел художник. И еще я выбираю Клода Моне потому, что в его творчестве сказались не только сила нового течения, но и слабость. Сказалось то, в чем позднее несправедливо упрекали его товарищей — Камилла Писсарро, Эдуара Мане, Эдгара Дега.

Давайте же теперь, когда мы знаем страницы жизни Клода Моне, пройдем еще раз от картины к картине. Начнем с «Завтрака на траве», где краски еще глуховаты, контуры жестки, а тени коричневые и непрозрачны. Здесь есть стремление стать лицом к лицу с природой, есть смелость замысла, но нет еще знания. Собственное зрение художника еще затуманено. Увлеченность творчеством Гюстава Курбе и Эдуара Мане мешают Клоду взглянуть на мир своими глазами.

И вот «Дама в саду» — одна из героических попыток «прозреть»... Как это трудно! Как неподатливы краски! Вот загорелся прозрачным огнем зонт Камиллы. (Это она стоит у клубы с цветущим шалфеем.) Свежо зазеленела трава... Но тени еще непрозрачны, бесцветны, и зелень в глубинах сада черна, и небо на картине кажется попросту выкрашенным голубой краской, а ведь оно голубое и в то же время вовсе не голубое. Оно мерцает, переливается...

Теперь мы с вами знаем, что цвет неба есть не что иное, как рассеянный свет солнца, непрерывная вибрация, живой трепет спектральных частиц — фиолетовых, синих, зеленых, желтых и красных. Клод Моне добывая это знание по крупицам, но как же радостно было прозрение!

Подойдем снова к «Бульвару Капуцинок», взглянем в этот праздник раскрепощенного глаза. Пелена развевалась, и нет больше глухих, неподатливых красок, есть лишь мерцание воздуха, окутывающего все, придающего краскам новую жизнь. В этом живом взаимодействии воздуха и света постоянно меняются цвет. Сияющее небо переливается бесчисленными оттенками зеленоватых и тепло-розовых тонов, а дома на бульваре Капуцинок — запыленные, серо-синие дома Парижа — вдруг светлеют, согреты солнцем, и как бы сами начинают лучиться теплым, радостным светом.

Итак, неизменные красок в природе нет; все, что мы видим, есть результат постоянного движения, непрерывной смены условий, создаваемых жизнью природы. Чтобы уловить и запечатлеть эту текучую игру, необходимо научиться многому. Надо изощрить свое зрение. Надо сделать свою кисть быстрой, чтобы она поспевала за глазом. И, главное, надо всегда оставаться верным силе первого впечатления, воспринимая природу взволнованным чувством...

Вот «Берег реки» и «Сад в Монжероне», хранящиеся у нас в Эрмитаже. Эти большие холсты написаны спустя три года после «Бульвара Капуцинок». В их размерах слышится отзвук первых героических усилий Клода писать огромные полотна на открытом воздухе. Но как далеко ушла его живопись со времен «Завтрака на траве» или «Дамы в саду! Какими назывными кажутся теперь подробности вроде сердца, произведенного стрелой, что вырезано на коре дерева, под которым лежал Базиль, позирова Клоду! Верность правде художник ищет теперь не в мелочном правдоподобии; он и не стремится попросту подражать природе. Он хочет проникнуть в ее тайны, познать ее душу и шаг за шагом достигает этого.

Моне говорил, что хотел бы родиться слепым, а затем внезапно прозреть, так, чтобы начать писать, не зная, что собой представляют предметы, которые он видит. Отрешенность от всего «постороннего» и эта неистовая жажда прозрения, желание еще и еще раз увидеть мир заново, по-иному — вот тут-то была и сила и слабость, залог побед и зародыш будущих поражений.

Клод Моне действительно умел, выражаясь словами поэта, «видеть как нечто доселе невиданное все, что есть в мире». Посмотрите хотя бы «Скалы в Этрета», удивительную поэму светозарных красок. Где-то там, за причудливой грядой береговых скал, садится солнце. Небо залито теплым желтым сиянием, и море отвечает небу орнаментально-золотыми отсветами. Синие-зеленоватые скалы как бы растворяются в струящемся воздухе, и как бы по воздуху плывет флотилия рыбачьих лодок. Вот и все. Никаких подробностей, ничего, кроме чистой поэзии цвета и света. Что ж, разве этого мало?

Но давайте шагнем через десятилетия и посмотрим «Луга в Живерни», написанные, когда трудности были позади, когда след за деньгами господи Гоше-де пришло запоздалое признание. Мы увидим то же теплое, золотистое небо, что простиралось над скалами Этрета, и тот же подающий мерцающий свет, но все здесь будто затнуто странной дымкой, каким-то туманящим маревом. Куда-то уходит, неумолимо исчезает безмятежная ясность. Кажется, начинает сбываться дурное пророчество одного из друзей Ренуара, который давно еще заметил, что импрессионистов отличает стремление трактовать сюжет ради его живописного тона, а не ради самого сюжета.

С течением времени Клод Моне все более отдалялся от волнующей искренности трудных лет Аржанте и Буживала. Он принес себя в жертву собственным открытиям, рассматривая природу лишь как предлог для изучения тончайших эффектов света.

С этой целью он принялся писать свои знаменитые «серии», изображая один и тот же мотив при разном освещении, в разные часы дня и времена года. Сначала это были «Стога» (А. В. Луначарский назвал их «меленькими поэмами»), затем «Тополя», «Соборы», виды Темзы, затнутой туманом...

Наконец, он устроил в Живерни сад с искусственным прудом, заросшим кувшинками, и проводил здесь неделю за неделей, создавая «красочные легенды» — подобие «белых кувшинок», которые можно увидеть теперь в московском музее.

Вы увидите там и два холста из серии «Соборы», где даже древний шершавый камень как бы растворяется в потоках мерцающего света. Посмотрите там же «Яйшки», а в Ленинграде — «Мост через Темзу». Радужный туман заволакивает обе картины, навсегда скрывая от нас лучезарную солнечность мира, открытого и запечатленного Клодом Моне.



Насмешкой судьбы было то, что именно такие картины, полные на упреждениях планиста-виртуоза, которому нечего играть, кроме этюдов и гамм, пользовались наибольшим успехом. Многочисленные «серии» распродавались, едва успева появляться на выставках. Художнику это не доставляло радости. Семьдесят лет было ему, когда он писал Дюран-Рюэлю: «Больше чем когда-либо я понимаю сейчас, насколько искусственным является мой неуспешный успех... Я заранее знаю, что вы найдете мои полотна превосходными. Я знаю, что, если их выставят, они будут иметь большой успех, но, поскольку я считаю их плохими и убежден в этом, все остальное мне безразлично».

В этих словах не было ни капли рисовки. Клод Моне был слишком серьезным и правдивым человеком, чтобы не сознавать, что на склоне жизни хоронит собственное дая.

А до сих пор в тени оставался один из участников первой выставки на бульваре Капуцинов, молчаливейший из посетителей кафе Гербуа, Поль Сезанн. Настало время приблизиться к его картинам.

Начнем с автопортретов. Вглядимся в лицо этого скрутого бородоха, похожего то на крестьянина (когда он в картузе), то на мудреца-кинькича (когда виден его крутой, могучий лоб). Сезанн был одновременно и тем и другим, соединяя в себе крестьянское упорное трудолюбие с испытующим разумом исследователя.

Он родился в Эксе, бывшей столице Прованса, в городке древних замков, старомодных аристократов и ученых-отшельников. В Париже его считали провинциальным чудачком. Старая, продавленная шляпа и синяя блуза рабочего, надетая поверх перепачканной красками холщовой рубашки, укрывали всех в таком мнении.

Об этом «дикаре и медведе» рассказывали забавные истории: бродя с этюдником в окрестностях Парижа, он забывает среди полей написанные картины. Никому неизвестно было, что тут и не пахло чудачеством. Поль Сезанн искал свой путь.

То были мучительные поиски. Сезанн вел их в одиночестве, сжигаемый сомнениями, пока не сблизился с Камиллоном Писсарро. Впоследствии он называл Писсарро «добрым богом» (и до конца жизни именовав себя его учеником).

Они познакомились в «академии» Сюиса, где двадцатидвухлетний Сезанн работал ежедневно с шести утра и до одиннадцати вечера. Писсарро был первым, кто заметил своеобразие молчаливого, одинокого провинциала и оценил его талант. Густая, тяжелая живопись Сезанна в то время казалась многим косноязычной и на диво неуловимой.

Глядя в Москве на одну из ранних работ Сезанна («В комнатах»), отчетливо понимашу, как чужда была будущим импрессионистам эта похожая на странный сон безвоздушная живопись с ее непрозрачно-глухими черно-серо-зелеными тонами.

Надо было обладать терпением и ненавистливой добродетельностью Писсарро, чтобы вывести Сезанна из тесного мира странных фантазий в широкий мир действительности. Лишь через десять лет после первого знакомства Писсарро уговорил неговорящего южанина провести несколько месяцев в Понтуазе и был счастливы, сообщая друзьям об успехах совместной работы.

И верно, именно в Понтуазе Сезанн обрел то, чего ему не хватало. Именно здесь его неистовая жажда познаний нашла твердую опору в изучении природы. Его палитра с каждой неделей светлела. Казалось, он с благодарностью усваивает основы импрессионизма. Но было в его живописи еще нечто сверх улыбки солнечности Клода Моне, сверх чистой поэзии Писсарро или Сислея, нечто такое, что дало Камиллу Писсарро повод заявить, что Сезанн еще поразит немало художников, поспешивших осудить его.

О том, как воспринимал сам Сезанн всеобщее осуждение, мы знаем: он продолжал работать. Он продолжал работать, когда провалился на экзаменах в Школу изящных искусств. Он продолжал работать, когда южери Салона отвергали его картины. Он продолжал работать под улюлюканье толпы, собравшейся однажды у витрины в Марселе, где он

выставил одну из своих картин (картину пришлось убрать, чтоб ее не разорвали в клочья).

Порой ему приходилось платить своими работами за краски для новых работ. Писсарро уговаривал лаваочника в Понтуазе принимать картины Сезанна в оплату за хлеб, сахар и кофе. Сезанн продолжал работать.

В 1874 году он писал матери: «Я начинаю считать себя сильнее всех, кто меня окружает». Никто, однако, не разделял это мнение; даже такой близкий друг, как Золя, признавал мастерство Сезанна, но отказывал ему в таланте. Никто пока еще не мог видеть цели, к которой так упорно стремился этот молчаливый, замкнутый человек.



Сезанн был необычайно вдумчив. Его размышления были медленны, но выводы неоспоримы. Он отчетливо видел опасность, подстерегающую импрессионистов. Он понимал, что преувеличенный интерес к эффектам света и чрезмерное доверие к впечатлению могут привести к «размыванию», а затем и к распаду формы. Он предчувствовал то, что случилось с Клодом Моне, когда тот писал свои «Соборы», и решил противопоставить расплывчатости устойчивость.

Живописец Морис Дени назвал Сезанна «Пуссеном импрессионизма». Внимательно посмотрев картины Пуссена (а их в наших музеях немало), вы сразу поймете, что он имел в виду.

Действительно, Поль Сезанн стремился, как он сам говорил, «в общении с природой оживить Пуссена», соединив классическую ясность построения с новейшими достижениями живописи. Взяв технику импрессионистов, он хотел ввести ее в пределы строго продуманной формы.

Менее всего он интересовался тем, что можно назвать иллюзией. «Обман зрения» он не ставил ни во что и намеренно пренебрегал эффектами «всамодельности», которых не чурались даже самые языкательные мастера.

Чтобы почувствовать это, достаточно посмотреть хотя бы «Мост над прудом» или «Берега Марны», как там написана зеленая деревьев и ее отражение. Сезанн не выписывает каждый листик, как это делали академические пейзажисты, но он и не применяет «мерцающий», податливый мазок Моне или Ренуара, чтобы передать общее впечатление, получаемое от пронизанной светом листвы. Он кладет краски так, чтобы соотношение тонов само по себе строило форму — устойчивую, «вечную», свободную от подробностей, и добивается удивительных результатов. Посмотрите, как написана вода в этих картинах — никакой «подделки», никаких поверхностных эффектов, «чтобы как живая». Те же сдержанные, скупые краски, которыми написана зелень, меняется лишь структуре, направление мазка — и цель достигнута.

Все это, впрочем, на словах получается просто и может показаться легко достижимым, если не знаешь, какого труда и какого напряжения мысли стоила Сезанну каждая его картина. Он был тружеником из тружеников. Работа до последнего дня жизни оставалась его единственной страстью, и если он, случалось, оставал в поле написанные картины, то вовсе не из чудачества или забывчивости, а лишь из не признающей никаких уступок требовательности ко всему, что делал.

Всякого рода условности — в искусстве и в жизни — были глубоко чужды ему. Получив наследство

после смерти отца и впервые освободясь от многолетней нужды, он нисколько не изменил своих правил: по-прежнему в шесть часов утра принимался за работу, и по-прежнему мальчишки свистели ему вслед, как юродивому, когда под вечер он шел улицами Экса, перепачканный красками, с этюдником, зонтом и складным мольбертом.

В Париже не знали как следует, жив он или умер; только немногие могли время от времени видеть его картины в лавчонке Жоржа Танги.

Имя этого человека так тесно вплелось в судьбы художников, о которых я рассказываю, что не могу не сказать несколько слов и о нем.

«Папаша Танги, как его называли еще, смолodu торговал разнородными красками. Не знаю, известна ли была еще где-нибудь такая «узкая» профессия; даже в Париже и его окрестностях, где полно было художников, такое «коробейничество» приносило не бог весть какую выгоду. О папаше Танги можно без охи и плача сказать, что он торговал больше из любви к искусству. До франко-прусской войны его нe трудно было встретить в лесу Фонтенбло, где он свел дружбу с «барбизонцами». Там он познакомился (а затем и подружился) с Писсарро, Моне и Ренуаром.

Папаша Танги был убежденным республиканцем, ненавидел «Наполеона Малого» и, как большинство истых парижан, готов был защищать свои убеждения не только на словах. Когда рабочие Парижа вышли на баррикады, папаша Танги оказался не в последних рядах. Как доброволец войск Коммуны, он был схвачен версальцами и отдан под суд трибунала. Только вмешательство художника Руара, близкого друга Дега и влиятельного человека, спасло папашу Танги от смертного приговора. Его со-слали.

Отбыв ссылку, папаша Танги вернулся в Париж слегка поседевшим, но большие темно-голубые глаза на сбросшем бородой круглом лице по-прежнему сияли добротой и простодушием. Ходить по лесам и полям, нагруженный красками, ему было теперь не под силу, и он сжал лавчонку на улице Клозель.

Писсарро, особенно расположенный к папаше Танги (он горячо сочувствовал его политическим взглядам), настойчиво спал ему клиентов. Правда, особенно прибили это не сулило, да что поделаешь... Папаша Танги слишком любил живопись и слишком сочувствовал беднякам, чтобы отказывать тем, кто не мог заплатить за холст и краски ничем другим, кроме своей дружбы и своих картин.

Так пономню лавчонка на улице Клозель превратился в своеобразный клуб непризнанных и стала одним из немногих мест, где всегда можно было увидеть картины Писсарро, Сислея, Моне, Сезанна (а затем и Ван-Гога). Папаша Танги охотно показывал их желающим; один американец, попавший на улицу Клозель, описывал забавную манеру папаши Танги: сначала оглядеть картину взором, полным нежной материнской любви, а затем посмотреть на вас поверх своих очков, как бы прося полюбоваться его любимым детищем.

Закоеженный пост, как видно, не принадлежал к сторонникам новой живописи. «Но», писал он, — независимо от моего собственного мнения я не могу не почувствовать, что искусство, способное внушить человеку такую преданность, в конечном итоге должно иметь значение не только для замкнутого кружка художников».

Действительно, папаша Танги, простая душа, как бы олицетворял в себе одну народную любовь к тем, чьи картины были проникнуты народным жизне-любием, любовью к народу.



Несколько ранних холстов Сезанна, долгое время хранившихся у папаши Танги, привлекали особое внимание молодых живописцев. Нельзя было не почувствовать, что здесь содержится нечто такое, чего не хватало создателям импрессионизма.

Между тем сам Сезанн упорно работал в своем добровольном изгнании, возвращаясь по многу раз к одному и тому же мотиву и никогда не удовлетворяясь результатами. Его главной целью было призвать разум на помощь инстинкту.

«Глаза и ум должны дополнять друг друга», — говорил он. — Надо усиленно работать над их взаимным развитием; наблюдать природу — над развитием глаза, логически организуя свои впечатления — над развитием разума. Многие логически организованное впечатление дает художнику необходимые средства выразительности.

Все это было неоспоримо верно. Но для того, чтобы мудрая заповедь воплотилась до конца, художник должен был обладать гармонией сознания и чувства. Сезанн такой гармонией не обладал. По складу своего характера он был чересчур склонен к анализу, к логическим построениям и самопроверке. Неодолимое желание вернуть живописи устойчивость формы еще более подталкивало его в эту сторону. Так образовался тот «перевес» сознания, благодаря которому от картин Сезанна и сегодня еще исходит, как некий таинственный тон, заложенное в них могучее напряжение мысли, но не исходящее необходимое тепло человеческих чувств.

Я не стыжусь признать, что картины Сезанна поражают меня, восхищают, но не вызывают душевного отклика, не волнуют. Его пейзажи необычайны. Трудно было бы жить в этом строго построенном, чересчур плотном, чересчур полном мире, где нет ни улыбки, ни слез, ни движения воздуха — одно лишь торжество пространства, объемов. Суровое торжество логики.

Глядя на картины Моне, Ренуара, Сислея или Писсарро, нетрудно определить не только время года, но и час дня, когда они написаны. Осень, весна, ведро, ненастье, утро, полдень — не ищите этого в картинах Сезанна. Он не останавливался, подобно Клоду Моне, чтобы выждать, упловить луч солнца. Ему не нужен был быстрый, подвижной мазок Ренуара, чтобы поспеть за мгновением. Все мгновенное, преходящее он отбрасывал, чтобы добыть постоянное, вечное. Красочное богатство мира он свел к нескольким сильным, простым тонам; вы без труда упловите его излюбленную скупую гамму — серо-зеленое, синее, охристо-оранжевое. Зелен, небо, земля...

Поль Сезанн стал в своем едва ли не двадцатилетнем изгнании живой лабораторией для будущих поколений. Его опыты нередко поднимались до вершин ясности и величия. Такие шедевры, как автопортрет из московского музея, повергают в изумление: как, какими чудодейственными средствами достигнута здесь выразительность? Нет морщин — но есть возраст. Нет привычных «бликов» в глазах — но есть пристальный, изучающий взгляд. Написано все в той же излюбленной гамме — серо-зеленое, охристо-оранжевое, но тут не земля, не зелень

листья — живое тело, густая седина бороды, могучий лоб мудреца.

Посмотрите «Человека с трубкой» — здесь вы тоже не найдете ни одного поверхностного эффекта, ни единой подробности ради правдоподобия, ради «всамделишности». Не вытекает дымок из фарфоровой трубки, зажатой в зубах человека, сидящего, опершись на руку, у стола. Его лицо вылеплено простыми и точными сопоставлениями оранжевых и серо-зеленоватых тонов. Все «частное», второстепенное, случайное здесь отброшено — и перед нами оказывается действительно вечное. Перед нами — французский крестьянин.

«Видеть натуру — значит выявлять характер своей модели», — говорил Сезанн. Здесь действительно с большой силой выявлен характер, тип — нет надобности описывать его словами. И все же, глядя на эту картину, испытываешь смутную неудовлетворенность. Хочется какой-то вспышки чувства, которая разом спланила бы все достоинства этой живописи, сделав их, быть может, менее очевидными.

Не вспахав земли — не посеешь, не вырастят пшеницы — не смелешь муки. Но мука, соль, дрожжи и пылающие угли никогда не заменят куса теплого хлеба.



Сезанн говорил: «По моему мнению, нельзя подменять собой прошлое, можно лишь прибавить к нему новое звено». Для молодого поколения художников живопись Сезанна и была тем новым звеном, которое он прибавил к завоеваниям импрессионизма. Но, восхищаясь его могучим и суровым талантом, нельзя было задуматься над тем, как же все-таки примирить разум с чувством, как достичь того гармонического единства, к которому мечтал Сезанн! Как соединить сезанновскую ясность, простоту и величественную строгость с одухотворенной живописью Ренуара, человечностью Камиллы Писсаро, богатством красок Клода Моне!

Каждый из тех, кому суждено было прибавить свое звено к драгоценной цепи, должен был найти свой собственный ответ на общий вопрос, исходок веков стоящий перед искусством: «Что же дальше?»

ГЛАВА V

ДВА ПОЛЮСА

Назадолго до открытия последней выставки импрессионистов в Париже появился никому не известный тридцатилетний живописец. Небрежно одетый, бледный, с клочковатой рыжей бородкой и пугающе пристальным взглядом, он производил впечатление до странности неуравновешенного человека, в противоположность своему брату Теодору Ван-Гог, которого хорошо знали в Париже.

Теодор Ван-Гог — «Тео», как обычно называли его художники, — в то время заведовал одним из отделений известной фирмы торговцев картинами «Буссо и Баладон». Молчаливый, застенчивый, хорошо разбирающийся в живописи, он готов был всячески помогать художникам, искавшим новые пути. Он делал все возможное, чтобы продавать картины импрессионистов, и порою шел на риск, выставляя их работы для продажи вопреки желанию своих хозяев.

Его ценили за скромность, доброту и отзывчивость; но мало кто знал, на какое самоотречение

способен Тео, отказавшийся от всех радостей жизни ради старшего брата, Винсента.

Винсент Ван-Гог был человеком на редкость нескладной судьбы. Он родился в добропорядочной пасторской семье в Голландии и с детства отличался чрезмерной задумчивостью. Шестнадцати лет его отдали учеником в отделение торговой фирмы Гупль «Эстампы и современные картины».

Этот выбор был не случаен: в роду Ван-Гогов издавна одни становились пасторами, другие торговали картинами. Отдавая Винсента в учение, его отец, вероятно, думал лишь о том, чтобы пристроить сына к делу. Вряд ли кто-нибудь в семье предполагал, что этот молчаливый угловатый парень страстно мечтает кнести людям добро через искусство.

Шесть лет постылой приказничьей службы убедили Винсента, что торговля картинами ничуть не отличается от торговли тюльпанами на голландских рынках, и он бросил все, чтобы сделаться миссионером.

Его увлечение религией было основано на том же неутоленном стремлении кнести людям добро. Потребовалось еще несколько трудных лет, чтобы убедиться на собственном опыте, как мало добра несут людям религия и даже самые искренние миссионеры; здесь особую роль сыграли два года, проведенных в шахтерском Боринаже, куда Винсент ушел пешком проповедовать евангелие.

Жизнь задавленных непосильной работой горняков — нищета, голод, болезни, катастрофы на шахтах — все это с большой силой действовало на впечатлительного Винсента. Именно в Боринаже он решительно и навсегда порвал с религией и сделал первые свои рисунки.

Теодор Ван-Гог, к тому времени поступивший на службу к торговцу картинами, с необузданной чуткостью отнесся к попыткам брата. Всаски ограничивая себя, он посылал каждый свободный грош Винсенту, чтобы тот мог совершенствоваться в избранном деле.

По свойству своей натуры Винсент Ван-Гог не способен был заниматься чем-либо «вполсилы». Начав рисовать в возрасте двадцати шести лет, он работал с необузданной самоотверженностью, чтобы наверстать упущенное время. Наконец он обрел свое действительно призвание, и ничто теперь не могло бы заставить его свернуть с избранного пути.

Учителей он, в сущности, никогда не имел и должен был полагаться на свои силы, считая жизни самым верным учителем. Он без устали рисовал и писал с натуры, изучал анатомию и перспективу, читал и ходил в музеи, когда это было возможно.

Тридцать лет исполнилось ему, когда он послал брату в Париж свою картину «Едоки картофеля», где была изображена крестьянская семья за ужинам при свете керосиновой лампы. Эта картина, полная самой неказистой правды, «отдающая салом, дымом и картофельным паром» (слова Винсента), не могла, разумеется, иметь успех в Париже. Она осталась непроданной, как и многие другие картины и этюды, которые все чаще посылал Теодору Винсент.

Теперь он сам приехал в Париж, испытывая после долгих лет одиноких скитаний настоятельную потребность найти друзей и единомышленников.

Назадолго до этого времени он увлекся «беседами о живописи» Эжена Делакруа. Мысли о выразительной силе цвета нашли в нем самый горячий отклик, и Делакруа занял в его сердце место рядом с Рембрандтом и Милле.

Свои первые картины Ван-Гог писал в густых и темных, коричнево-зеленоватых тонах. Теория Эжена

Делакруа пробудила в нем желание обогатить палитру. Об импрессионистах он знал до приезда в Париж лишь понаслышке (главным образом из писем брата) и, разумеется, поспешил на улицу Лэфрит, как только там открылась выставка.

Увиденное произвело на Винсента глубокое впечатление, и он со свойственной ему горячностью принялся за изучение новой живописной техники. Камилл Писсаро, «добрый бог», пришел, как и следовало ожидать, ему на помощь. Он познакомил Винсента с папашей Танги; вскоре лавочка на улице Клозель украсилась новыми этюдами, принятыми в уплату за холст и краски, а Винсент расходовал и то и другое в немалом количестве.

Ван-Гог с неистовой жадностью впитывал все новое, что мог ему дать Париж. В Луаре он вглядывался в полотна Делакруа, у папашы Танги — в японские цветные гравюры.

Увлечение парижан японским искусством началось со времени Всемирной выставки 1867 года. Впервые показанный на выставке восточный отдел был для художников откровением.

Чистый цвет, выразительная линия, удивительное умение японских мастеров передавать реальность, не прибегая к иллюзии, — все это как нельзя лучше отвечало духу новых исканий. Японские гравюры, шаттукли, вора и кимоно можно было найти в мастерских едва ли не всех живописцев того времени. Когда Винсент решил написать папашу Танги, он усадил его на фоне стены, сплошь увешанной японскими цветными гравюрами.

Этот портрет, хранящийся теперь в парижском музее Родена, примечателен не только как свидетельство заинтересованности художника японским искусством. Японскую гравюру вы можете увидеть и на портрете Эмиля Золя, написанном восемнадцатью годами ранее Эдуаром Мане. Гораздо существеннее тут углубленный интерес к человеку, что сквозит в каждом движении портрета папашы Танги.

Нет, интерес к человеку, пожалуй, не те слова. Кто-то сказал о «Едоках картофеля», что эта картина кажется созданной мазолистскими руками ее героев. Вот верный ключ к пониманию всего, что делал Ван-Гог.

Он обладал редкостным даром сочувствия, — не в обиходном, стершемся значении этого слова, а в его изначальном, действительном смысле.

«Чувствовать согласно, сообща, заодно; понимать, мыслить одинаково; склоняться к кому по чувству приязни, любви; сострадать»... Вот какие толкования дает этому слову Даль. Все это кажется сказанным о Винсенте, о его характере, стремлениях, о его картинах.

Нежный дар сострадания увлек Винсента в Борinage, где он жил «беднее последнего бедняка», помогая чем мог углекопам. Первые же его рисунки были выражением деятельного сочувствия — только так он и понимал искусство. «К чему бы я мог быть пригодным, — писал он брату, подводя итоги своего житья в Боринже, — если б я не мог помогать и быть полезным?»

Даже среди безлюдных и безмолвных полей Винсенту виделись драмы человеческого существования. «...Я вижу во всей природе, например, в деревьях, выражение и, так сказать, душу. У ряда ветл есть порой нечто общее с процессией стариков из богадельни. Молодая рожа может иметь в себе нечто невыразимо чистое, нежное, пробуждающее в нас такое же умиление, как, например, выражение спящего младенца... Затоптанная у края дороги трава производит впечатление чего-то утомленного и запяленного, подобно рабочему кварталу...»

Спору нет, видеть «душу природы» свойственно было и другим живописцам. Но из приведенных выше слов нетрудно заметить, чем отличался взгляд Винсента от взгляда многих его современников.

Каждому художнику свойственно отличаться на явления жизни по-своему. Судьба Ван-Гога, его скитания, его ум и характер сделали его особенно чувствительным к страданиям, бедам, к несправедливости и неустраиванию мира, в котором он жил.

«Я — рабочий, — сказал он о себе однажды, — я принадлежу к рабочему классу и буду все больше в него вживаться, в него вкореняться. Я не могу иначе и не имею никакого стремления к чему-нибудь другому».

Свое место в обществе Винсент определил не только на словах. Углекопы Боринжа, брабантские ткачи, плетельщики корзин, дровосеки, рыбаки и крестьяне были его первыми натурщиками, героями его первых картин. Постигая их нелегкую жизнь, он тем самым постигал основы искусства — не оттого ли так суровы, коричнево-землистые были почалу его краски?

Но чем глубже вдумывался он в суть назначения искусства в жизни, тем яснее понимал, что невозможно ограничивать себя трагической, мрачной нотой.

«Я рисую не для того, — говорил он, — чтобы надоедать людям, но чтобы радовать их, или для того, чтобы обратить их внимание на вещи, которые заслуживают внимания и, однако же, известны далеко не каждому».

Его герои нуждались в своей доле радости; еще до приезда в Париж Винсент высветлил свою палитру — и не только под влиянием «Бесед о живописи» Эжена Делакруа. В Антверпене, где он провел предшествующие осень и зиму, его захватил Рубенс.

Такое увлечение может показаться странным: что общего могло найтись между кипучо-жизнерадостным «живописцем королей» и жаждущим истины, склонным к трагическому горению Ван-Гога? Сам Винсент ясно ответил на этот вопрос, написав брату о своем восхищении Рубенсом, который «...стремится выразить настроения бодрости, радости, равно и боли, и не само деле выражает все это комбинацией цветов».

Что это было предметом постоянных раздумий, давней целью, мечтой Ван-Гога, — раскрытие чувства посредством цвета. Но для того ли родилась живопись, и не в этом ли главное отличие искусства в красках от «искусства строчек» или «искусства звуков»?

Казалось бы, в Париже его стремления найдут самый действительный отклик; ведь именно здесь сосредоточилось все живое и новое. И верно, Винсент попадает в гущу событий и споров. Он присутствует при триумфе Жоржа Сёра, родоначальника «научного» импрессионизма. Это двадцатидесятилетний живописец, учившийся в Школе изящных искусств, был страстным поклонником теории. Он поставил себе задачу научно обосновать достижения импрессионизма, сделать живопись математически точной, независимой от инстинкта, ощущений, случайных удач или неудач.

С этой целью он выработал новую, строгую технику, основанную на достижениях современной науки о цвете, — так называемый пуантилизм (от французского «пуан», то есть точка). В Эрмитаже и московском Музее имени Пушкина можно увидеть несколько небольших картин одного из друзей и единомышленников Жоржа Сёра, Поля Синьяка. Многие тысячи положенных рядом «точечных» мазков призваны слиться в вашем глазу, рисуя то морскую па-

вань, то песчаный берег, то дерево у дороги. Эти картины, может быть, напоминают вам мозаику из камешков-самцов. Быть может, вас поразит и даже восхитит терпеливое трудолюбие живописцев, столь верных своим принципам, своей теории. Но испытаете ли вы душевное волнение, глядя на эти картины? Не знаю...

Мне кажется, Жорж Сёра и его единомышленники с полной ясностью показали, что нельзя безнаказанно отнимать у искусства душу, чувство. «Поверив алгеброй гармонию», они убили самое дорогое, что было в импрессионизме, — непосредственность живого общения с природой.

И все же тяга к научному познанию была так сильна среди художников, что теория пуантилизма улеглась поначалу даже Камилла Писсарро, а затем и Ван-Гога, жадно вбиравшего все, что мог ему дать Перин. Но он особенно одержим от этого куда быстрее, чем Писсарро. Ничто не могло быть более чуждо ему, чем нерушимое спокойствие и размеренность пуантилизма.

Нет, не затем он приехал сюда. Он мог быть признателен Парижу за встречу с искусством Клода Моне, Сислея, Ренуара, за дружбу Писсарро и папашин Тинти, за окончательное просветление своей палитры. Но было еще нечто гораздо более важное, что он надеялся найти здесь и чего не нашёл.

Еще из Антверпена, где Ван-Гог провел одну из самых трудных и одиноких зим своей жизни, он писал брату: «Знаешь, в чем состоит наша опора? В том, чтобы работать вместе с какой-нибудь группой людей, не оставаясь в одиночестве со своими мыслями и чувствами».

Чувствовать согласно, мыслить одинаково — эта потребность была так же сильна в нем, как и потребность сострадания. В одиноких скитаниях он постоянно лелеял мечту о сообществе художников, готовых служить народу своим искусством, и с присущей ему горячностью говорил об этом каждому встречному в Париже живописцу, но не находил поддержки.

И все-таки Винсент не оставлял намерений организовать «мастерскую будущего» — так он называл задуманное сообщество художников. Наконец ему показалось, что нашелся достойный человек, готовый не только разделить его идеи, но и стать во главе нового сообщества. Этим человеком был Поль Гоген.



В то время Гогену исполнилось тридцать восемь лет; за его плечами лежала пестрая жизнь, полная самых неожиданных перемен. Родившись в Париже, он провел раннее детство в Перу, учился в Орлеанском лицее, плавал юнгой и матросом по морям и океанам. Вернувшись в Париж, стал биржевым маклером. В часы досуга рисовал и писал красками. И вдруг — тридцати пяти лет, на вершине благополучия и тихого семейного счастья — бросил службу, дела, семью, чтобы всерьез заняться живописью.

Он впал в нищету, что, впрочем, нисколько его не пугало. Он твердо верил в себя и был упорен. Еще будучи преуспевающим дельцом, он тратил каждую свободную сотню франков на покупку картин и этюдов. Он покупал работы Йонинда, Мане, Ренуара, Моне, Писсарро, Сислея, Сезанна. Нет ничего удивительного в том, что, решив стать художником, он примкнул к импрессионистам: ведь именно они олицетворяли живую будущность искусства.

Все тот же «добрый бог» начинающих, Камилл Писсарро, помог Полью Гогену сделать первые шаги, взяв его с собой в Понтуаз, а затем в Руан. Ранние

работы Гогена написаны в манере его учителя, а духе чистого импрессионизма.

Недалеко было, однако, время, когда наметились острые расхождения между Гогеном и его новыми друзьями. Постепенно он пришел к выводу, что импрессионисты «ищут то, что доступно глазу, и не обращаются к таинственным глубинам мысли».

Гоген стремился выработать свой собственный стиль, который сам позднее называл «синтетическим», утверждая, что картины «должны заставить человека мыслить без помощи идей или образов, как это делает музыка, просто благодаря таинственным взаимоотношениям, существующим между нашим мозгом и тем или иным соотношением красок и линий».

Свою новую живописную технику он назвал «клубазонизмом», от французского слова «клубазон», то есть перегордчатая эмаль. Действительно, его картины стали походить на старинные эмали или готические витражи с четким контуром и ровно залатыми цветовыми плоскостями.

Отказавшись от импрессионистской техники, он вместе с тем стал отрицать и необходимость общения с природой. «Не пишете слишком много с натуры», — говорил он. Свои картины он нередко возводил в мастерской, а заканчивал на открытом воздухе или же наоборот, подчеркивая тем самым независимость искусства от реального мира. Да и собственную независимость он подчеркивал всячески, начиная с внешнего облика и кончая манерами.

Высокий, грузный, желто-смуглый (он был креолом), в заштопанном свитере и сдвинутым набок синем берете, Гоген походил на шкипера с рыбачьей шхуны. Надменный, самолюбивый, едко-насмешливый, он подавлял собеседников тяжелой весомой определенностью суждений. Его не любили, и вместе с тем многие молодые живописцы готовы были считать его своим наставником, быть может, потому, что так тверд он был в своих убеждениях и в своем искусстве.

В самом деле, ему приходилось нелегко. Его теории не находили признания, а картины — покупателей. Нужда бывала так сирепка, что однажды ему пришлось наняться расклейщиком афиш, чтобы пережить голодные месяцы. Ничто, однако, не могло заставить его отступить. Вероятно, именно эта воинственная твердость духа более всего привлекала Винсента к Гогену среди всеобщей шаткости и неверия.

Казалось, многое объединяет их, и в то же время трудно было бы найти людей более противоположных. Когда думаешь об их сближении, поневоле приходят на ум два полюса электричества, сблизить которые невозможно без сжигающей вспышки.



Проведя в Париже лето, осень и мучительно трудную морозную зиму, Винсент решил выехать в Арль, старинный городок на юге Франции. Там он и намерен был основать «мастерскую будущего».

Его выбор был не случаен. В Париже он нашел подтверждение своим мыслям о могуществе цвета, но оставаться в этом городе, «где люди дохнут, потому что хотят жить, он не мог. Всей душой он тянулся к простой жизни, к чистым краскам юга».

В Арле Ван-Гог снял домик на площади Ламартина, оборудовал на скромные средства брата мастерскую и стал ждать приезда Гогена и еще двух-трех молодых живописцев, выразивших согласие основать новое товарищество.

Но Гоген все не ехал, не ехали и другие, и Винсент пока оставался в одиночестве со своими планами. Как всегда, он работал, не щадя себя. Именно здесь, в Арле, он наконец утвердился в своем понимании живописи и ощутил себя крепко стоящим на собственных ногах.

Отсюда он писал брату: «Я замечаю, что все, чему я научился в Париже, улетучивается, и я возвращаюсь к тем идеям, которые у меня были до того, как я узнал импрессионистов... Ведь вместо того, чтобы стремиться точно передать то, что находится перед моими глазами, я пользуюсь цветом более произвольно, чтобы полнее выразить себя...»

«Выразить себя» означало для Ван-Гога выразить свои чувства, свое понимание жизни, свое отношение к людям, к природе посредством цвета. «Выразить мысль излучением светлого тона на темном фоне. Выразить надежду какой-нибудь звездой, горение — лучами заходящего солнца»...

Винсент горячо защищал право художника «преувеличивать существенное и не подчеркивать общеизвестное». Не является ли это одним из важных законов искусства? В конечном счете основы искусства едины. Настоящая живопись — это вовсе не подделка жизни, не обман глаза, точно так же, как литература не обман слуха или воображения. Разговор двух собеседников, подслушанный магнитофоном, — это еще не диалог из рассказа, повести или романа. Материал жизни должен пройти сквозь горнило художественного творчества, чтобы вышло из него то, что достойно называться искусством. «Жизнь», увиденная сквозь темперамент художника — так определил искусство Золя. Ван-Гог дал этому определению особенно яркое подтверждение.

Он выдвинул на первое место цвет, поэзию красок, с помощью которых выражал свою боль, свою радость, свою любовь к жизни, свое сочувствие.

«Я все больше и больше иду простую технику, которая, быть может, не является импрессионистской. Я хотел бы писать так, чтобы, во всяком случае, все то, у кого есть два глаза, ясно это видели...»

Жажда простоты, стремление быть понятным — как это ощутил в его живописи, чем-то напоминающей народные лубочные картинки, возвышенные до уровня большого искусства! Песенная чистота красок сочетается здесь с чистотой чувств, будь то скорбь, гнев или жажда истины и свободы.

К сожалению, в наших музеях хранится всего лишь девять картин Ван-Гога. Но все это очень хорошие картины, каждая из них стоит подробного рассказа. Мы еще к ним вернемся. Пока же остановимся на трагических событиях, разгрягнувших в Арле после приезда Гогена.



Он приехал в конце октября, уступив настойчивым просьбам Винсента, не оставлявшего надежд на «мастерскую будущего».

«Прежде всего я всюду и во всем нахожу беспорядок, бывший мне не по нраву», рассказывал он впоследствии. — Ящик для красок едва мог вместить все эти вываленные, всегда не закрытые тюбы...» Самого Ван-Гога он застал тоже не в лучшем виде. Винсент был измучен одиночеством и напряженной работой. Все лето он писал запоем, проводя дни напролет на палящем солнце. Его доминировали бессонница и приступы беспричинной тоски.

Впрочем, можно ли было назвать его тоску беспричинной? Такие приступы случались с ним и раньше. «Я, если можно так выразиться, заработал это», писал он однажды брату, — заработал в те годы,

когда жил в таком убожестве. Спроси врача — он сразу все поймет! Спроси его, могло ли быть иначе?»

И правда, как могли пройти бесследно годы голодных скитаний, годы одиночества? «Я испытываю нужду в сочувствии с какой-то алчностью и жадной», — признавался он. Но не находил ни сочувствия, ни понимания. Его душевные порывы наталкивались на всеобщее равнодушие и враждебность. Где бы ни жил он, повсюду он казался отшельником, бродягой, едва ли не умиленным. Так было и в захолустном Арле, где на него опляхивались местные обыватели, шепчась за его спиной и пугая им детей.

Дезы его с особенной силой доминировала бессонница, и Винсент нередко просиживал до рассвета в ночном кафе за углом, дымя трубкой и потягивая горький абсент.

Все передуманное этими тяжкими ночами выразилось в знаменитой картине «Ночное кафе». Казалось бы, что примечательного: голые стены цвета бычьей крови, мутно горящие газовые лампы, пустой быльварный стол, буткетная стойка, столики, стулья, часы над дверным проемом... Но от каждого изображенного здесь предмета — даже от освещенных мертвенным зеленоватым-желтым светом досок скобленного пола — веет безысходной «перекосностью» захолустной жизни, неодолимой тоской, предчувствием катастрофы.

Кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба Ван-Гога, если бы в Арль не приехал Гоген. Винсент готовился к его приезду с необычайным воодушевлением. Он воспринял духом, веря в доброе начало задуманного дела и надеясь, что вслед за Гогеном придут и другие. Он просил брата прислать еще немного денег, чтобы купить мебель, подраминки, краски... «Мастерская полностью должна быть достойна такого художника, как Гоген», писал он. — Он ведь должен стать ее главой...»

По-прежнему он готов был видеть в Гогене наставника, друга, единомышленника. Разве не объединяло их стремление «выразить себя», почти дальние импрессионистов, свободно пользуясь цветом? В их судьбе, их скитаниях и борьбе было ведь столько общего!

Так казалось сначала Винсенту. Но с каждым днем совместной жизни все больше проявлялись непримиримая противоположность характеров.

Гогену порой не хватало терпимости, умения уняться. Он проявлял недовольство беспорядочностью Винсента, его неопределенностью. Он высмеивал его манеру говорить, его самонадеянность, доброту, его тоску по родине. Щеголяя грубой откровенностью, он то и дело ранил самолюбие Винсента, вызывая его на открытые стычки. Все это выходило за пределы видимых причин. За внешними поводами таилось нечто гораздо более серьезное.

Да, верно, Гоген, как и Ван-Гог, защищал право художника «преувеличивать существенное и не подчеркивать общеизвестное», и так же горячо стремился выразить себя посредством цвета. Но «выразить себя» означало в то время для Гогена выразить свое глубокое отчуждение от действительности.

Холст и краски стали для него способом ухода, видом бегства от пошлости и убожества буржуазного мира. Он создавал свой собственный мир, недоступный бурям и невзгодам, мир гармонии красок и линий, мир нерушимого равновесия и покоя.

Яркий живописный талант и убежденность Гогена были так сильны, что Винсент на какое-то время поддавался чарам его «гармонических симфоний» и стал фантазировать в живописи, но очень скоро опомни-

ся. «Мне так дорога правда,— говорил он,— так дороги мои собственные попытки писать правдиво, что, как мне кажется, я предпочту быть сапожником, чем музичировать красками».

Вот в чем была истинная суть расхождений, вот где крылся действительный смысл напряжения, нарастающего с каждым днем.



Однажды, когда Винсент писал бужет подсолнечников, поставленный в вазу, Гоген решил, пользуясь его всегдневной погруженностью в работу, написать с него портрет.

Когда он закончил и показал его, усмекаясь, Винсенту, тот поглядел молча. И вдруг растерянно, тихо, проведя ладонью по лбу, сказал:

— Это совершеннейший я, но только ставший сумасшедшим.

Быть может, жестоко-проницательный взгляд Гогена лишь подтвердил то, что давно уже чувствовал (или предчувствовал) сам Винсент. «Человек может выдержать один раз, когда его унижают и оскорбляют в любви, в делах и планах,— писал он однажды брату.— Но это не может повторяться!» Между тем унижения и оскорбления повторялись, расшатывая и без того неустойчивое душевное здоровье Винсента.

Однажды, сидя в кафе, он в ответ на какую-то колкость Гогена внезапно швырнул в него стакан с абсентом. Это было открытым началом тяжелой душевной болезни.

Винсент боролся с ней изо всех сил. Наутро он искренне извинился перед Гогеном, тот принял извинения более чем холодно, заявив, что уезжает.

Одного этого внезапно объявленного решения было достаточно, чтобы повергнуть Винсента в новый приступ. Вечером, когда Гоген, приготовив себе обед, вышел вдохнуть свежим воздухом и ароматами лавра и цветов, Винсент бросился вслед за ним, держа в руке бритву. Гоген обернулся на звук его торопливых, нервных шагов. «Взгляди мой в эту минуту, должно быть, был очень могуч,— рассказывал позднее Гоген,— так как он остановился и, склонив голову, бегом бросился по дороге домой».

Дело, разумеется, было не в «могуществе» взгляда: Винсент из последних сил боролся с безумием. Пелена вдруг упала; стыд, ужас, смещение охватили его. В такую минуту, в приливе отчаяния и горькой досады, другой человек, быть может, ударил бы себя кулаком по лбу. Винсент же, взмахнув бритвой, отрезал себе ухо.

Гоген узнал об этом лишь наутро (он спокойно переночевал в гостинице) и не нашел ничего лучшего, как уехать, покинув друга в беде.

Винсента взяли в больницу, откуда он вскоре вышел здоровым, но ненадолго. Жители Арля были взбуждены случившимся. На улицах от Винсента отворачивались, в кафе боялись сесты близости. Вскоре группа почтеннейших обывателей обратилась к мэру с просьбой изолировать одногоухого безумца. Полиция авалилась к Винсенту, оторвав его от мольберта. Его засадили в одиночную камеру для умалишенных, запрета даже курить.

Трудно описать в кратких словах дальнейшее. «Поскольку я мог судить, я, в сущности, не сумасшедший,— делился с братом Винсент, выйдя на волю.— Ты увидишь, что картины, выполненные мной за это время, спокойны и не хуже других...»

И ведь это действительно так. Его пейзажи — виды весеннего Арля с нагими ветвями тополей, греющихся под мартовским солнцем, с прозрачным, без-

донным небом, нежно-зеленой молодой травой и зацветающими садами — полны чувства обновления и надежды. Кажется, никогда еще его искусство не было так просветленно, не сулило так много радости.

И тем не менее Винсента не оставляет страшная мысль, впервые вставшая перед ним в больнице: не лучше ли все-таки жить среди умалишенных, чем на свободе, среди «всех этих добродетельных людей», которым он не сделал ничего худого?

Отгородившись от бессердечного мира стеной убеждения для душевнобольных, он пишет брату: «...люди здесь хорошо понимают друг друга, и один помогает другому, когда тот впадает в кризис. Когда я работаю в саду, они посещают меня, чтобы посмотреть, и, уверяю вас, они более сдержанны и вежливы и больше оставляют меня в покое, чем, например, добрые граждане в Арле. Было бы хорошо, если б я остался здесь подольше. Нигде не мог бы я так спокойно работать, как здесь...»

Луч надежды вспыхивает весной: на выставке в Брюсселе продана его картина, первая в жизни! Винсент взбужджен. Он более не хочет оставаться за решеткой. Прочь, прочь отсюда, быть может, не все еще потеряно, быть может, он все-таки нужен людям. Сделать последнее усилие, вернуться на родную почву, к тем, для кого он жил, страдал, искал совершенства.

«Когда я возвращаюсь на север, мне предстоит делать этюды с натуры, с крестьян и пейзажей...»

Но надежде не суждено осуществиться. Он спешит в Париж, чтобы посоветоваться с братом. Теодору трудно говорить, но Винсент, кажется, и сам понимает: на север он ехать не может и не сможет уже никогда. Он должен лечиться, жить под постоянным наблюдением опытного врача. Теодор уже говорил с таким врачом, это некий доктор Гаше, друг Сезанна...

В конце мая 1890 года Винсент поселяется в Оверне-на-Уазе, последней гавани своих странствий. Он живет у доктора Гаше, работает ненасытно, будто знает, как мало дней отпущено ему судьбой. За два месяца он написал здесь пятьдесят шесть холстов!

Но болезнь не оставляет его. «Что поделаешь! — пишет он после тяжелой приступа. — Видите, я стараюсь сохранить хорошее настроение, но моя жизнь подрезается в корне, и шаг мой колеблется...»

27 июля, выйдя в поле, где поспевали хлеба, он выстрелил в себя из купленного в Париже маленького револьвера и умер через день на руках у Теодора, причинавшегося в Овер.

Тео ненадолго пережил Винсента: через две недели он тяжело заболел и умер шесть месяцев спустя. Братья похоронены рядом на маленьком деревенском кладбище среди обширных полей.



Полю Гогену суждено было прожить еще тринадцать лет. То были, как сказал один из его биографов, годы «непрекращающегося бегства от неуемной и жестокой действительности». Покинув Париж, он отправился на остров Тинти. Там он надеялся осуществить мечты о жизни, близкой к природе, и о независимом, свободном искусстве.

На Тинти Гоген голодал, тяжело болел. Картины, которые он там писал, завоевали ему великую посмертную славу.

В наших музеях вы найдете около тридцати холстов Поля Гогена. Лишь три из них написаны во Франции (одна из трех ранних картин — «Кафе» —

написана в Арле, в том самом ночном кафе, которое писал Винсент и где произошли события, о которых я рассказывал. Все остальные писаны на Таити и на острове Хива-Оа, куда Гоген бежал с Таити от преследования французских колониальных властей и где умер нищим в 1903 году.

Много любопытного связано с этими картинами для тех, кто знает жизнь Гогена. Вглядитесь же в его горбоносое лицо с тяжелыми веками, лицо неистового и нетерпимого человека, хотевшего, по его словам, «заковать право дерзать на все!» Посмотрите в московском музее «Жену короля». Эту картину после смерти Гогена сравнивали со «Спящей Венерой» Джорджоне и «Олимпией» Эдуарда Мане. Не правда ли, есть много общего между названными картинами — в сюжете и композиции, — не для того ли так сделал художник, чтобы наилучшее стала его победа, завоеванная трудной ценой?

Покидая Францию, он писал: «Я еду на Таити, маленький островок в Великом океане, где еще можно прожить без денег. В Европе для будущего поколения уготовано ужасное будущее: время господства золота. Все прогнило, и люди, и искусство...» Он искал на Таити убежище, а обрел нечто гораздо более нужное: обрел то, без чего нет и не может быть искусства — любовь и доверие к человеку.

Его жесткий характер смягчился. В нем проступили черты, прежде скрытые. Пастор, навещавший его в последние дни жизни, рассказывал о нем как о человеке, исключительно простом и мягком в обращении с местными жителями. Гоген защищал их чем мог от произвола и притеснений колониальной администрации. Он был с ними добр, он любил их, и эта любовь сквозит в картинах, покоряющих красотой цвета, гармоническим равновесием, певучей музыкальностью линий.

Гоген предпочитал писать на грубом, зернистом холсте, сохраняя четкие контуры и кладя краски тонким, прозрачным слоем. Он не рассчитывал на иллюзию: его картины можно смотреть в целом и частностях, на расстоянии и вблизи, наслаждаясь простоту сочетаниями тонов — прохладных и жарких, оранжевых, зеленовато-синих, лимонных, коричневых, лиловых. Музыка его живописи звучит песенно, любви к щедрой солнцем природе и простодушным людям, свободным от предрассудков мешанской цивилизации.

Среди всех картин Гогена, хранящихся у нас, есть одна, подложкой которой устанавливается, испытывая нелегкое чувство, — мне трудно назвать его иначе, чем горьким сожалением. Я говорю о «Полугаях» из московского музея.

Эту небольшую картину Гоген написал незадолго до смерти: по технике она похожа на его ранние работы. Он как бы вспоминает о молодости, о верности природе, свету, полутонам, об импрессионизме. Но как странно горький его воспоминание!

В многочисленных натюрмортах, какие мне приходилось видеть, нередко встречалась битая птица: фазаны, куропатки, тетерева. Но мертвые полугаи... Есть что-то противоестественное, что-то необъяснимо зловещее в этом: три очень красивых, но мертвых полугая-какаду на синева-белой скатерти и равнодушный, темно-оранжевый Будда...



А в нескольких шагах — пять полных радости, боли и сострадания холстов Винсента.

В июле 1888 года он уехал на восемь дней из Арля в рыбацкий поселок Сен-Мари и оттуда писал брату: «Море имеет цвет макрели, оно изменчиво,

не знаешь — зеленое, или фиолетовое, или синее, а спустя секунду розовое и серое...» Как верно уловлена эта изменчивость в небольшой картине, где рыбацкие лодки расцветают, будто цветы, на вечно волнуемом поле!

«Портрет доктора Рея», врача из больницы в Арле, где Винсент встретил Новый год после катастрофы с Гогеном и взмаха бритвой... Кажется, вся тяга его к здоровью и вера в добро запечатлены в облике этого круглолицего человека с благожелательным взглядом и юношески припухлыми губами. Живопись портрета удивительно асына: ни светотени, ни рефлексов — все выражено точным сопоставлением немногих тонов. Орнамент фона как бы аккомпанирует округлым линиям лица, связывая все краски в одну простую мелодию.

«Прогулка заключенных» — свидетельство тяжелых месяцев, проведенных в убежище для душевнобольных. Зимой, когда за желтой решеткой окна выл февральский ветер, он писал эту сцену — вольное переложение гравюры Густава Доре из альбома «Лондон». Писал собственные страдания и вместе с тем страдания всех лишенных свободы, арестантов и неарестантов, шагающих по замкнутому кругу под равнодушными взглядами власти и мущин.

Еще две картины — пожалуй, самые примечательные из хранящихся у нас.

«Красные виноградники в Арле». Первая и единственная картина, купленная при жизни Винсента. Одна из лучших его картин. Осенью 1888 года, вскоре после приезда Гогена, Винсент писал брату из Арля: «В понедельник — ах, если бы ты был с нами! — мы видели красный, как красное вино, виноградник. Вдали он становился желтым, затем шло серое небо, и над всем — солнце. Почва после дождя была фиолетовая и светилась желтым в тех местах, где отражалось заходящее солнце».

В картине, которую он написал под впечатлением увиденного, соединились две главные темы его искусства — природа и труд. Соединились в счастье и в слове сияющих красок. Синие плетя сборщиц винограда горят, будто драгоценные камни среди червонного золота и густого багрянца осени, в необыкновенном свечении влажного воздуха, чем-то напоминающего воздух родной Голландии...

И, наконец, последний холст, «Пейзаж в Овере»... В кармане куртки Винсента в день его смерти осталось неотправленное письмо, последнее письмо брату — как всегда, с набросками среди текста. «Может быть, ты взглянешь на рисунок с сада Добиньи. Это одна из сильнейших моих работ. Я прибавляю к ней рисунок старых соломенных крыш и рисунок с двух картин — необъятное поле, изображенное после дождя».

Вот оно, омытое ливнем необъятное поле, где все говорит о жизни: и прохладно-свежая зелень, и светлая лента не успевшей впитать воду дороги, и клубящийся белый дым, оставленный локомотивом, бегающим вдоль горизонта!

Сложное чувство охватывает меня перед этой картиной. Грустно: я ведь знаю, что это едва ли не последний холст Винсента. И в то же время сердце полнится тихой радостью, как в минуту душевного покоя перед лицом природы. Хочется помолчать, и вместе с тем нет сил сдерживаться от выраженных восхищения. Хочется, чтобы и другие порадовались простоте живописи, свежести красок, необыкновенной точности Винсентовой кисти, чувству простора и радости бытия. Чтобы подивились тому, как плавно стелются зеленые поля, уходя в далекую даль.

Быть может, подойдя поближе, вы удивитесь и тому, как написано небо в этой картине, — горизонталь-

ными ровными мазками, сиреневыми и зелеными по открытому белому грунту. На мой взгляд, это не только чудо мастерства, но и свидетельство глубокого доверия к зрителю. Если вы присмотритесь поближе, то, несомненно, увидите, что не только небо, а и вся картина написана единым дыханием, без малейшей поправки. Такая цельность взгляда и снайперская точность мазка доступны были немногим.

Кто-то сравнил мазок Ван-Гога с волнами, гонимыми ветром, или звуками, образующими слово. «Не ищем ли мы скорее напряженности мысли, чем спокойствия мазка?» — сказал однажды сам Винсент.

Он писал «дрожащей от возбуждения кистью», каждый удар которой был чистым отзвуком его собственных чувств, его личности; не потому ли так трудно оказалось подражать Ван-Гогу? Можно повторить манеру, но подделать чувство нельзя...

ЗЕЛЕНЕЕ ДЕРЕВО ЖИЗНИ

«У» Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурок, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов.

Я вспоминаю эти слова Илии Эренбурга, размышляя об импрессионистах. Многим из них суждена была завидно богатая событиями жизнь. Относ Ренуар родился за семь лет до революции 1848 года и еще работал, когда над миром маялся заря Октября. Был жив, работал тогда и Клод Моне (он умер в 1926 году). История не поскупились: социальные потрясения, открытия, войны — всего этого адомов пришло на годы жизни Писсаро, Сислея, Сезанна. Почему же в их творениях и «краешком не отразились волнующие драмы эпохи?

А. В. Луначарский назвал Ренуара «живописцем счастья». Но ведь сам Ренуар (как и его товарищи) хорошо знал горький вкус несчастья, лишений, несправедливости. Почему же так улыбочко, так безмятежно-солнечно искусство импрессионистов?

Ответить на такой вопрос непросто. Тут соединилось много причин, и не последнее место среди них занимает «странная улыбка» парижского бедняка, о которой писал Эренбург.

«Встречать беду улыбочкой» (выражение Дюран-Рюэля) — национальное свойство, яркая черта французского характера. Вот почему импрессионисты — со всеми своими достоинствами и заблуждениями — принадлежат Франции, как ее кровные дети.

Каждый народ вносит в сокровищницу искусства свое. Только национальное способно стать общечеловеческим. Чтобы прояснить до конца эту мысль, скажу еще несколько слов о событиях 1863 года.

Как вы знаете, волнения среди художников произошли почти одновременно в Париже и Петербурге. Эти волнения были частью того всеобщего движения умов, которое охватило Европу после Французской революции 1848 года. И в Париже и в Петербурге художники восстали против окаменелого классицизма, против засилья лжи в искусстве. Но, поднявшись против общего врага, живописцы Франции и России пошли разными путями.

Плохо это или хорошо? Вернее сказать, это обусловлено самим ходом жизни, значит, естественно. Русские передвижники были настолько же плотно от плоти своей страны и своего народа, насколько импрессионисты были плотно от плоти Франции.

Если бы удалось собрать воедино все, что сделали эти художники, то мы увидели бы трепетно-жи-

вую панораму страны: городские площади, людные бульвары, деревянные улицы, луга и поля, снег, цветы Франции, весенние разливы ее рек... Мы любовались бы на дымящих вокзалах и в людных портах, в простонародных ресторанах и кабачках, среди любителей абсента или парижских продавщиц, пляшущих со своими дружками в Мулен де ла Галетт. Перед нами прошли бы музыканты, пранчи, актрисы, мостильщики улиц, поэты, солдаты. Мы познакомились бы с «матушкой Ларшеве», бретонской крестьянкой (мало кому удавалось так выразить душу народа в одном портрете, как это удалось Писсаро).

Правда, тут нам не довелось бы полюбоваться «сильными мира сего». Зря бы стали мы искать здесь всемогущих министров, кардиналов, банкиров или генералов, блистающих орденами. Не найдете вы тут и сцен из жизни «высшего света» или лжеисторических композиций.

Это искусство возникло из воли к свободе, оно демократично «от рождения», по самой своей природе, и не зря в Америке, куда Дюран-Рюэль привез выставку импрессионистов, ее называли в газетах «воплощением коммунизмом во фригийской шапочке и с красным флагом в руке».

Нет, не зря ненавидел этих живописцев «Наполеон Малый», не зря бесноватый эффектёр изгнал их картины за пределы униженной фашизмом Германии.

Дух тирании не может ужиться с духом волюнтаризма. Человеческая улыбка иногда сильнее динамита.



Кто-то из современников назвал импрессионизм «новой ветвью на старом стволе искусства». Корни древнего вечнозеленого дерева глубоко уходят в почву народной жизни, а вершина тянется к солнцу новыми и новыми ветвями.

Анри Матисс, Альбер Марке, Фернан Леже, Пабло Пикассо — вот лишь некоторые из имен, что прозвучали во Франции на рубеже нового века. Как ни различны эти художники, в творчестве каждого из них живет частица дерзаний старшего поколения. О каждом из них следовало бы рассказать, но это тема еще не написанной книги.

Тот, кто любит живопись Серова или Коровина, Кустодиева, Кончаловского или Сарьяна, не может не заметить, какое значение имел для живописцев нашего века опыт Клода Моне, Сезанна, Ван-Гога. Это вполне естественно, иначе и быть не должно. Великие национальные достижения тем и велики, что становятся частью общечеловеческих достижений.

С давних пор искусство сражается с темными сторонами действительности. Лучшие художники видели и видят в этом свой долг перед обществом и собственной совестью. И в справедливом будущем, которое мы строим, за искусством останется обязанность нравственного улучшения человека. Но чем шире будет становиться «солнечная сторона» жизни, тем ближе и ценнее будет для всех нас опыт радостного, солнечного искусства.

Думая о неразрывной связи прошлого с будущим, о сегодняшних исканиях, заботах и тревогах искусства, я вспоминаю письмо Камиллы Писсаро своему старшему сыну Люсьену и его товарищам, пожелавшим стать художниками.

Вот что он им писал: «Не доверяйте моим суждениям, — я так жажду, чтобы вы все стали великими, что не могу скрывать от вас свои мысли. Принимайте только те из них, которые соответствуют вашим чувствам, складу вашего мышления. Больше всего я боюсь, чтобы вы не были слишком похожими на меня. Будьте же смелыми, и за работу!»



Неспециалист, увидев какую-нибудь древнюю хеттскую или надписку на древнеармянском, произвольного, как ему, сомнению, покажется, нагромождения непонятных значков линий. Однако по-настоящему определить трудности прочтения такой надписи сможет на-



раз только специалист. Дилетанту и в голову не придет, какие сложные проблемы здесь возникают. Ученый, держащий перед собой древнейшую надпись, часто не знает о ней бун-

...а также, например, на юге, где в настоящее время находится село Озюк. Судя по описанию, это были древние поселения, куда приходили алфавиты, куда входило сразу и то, и другое, и то, и другое. Иногда исследователь не знает, с какой стороны начинать чтение — сверху, снизу, справа, слева. Там, например, в древности читали и по вертикали, и по горизонтали. Греческие, латинские, иранские, глиняные таблички, сначала должны были быть так их дермат, ведь могли бы читать вармат...

«Думається,— пише в передньому слові до книги акад. В. Струве,— уважателна і живо написана книга З. Добьохфера буде з інтересом зустрічена читателями». Эта книга дійсно вельми цікава, адже в ній йде розмова про самий інтересний момент — об інтуїції людської думки.

Всeполoд РЕВИЧ

Эти строки взяты из брошюры В.А. Андрия «О писателемодерне», изданной в серии «Библиотечка молодого литератора» (М., 1963). Выпускаемая издательством «Советская Россия», эта серия предназначена не только для тех, кто сам пишет стихи и рассказы, но и для тех любителей чтения, которых интересует, как «делается» литература.

Книжечки этой серии, издаваемые по формуле «небольшое по объему» — в этом смысле «бюджетную» — можно назвать «карманными» — весьма разнообразными по жанру: заметки из творческих лабораторий, литературоведческие рассуждения, беседы о творчестве молодых литераторов, статьи, ранее напечатанные в газете. Вклад за собранными воспоминаниями старшими В.А. Андрица не ограничивается В. Каверина, К. Симонов и других писателей.

Интересуйтесь новыми выпусками этой серии: судя по всему, в них будут интересные новинки.

А. БОЧАРОВ

ы, наверно, слышали генерал-полковника Шанина, которому удалось прочитать египетские папирусы, воскресить из мертвых древних царей и даже наладить контакт с загадочными надписями, сохранившимися до наших времен на камнях или обожженной глине, за прошедшие столетия. Но в последние десятилетия археологи и историки, изучившие и расшифровавшие немало древних документов, такими интересам борются в руководстве восточной литературы. В книгу Эрнста Добролюбова «История древнего Востока» о победах, разгромах, зашагах истории.

риях космических кораблей»
о новом человеке.
Роман окончен. Пьером Кур-
тадом в 1961 году. В это время
писатель-коммунист работал в
Москве как корреспондент га-
зеты «Юманите».

Пьер Куртад умер. Но в своей последней книге он рассказал, как жизнь человека становится частью истории, потому что человек связал ее с делом, которое не умрет.

Н. ГУБСКИЙ



«Мной писатель упрощенно не понимает работу — идет в ногу со временем. Он берет за основу, которую в этот момент жителям общества не нужно было, но берет за основу, не осознавая глубоко формализма, который превращает действительность в успех операции. Что же, тема об арестах не изменилась или устарела? Нет, изменилась, но, подобно поэзии, оставил далеко позади поэтов, и писательство нечего добавлять тому, что он застал на полуострове, а шумные большие города где-то впер-

[illegible]

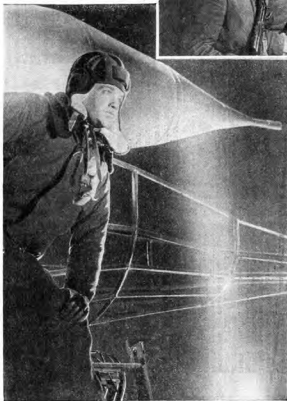
Пролетели годы жизни и борьбы... Не сразу пришлось осознание реальной сложности и противоречивости истории. Но теперь, в 1936 году, когда Симон Шпигельман переезжает в Москву, былинная легенда превращается в реальность: в городе старомодного абакурского желтого абаккура уже не осталось ни одного, кто бы мог рассказать о нашей стране правду о новых городах, о плотинах на больших реках, о «стракотно-молочных» заводах.

СОЛДАТЫ МИРА

Солдатами мира называют из всех континентов воинов Советской Армии и Военно-Морского Флота. И это соответствует истине. Еще в первые годы революции, когда наша страна провела своих сыновей на фронт, им вручалась «Красноармейская книжка», текст которой был утвержден В. И. Лениным. Слова этой книжки, как клятвы, западали в душу и крепко врезались в память.

«Если тебя спросят: «КТО ТЫ, ТОВАРИЩ?», отвечай: «Я ЗАЩИТНИК ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ И БЕДНЫХ ВСЕГО МИРА».

Если спросят: «ЗА ЧТО ТЫ БЬЕШЬСЯ?», отвечай: «ЗА ПРАВДУ, ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ, И ФАБРИКИ, И РЕКИ, И ЛЕСА, И ВСЕ БОГАТСТВА



ПРИНАДЛЕЖАЛИ БЫ РАБОЧЕМУ ЛЮДУ».

«КАК ЖЕ ТЫ БЬЕШЬСЯ С ВРАГАМИ?», «БЕЗ ПОЩАДЫ, ПОКА НЕ СОКРУШУ».

Эти заветы Ленина с честью выполняли советские воины в годы гражданской войны и Великой Отечественной войны. С именем великого Ленина они совершают героические подвиги и в наши дни, охраняя мирный труд и безопасность советского народа. С достоинством и честью выполняют свой воинский долг перед Родиной.

На верхнем снимке запечатлен волнующий момент в жизни воинов одного из подразделений Самаро-Ульяновской, Бердичевской Железной дивизии, сформированной в 1918 году на Волге по указанию В. И. Ленина.

Молодые защитники Отчизны перед лицом своих командиров и товарищей по оружию присягают на верность Родине, клянутся быть честными, храбрыми, дисциплинированными, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников.

На переднем плане Анатолий Архипов — сын одного из первых бойцов этой Железной дивизии, Ивана Васильевича Архипова. Анатолий произносит слова присяги: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступаю в ряды Вооруженных Сил,

принимая присягу и торжественно клянуся...»

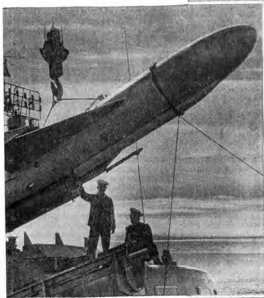
Молодой воин клянется добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, Советской Родине и Советскому правительству. Он всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту своей Родины и клянется защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом.

В народе говорят, что у добрых дел — большие крылья. Добрыми делами славятся в Вооруженных Силах подразделения, вооруженные самым грозным оружием — ракетами. Они всегда начеку. И готовы по первому зову Родины сокрушить любого агрессора. На втором снимке (стр. 92) мы видим ракетчиков на ночных занятиях.



цовой действовать в любых условиях, как в настоящем бою. На снимке запечатлена боевая учеба авиаторов-бомбардировщиков. Командир звена, военный летчик 1-го класса капитан В. Дмитриев ставит задачу авиаторам перед вылетом на бомбометание.

Фото Г. ОМЕЛЬЧУКА
и К. КУЛИЧЕНКО.
Текст Л. ШМОНИНА.

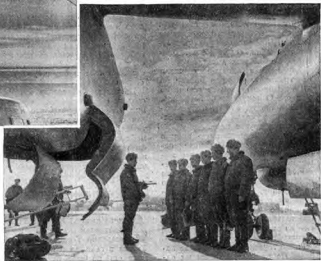


Их командир — старший сержант Александр Федоров — умело руководит действиями воинов.

А это (стр. 93) «стальная кавалерия» совместно с «крылатой пехотой» готова нанести сокрушающий удар по условному противнику.

Не менее четко и слаженно действуют экипажи воздушных и морских кораблей. Они также имеют грозное, первоклассное оружие. Вы видите, как производится погрузка ракеты на катер.

Воины настойчиво учатся образ-





Мих. ДОМРАЧЕВ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

(Записки старого комсомольца)

В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ

Леса. На десятки, сотни километров — леса. В сосновом бору, в березовых рощах, по берегам прохладных рек разбросаны деревни, села. Лежат они вдали от больших дорог.

Деревенская околица служила той границей, которую многие ни разу не переступали за всю свою жизнь. О «чужбинке», например, знали лишь те, кто от полутоловой жизни уходил на зимние заработки в другие края.

В ту дореволюционную пору в моем родном селе Ильинске насчитывалось 104 двора. Газеты выписывались лишь в двух хозяйствах. Не было ни библиотеки, ни другого какого-либо культурного учреждения, если не считать церковноприходской школы. Зато в центре села высилась трехпрестольная церковь, такая, что не во всяком большом городе встретишь.

Было торговали сивухой два кабака. Не проходило почти ни одного дня без того, чтобы не выби-

ли у кого-то окна, кому-то не изуродовали лицо, не переломали ребра.

Октябрьская революция разбудила и наш лесной край. Приходили с фронта солдаты. Люди спорили, обсуждали политические события. Пробуждалась крестьянская молодежь. Ее настроение становилось все более революционным.

Постепенно созревала мысль о создании юношеской организации. Из газет узнали, что в городах есть союзы молодежи. Встретимся, бывало, вдвоем-втроем (кто победнее и понадежнее) и начинаем говорить насчет такого союза в нашем селе. Возникла инициативная группа.

РОЖДЕНИЕ ЯЧЕЙКИ

С чего начать? Коммунисты посоветовали достать комсомольский Устав. Однако этого Устава в селе, да и в уездном городе еще не было. Все-таки где-то разыскали брошюру — «Устав Со-

циалистического союза рабочей молодежи». Первые организации этого союза возникли в Петрограде, в 1917 году.

Ознакомились с Уставом. Инициативная группа побеседовала с активными ребятами. А затем созвали собрание молодежи. Оно состоялось 19 декабря 1918 года в помещении избы-читальни, которая к тому времени уже открылась. Обсуждали Устав; один из коммунистов, присутствовавших на собрании, разъяснял основные пункты Устава.

В этот день и была создана наша Ильинская ячейка комсомола. Вначале она объединяла 10—12 человек. Вскоре вокруг нее сплотились участники художественной самодеятельности: драматический кружок, декламаторы, певцы. Но политическая работа среди молодежи, среди крестьян занимала у нас главное место.

На фото вверху — уездный съезд комсомола в г. Советские (нынешняя слобода Кузарица), Вятской губернии, в 1919 году. В центре — автор этой статьи Мих. Домрачев.

ПОДАРОК ИЛЬИЧА

Годы были грозные. Шла гражданская война. Кулаки и их приспешники сеяли панику, распространяли всякие злостные слухи. Комсомольцы, как первые помощники коммунистов, проводили беседы с крестьянами, разъясняли напечатанные в газетах декреты Советской власти, новости жизни в стране и за ее рубежами, опровергали всяческие обывательские, а порою и просто контрреволюционные слухи.

Толчок к выступлению перед массовой аудиторией дала комсомольцам приезжавшая в наши края делегация ВЦИК, которую возглавлял тогдашний редактор газеты «Известия» Юрий Михайлович Стеклов. В делегацию входили московские и питерские рабочие. Они потребовали, чтобы на первом же организованном ими в селе митинге среди ораторов непременно был представитель ячейки комсомола. С тех пор мы стали выступать с политическими докладами и речами на собраниях крестьян, молодежи.

Работать нам было очень трудно: не хватало знаний. Учиться крестьянским ребятам до Октябрьской революции было почти невозможно. После окончания сельской школы я, например, очень хотел продолжать учебу. И вот повела меня мать в слободу Кукарку к инспектору высшего начального училища. Долог стоял мы в прихожей, ожидая, когда инспектор соизволит принять нас.

Наконец появилась чиновник, затянутый в мундир с белящими пуговицами. Мать упала перед ним на колени и, заплакав, стала просить о приеме сына в училище и об оказании «вспомоществования». Инспектор выгнал нас.

— Говядубу не принимаем! — бросил он нам вдогонку.

Многим из нас потом пришлось учиться в общеобразовательных кружках, на курсах, рабфаках, в совпартшколах, институтах. А в те годы нам было нелегко. Но комсомольцы тщательно готовились к каждому выступлению перед людьми. Бумажки тогда были не в моде. Каждый из нас делал для себя какие-то записки, составляла что-то вроде конспекта, но произносить речь по написанному — упали господа!

Придерживались правила: если человек еще неопытен, его просили выступить сначала в своей комсомольской среде. Получалось вроде репетиции, но нас это не смущало. Показка была большая: наглядно видишь, может ли человек стать агитатором, пропагандистом.

Револуция вызвала неслыханную тягу крестьян, особенно молодежи, к знаниям, к книге. А литературы в деревнях не хватало.

Я задумал написать письмо Владимиру Ильичу. Хотел сказать ему, что крестьяне требуют политических книжек. А где их взять? Нескольким раз принимался за письмо и все откладывал. То начало, обращение «К тебе, отцу революции» не нравилось: не очень ли громко? То думалось: где у Ленина время, чтобы письма читать? Но книги были нужны, как хлеб. И вот набрался смелости. Написал, вывел на конверте: «Москва, Совнарком, товарищу Ленину В. И.». Послал, не надеясь на ответ. Мало ли у Ильича дел! Что ему письмо какого-то парнишки из лесной глухомани!..

Прошло немного времени, и вдруг из Москвы большой пакет. На конверте написано: село Ильинск, комсомольцу такому-то. Помню, как все в волненьи удивлялся: это был первый случай, когда в волость приходит из столицы такой большой пакет. В пакете — солидный учебник, как раз тот, о котором я просил Ильича. О пакете из Москвы быстро узнали мои сверстники, комсомольцы, соседи. Они подолгу разглагольствовали конверт, доставали книгу. Удивлялись:

— Гладыш, из Москвы! От самого Ленина!

Много вечеров и бессонных ночей ушло у нас на изучение присланного из Москвы учебника. В этой книге излагались основы политических знаний; в ней были начатки философии. Обычно собирались в молодежном клубе: дома керосина не было, а при лучине долго не выдержишь. Весной, когда все кругом расцветало, любил ходить с книгой в березник. Читали, забывая о еде.

Присланная из Москвы книга стала важной ступенькой на нашей учебной лестнице. Не будь ее, навряд ли бы мы взяли, например, за философский труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». А тут набрались храбрости и стали его штудировать. Конечно, нам было трудно, очень трудно. Обращались за помощью к учителям, к партийным работникам. И когда удавалось что-то понять, радости нашей не было предела. К философскому труду Ленина, как и к другим его произведениям, мы обращаемся всю свою жизнь. Но то, что было усвоено,

понято еще в юношеские годы, помогает и теперь.

Философская книга Ильича помогла нам стать и убежденными атеистами. К безбожии мы пришли давно, будучи еще подростками.

Засушливое лето. Вместе со всеми идем в поле, где устраивают молебен о ниспослании дождя. Гусавят помы, кругом стелется каменный дым. Плачут женщины. Проходный день, неделя... Нет дождей. Где же он, «всемогущий»?

В восьми перстах от села женский монастырь.

В монастырь шли обычно юродивые, ущербные люди. Попадали туда и девушки-сиротки, которым, кроме монастырской кельи, нигде было податься (замуж не берут: нет приданого). Но, хлебнув «святой жизни», они убежали из монастыря. Сбежала отсюда и наша соседка Оля, равно потерявшая отца и мать. То, что она рассказывала о монастырских нравах, о поведении «покусунов святого храма», потрясло всех. «Лучше в батрачки к кулаку-мироюду, чем в «святую обитель». Будь они там трижды прокляты!» — с гневом говорила Оля.

В те годы, кроме факельных шествий, «комсомольской пашки» и других легковесных «штурмов» небес, в арсенале антирелигиозной пропаганды были и такие серьезные средства, как, например, диспуты атеистов с представителями духовенства.

Мы, сельские комсомольцы, почувствовав свою силу, осмелели так, что вызвали местного попа на диспут о религии и науке. Поп скитрил и послал вместо себя псаломщика. Тот выдвинул условие: сначала поспорить в узком кругу, а там, мол, видно будет.

Самонадеянный псаломщик пришел к нам без книги, без каких-либо записей. Хвастался, что учился в духовной семинарии.

Мы, Митя Домрачев (потом стал журналистом), Саша Кошкин (позднее инженер) и я, работавший в уюме комсомола, вступили в идейный бой. Псаломщик хотел поразить нас своей «образованностью». Он начал спор с высокопарных фраз о том, что, мол, и философы признают бога. — Какие философы? — спрашивали мы. — Разве нам не известно, что философы делятся на два лагера: материалистов и идеалистов? — А затем в упор: — Чем они отличаются друг от друга?

Молчит.

— Что, по-вашему, является основой мира: материя или дух?

— Аух, аух!

— Что писал об этом епископ Джордж Беркли? — наступали мы, стремясь сбить спесь с хвастливого противника.

Молчит. Явно сконфужен.

Приводим выдержки из книги Ленина о епископе Беркли. Он иррационален на ленинский труд, говорим, что идеализм неизбежно ведет к признанию какого-то «высшего существа», «творца» — боженьки.

Псадомщик, сославшись на «слабость» своей памяти, предложил перевести диспут на следующий день. Но ни завтра, ни послезавтра, ни позднее он к нам не пришел.

Неоконченный диспут побудил нас снова вернуться к книге Ильича, приступить к изучению и другой литературы.

КОМСОМОЛЬСКИЕ БУДНИ

Мы, бедные, крестьянские дети, с раннего возраста трудились в хозяйстве своих родителей или батрачили у кулаков. С 7—8 лет заставляли нас боронить вспаханное поле, собирать колосья, жать серпом рожь, овес, ячмень. Несчастных, слабых детей будили утром, чуть забрезжит рассвет, вместе со взрослыми.

13—14-летние подростки пахали землю сохой (косулей) — тяжелый труд для взрослого, а что тут уж говорить о малышках!

Да, слезами и потом была полита земля, на которой произрастал хлеб. И потому относились мы к нему, как к святыне. Вот наша большая семья (13 душ), пообедав, отправляется на работу — каждый по своим делам. За столом остается одна мать. Я вижу, как она бережно собирает хлебные крошки, даже те, что не больше макового зернышка, и тут же съедает.

Революция перевернула быт деревни, облегчила труд крестьян. Но люди продолжали работать в одиночку. Ячейка принимала комсомольцам навыки коллективного труда. Мы создали на заброшенном в селе участке земли коллективный огород. Работали весело, с песнями. Бывало, у нашего огорода собирались толпы восхищенных крестьян. Коллективно засеяли рожью пустовавшее поле. И совсем мы покорили сельских жителей, открыв при ячейке сапожную мастерскую.

Правилось, да не всем. Бешеную ненависть к нам, комсомоль-

цам, питало кулачье. Нас преследовали, травлили, всячески пытались скомпрометировать в глазах трудящихся крестьян.

Некоторые факты свежи помню. Вот один из них. Комсомольцы выпустили «живую газету»: короткие статьи, стихи, частушки, острые заметки на сельские темы мы читали вслух на собраниях, вечерах самодеятельности. Интерес к ним был огромный. Особенно нравилось, когда мы разоблачали кулацкие махинации, самогонщиков, укрывателей дезертиров. И вот один озлобленный кулак решил «проучить» меня как редактора газеты. Ночью, подымая, он выбил окна в избе моей матери и долго размышлял меня (я находился в соседней деревне).

Кулаки и подкулачники устраивали комсомольцам всевозможные ловушки. Подкарауливали нас в лесу, в оврагах, в глухих переулках. Но и мы не зевали. По ночам старались ходить вдвоем, втроем. А главное: у нас было много друзей, и они хорошо помогали нам, предупреждали нас об опасностях.

В УЕЗДНОМ КОМИТЕТЕ

В каждом уезде, губкомоме был человек, выделявшийся среди комсомольского актива своим широким кругозором, организаторским талантом, человеком, которого уважали, к которому тянулись.

Таким в нашем, Советском уездном комитете в первые годы революции был Николай Кондаков. Высокий, стройный, сильный физически, с лицом интеллигента, он невольно привлекал к себе внимание молодежи. Один из самых способных слушателей Кукарской учительской семинарии, он обладал большой эрудицией. Он слыл в уезде одним из лучших ораторов. Шансов для наших статей и плод юношеских увлечений — стихов. Каждый из нас, комсомольских работников, многим обязан Коле Кондакову, занимавшему тогда пост председателя комитета комсомола.

После Советска Н. Кондаков работал на Кавказе. Потом вернулся в Вятку, где его избрали секретарем губкома комсомола. Он был хорошо знаком с Николаем Чаплиным, о беседах с которым рассказывал нам с увлечением. Кондаков — секретарь Слободского укома партии (Вятская губерния). В 1937 — 1938 годах он первый секретарь Одесского обкома партии. В 1938 году Николай Ина-

пович Кондаков стал жертвой необоснованных репрессий.

Вспомню рано умершего от туберкулеза легких Афанасия Пирогова из деревни Шаахоло, что недалеко от Иалынска. Ему и мне часто приходилось замечать Кондакова в уюте комсомола. Пирогов — скромный, обаятельный товарищ — много читал, серьезно увлекался театром, музыкой, был руководителем художественного творчества молодежи в уезде.

Искусство шло у нас рядом с литературой. Мы запоем читали произведения Пушкина, Гоголя, Толстого, Горького, Чехова и других классиков.

Зимой поэтика мысль прославлять курс лекций по истории русской литературы. И вот в доме укомы, в неотопляемом зале, собирались из города и деревни комсомольские активисты на лекции преподавателя педтехникума Мельникова.

Позднее, в Москве, в институте, нам, студентам, лекция по литературе читали известные всей стране профессора. Эрудитий Мельников, конечно, во многом уступал им. Но его, нашего первого преподавателя, читавшего лекции в холодном зале уездного городка, мы вспоминаем с большой теплотой.

Быт наш в те годы был не устроен (да и, по правде сказать, мало кто из нас придавал этому значение). В горячей работе, захватывающей человека целиком, мы забывали и о сне и о куске черного хлеба, которого нам так часто не хватало.

Молодые товарищи иногда спрашивают: что являлось наиболее характерным, типичным для комсомольцев тех лет? На это можно ответить: энтузиазм, самоотверженность, глубокая идейная убежденность в правоте великого дела революции.

С воодушевлением принимали комсомольцы любое поручение. Шли на фронт. Боролись с бандитами. Не давали спуску дезертирам. Сплавляли по рекам лес для городов, заводов. Собирали для детей питерских рабочих, для Красной Армии зерно, муку, сухари, картофель. Помогали семьям красноармейцев...

В комсомольском лексиконе не было слов: «трудно», «сложно жить», «справляюсь ли?» Если пужно, если того требуют интересы Родины, — значит, надо сделать.

Немалую роль в воспитании дисциплины, смелости, боевого духа комсомольцев играла часть особого назначения (ЧОН). Она состояла из коммунистов и комсомоль-

цев. Время было суровое. Приходилось всегда быть начеку. Вместе с коммунистами мы изучали военное дело, дежурили в штабе ЧОН.

НАШИ НАСТАВНИКИ

Есть люди, чья имена мы проносим через всю свою жизнь; память сердца хранит их до последнего нашего вздоха.

Это те, кто помог нам войти в мир, кто, когда мы были юны, неопытны, наставлял, растлил нас, те, чью крепкую, дружескую руку мы чувствовали постоянно. Для комсомольцев такими наставниками были коммунисты: мы всегда питали к ним глубочайшее уважение; их жизнь служила нам примером.

Огромным авторитетом пользовался организатор Советской власти в слободе Кукарке Михаил Иванович Изергин. Худой, в традиционной для тех времен кожаной куртке, он, несмотря на подтачивающую его организм болезнь, появлялся всюду: выступал с докладами, беседовал, отвечал на вопросы. Нас, молодых, поражали его энергия, горячие, страстные призывы к укреплению власти Советов, к строительству новой жизни. Когда вскоре Михаил Иванович умер, спорив на революционной работе, гроб с его телом от больницы до площади (где он похоронен) сопровождал почти все взрослое население города. Его именем названа одна из улиц Советска.

У нас как-то незаметно складывались такие отношения с партийными вожаками, что мы поверяли им свои мысли, думали, а их слова воспринимали не как указания начальства, а как советы старших, опытных товарищей. В этих людях прекрасно сочетались требовательность, строгость и душевность.

Не один год мне, работавшему тогда в уюме комсомола, довелось повседневно общаться с партийными работниками Иваном Родигиным, Иваном Софровым, Василием Миняным и председателем уюма партии Иваном Обуховым.

В то время Обухова знали далеко за пределами нашего уезда. Знали как организатора и идейного руководителя одной из немногих в Вятской губернии сельскохозяйственных коммун. Это была крепкая, хорошо сплоченная коммуна, справедливо называемая всеми «Обуховская». Она оказывала немалое влияние на крестьянединоличников.

С официальным отчетом вызывал нас в уюм партии крайне редко, но о нашей жизни, о наших нуждах, запросах он знал очень хорошо. Оба уюма находились в одном доме: уюм партии — на втором этаже, комсомола — на первом. У И. Обухова вошло в привычку заходить к нам в уюмол утром («до начала суеты») или вечером, когда не было заседаний.

Позже уюм комсомола перебрался в другое здание, но Обухов остался верен своей привычке: по-прежнему продолжал навещать нас. «Шел мимо нашего дома», — обычно говорил он, — и думаю: дай взгляну к молодежи». Он расспрашивал нас, в каких обстоятельствах мы в последнее время побывали, что там видели, о чем нам пишут из комсомольских ячеек, что мы читаем.

Нашей учебной, нашим кругозором интересовались и другие работники уюма партии. Облекалось это в такую форму, происходило таким тоном, что никто из нас не чувствовал даже намека на какую-то проверку.

Ивана Федоровича Родигина весной, осенью, зимой — всегда мы видели в старой солдатской шинели. При встрече, покашливая, он как бы мимоходом говорил: «В «Правде» такая-то статья напечатана. Здорово написано! В точку попали». Ну как после этого не прочтешь! В другой раз, тоже как бы случайно, скажет: «Уюм новые книги получил». Пойдем, посмотрим и выберем, что нас интересует.

Возникнет с работниками уюма партии разговор на злободневную тему и часто закончится предположением: «Сходил бы ты к рабочим на лесопилку (или на синичную фабрику, к примеру) и выступил на собрании». А если это предлагал И. Обухов, то он часто добавлял: «Знаешь, у меня по этому вопросу кой-какая литература подобрана. Заходи ко мне домой».

Приходилось выступать и экспромтом, без подготовки. Заседал очередной уездный съезд Советов. От комсомола с приветствием должен был выступить мой товарищ по уюму. Что-то случилось, и он на съезд не пришел. И Обухов обращается ко мне:

— Выступай, брат!

— Иван Иванович, я же не готовился.

— Что ж делать? Без комсомола нельзя. Выручай!

Я выступил, говорил сбивчиво, и хотя мне аплодировали (из уважения к комсомолу, видимо), по своей речи остался недоволен и

очень переживал это. Во время перерыва подходит Обухов:

— Ты, брат, хорошо выступил. А чего там «хорошо»? Просто председатель уюма партии хотел поощрить меня, поощрить на будущее.

Лишь один раз «обиделся» на меня председатель уюма партии. Был в уезде и такие работники, которые непонимательно относились к запросам, требованиям комсомольцев, молодежи. Я возмущен и расскажи об этом на пленуме уюма в присутствии секретаря губкома партии. Вижу, Обухов «позеленел»: секретаря губкома что-то шепнул ему, и он согласно закивал головой. В перерыве секретаря губкома, обращаясь к Обухову и другим членам уюма, сказал:

— А комсомол-то правильно по-критиковал вас.

После пленума уюма партии его председатель, как мы заметили, стал еще более внимательным к жизни комсомольской организации, к ее активу.

Тактично, незаметно, исподволь коммунисты готовили нас, комсомольских активистов, к приему в ряды партии. Поручения были разные: и сложные и нетрудные. Но по всему чувствовалось, что большевиков интересует не только характер заданий, а и то, как мы относимся к их выполнению: с душой, с рвением или просто, выражаясь словами одного коммуниста, «малаяй-малаяй».

Выезжая в волости, работники уюма партии приглашали туда и нас. Это тоже было воспитание, обучение да, пожалуй, и проверка.

Мне, комсомольскому работнику, вместе с Василием Никандровичем Миняным пришлось быть в одной деревне на собрании крестьян. Собрание было бурное. Речь шла о замене продразверстки продналогом. Миняна сделала доклад и сразу же, по срочному делу, уехал в другую деревню.

Нас, местных коммунистов и меня, засыпали вопросами: весьма острыми, порой злыми, явно провокационными (на собрании присутствовали несколько кулаков и их приспешники). В таком же озлобленном тоне выступили три-четыре человека. Все же к концу собрания подавляющее большинство оказалось на нашей стороне.

Миняна вернулся поздно. Он уже знал о собрании все.

— Ну, что, жарковато было? — улыбаясь, спрашивал Василий Никандрович. — Ничего! Привыкай, комсомола, бороться с кулачьем.

Осенью 1922 года нас, группу комсомольцев, общегородское собрание коммунистов единогласно приняло кандидатами в члены партии. Это был самый радостный день в нашей жизни.

ГОРЕСТНАЯ ВЕСТЬ

Если бы людей старшего поколения — современников Ленина — спросили, какой день был самым печальным в их жизни, то каждый ответил бы:

— День смерти родного Ильича. Как только стало известно о болезни Ленина, люди, встречаясь друг с другом, интересовались прежде всего здоровьем Владимира Ильича.

В нашей необъятной стране не было уголка, откуда не шал бы В. И. Ленин, Н. К. Крупская, в Центральном Комитете партии, в редакции газет письма с выражением безграничной любви к своему вождю, горячих пожеланий скорейшего выздоровления. Шли письма и из городов и деревень Вятской губернии. Писали рабочие и крестьяне, дети и молодежь.

Вот одно из таких писем. Оно прислано Ленину в конце апреля 1923 года детьми, подростками из города Вятки. Приножу его:

«Дорогой дедушка Ильич! Мы, пролетарские дети детского дома твоего дорогого дяди нас имени, старательно изучали все твои заветы, твою борьбу за счастье всех трудящихся, за счастье всех пролетарских детей, дабы продолжать начатое тобою дело строительства коммунизма.

Так вот, дедушка Ильич, мы шлем тебе горячий, юный привет и скромный подарок, сделанный нами самими, который будет всегда тебе напоминать о счастливой жизни всех пролетарских детей Советской России, в том числе и детей далекой Вятки, и ты должен для нашего счастья быть здоровым, чтобы руководить Р.К.П. для светлого будущего всего мира.

По поручению общего собрания детей детского дома имени В. И. Ленина от 23 апреля 1923 года.

Президиум собрания —
Галкин Вася,
Витя Горбунов,
Миша Власов.

г. Вятка.

А ты, дорогая бабушка Надежда, как наш старший друг всех юных

пионеров, береги Владимира Ильича и скорее очистишь весь мир его выздоровлением.

Галкин Вася,
Витя Горбунов,
Миша Власов.

К письму приложен подарок — папка для документов, сплетенная из рожек.

Надежда Константиновна Крупская вспоминала о подарках вятских ребят: «Я поставила их в большой комнате верхнего этажа рядом с комнатой Ильича, и Ильич, когда проходил мимо, взглянул, бывало, на них и улыбнется. Очень хотелось ему, чтобы наши советские ребята выросли в сознательных коммунистов, в умелых, убежденных строителей социализма».

Теперь письмо и подарок из Вятки экспонируются в Доме-музее В. И. Ленина в Горках.

Весть о смерти Ленина застала нас — меня и моего товарища по губкомолу — в крохотной деревушке (6—8 дворов), в дремучем лесу (мы были в очередной командировке). Стояли лютые холода. Мы подъехали к первой избе, чтобы обогреться, попить чайку.

В глаза сразу же бросилось зеркало: оно покрыто темным хаосом. В вятских деревнях существует обычай: когда умирает близкий человек, раньше всего закрывают зеркало. Выходит, думаем, приехали мы не к статии. Но что это? В углу, где обычно стоят иконы, висит вырезанный из старых газет портрет Владимира Ильича. Он окаймлен хвойными ветками с черными ленточками. Неужели! Не может быть! Нельзя, невозможно смириться с мыслью! Ленин умер... Сердце отказывается верить... Хозяин двора — бородастый крестьянин, настоящий лесовик — не может говорить. В глазах — слезы...

Через 20—25 верст на пути встретилось село. Над зданием сельсовета приспущен траурный флаг. В помещении собралось столько народу, что многие, проткнув двери, вышли в сени. Стоя, без головных уборов (их сняли даже женщины, чего я никогда в своей жизни больше не видел) слушали люди страшную весть... Кто-то громко плачет. Выступали коммунисты и беспартийные, комсомолы и школьники.

— Прощай, Ильич! Будь уверен, мы выстоим, мы выдюжим,

мы выполним все, что ты завещал!

Траурное собрание закончено. Но люди долго не расходятся. Вопросы, вопросы... И все о нем — о Владимире Ильиче.

Когда все разошлись, мы заметили в углу комнаты застывшую в горе старую женщину.

— Сынок! — обратилась она к нам. — Есть у меня хаос... белый, как снег... Храню для себя, для своего смертного часа... Если бы переслать... на похороны товарища Ленина...

В тот горестный год ряды ленинской партии, в том числе и Вятской организации, пополнялись лучшими людьми из рабочего класса и трудового крестьянства. Пополнение получал и комсомол. В городах и селах губернии создавались новые отряды юных пионеров.

На моей родине — в Советском уезде — возникло несколько сельскохозяйственных кооперативов, усилился приток бедняков в Обуховской коммуны.

Это был ответ на смерть Ильича, ответ на призыв созданной им партии еще теснее сплотиться вокруг ленинского знамени.

Времена были нелегкие. После смерти Ленина троцкисты усматривали нападки на партию. В Вятке секретарем губкома партии оказался троцкист. Он пытался заигрывать с молодежью.

На бурных собраниях, в которых активно участвовал, защищая ленинизм, старый большевик, член Президиума Центральной Контрольной Комиссии Аларой Союз, комсомольцы — молодые коммунисты горячо выступали за линию партии. Развернулись идейные бои с троцкистами.

...Многое изменилось с тех пор. Многомиллионной армией юных ленинцев, активно участвующей в коммунистическом строительстве, стал комсомол. Возросло его влияние на молодежь.

Култ личности омрачил и комсомольскую жизнь, нанес ущерб воспитанию молодого поколения. Сталин приписал роль комсомола, не веря в его силы, не доверял ему.

Но это уже позди.

Расширялись просторы для творческой энергии молодежи. К новым, еще невиданным свершениям готов Ленинский комсомол.





СТРАНИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ

Тяжелый фолиант с золотым тиснением на красной коже переплета... Он существует в единственном экземпляре. И хотя страницы книги исписаны старательным почерком черной тушью, это не рукопись. Это Книга почета Центрального Комитета ВЛКСМ. Короткие записи в ней рассказывают о славных делах комсомола в мирное время.

Книга учреждена после окончания Великой Отечественной войны в честь тридцатилетия Октября. Первой была занесена в нее комсомольская организация Ленинграда.

Каждая запись в Книге — это волнующая поэма о героизме советской молодежи, о ее самоотверженности и преданности делу коммунизма. Откройте любую страницу, просмотрите многочисленные записи — о китобоях Атлантики и кукурузоводах Полтавщины; о хлопкоробах Таджикистана и птицеводах из Рязанской области; о победителях Олимпийских игр и о воинах Советской Армии, стоящих на страже наших границ; об отдельных людях и о целых комсомольских организациях городов и областей, — и вам на память неизбежно придут знаменитые горьковские слова: «В жизни всегда есть место подвигам».

Посмотрим последние, совсем недавние записи в Книге почета. Одна из них напоминает о победе, одержанной хлебобродами Ставрополя. За активное участие в выполнении принятых социалистических обязательств по продаже хлеба государству в Книгу почета ЦК ВЛКСМ занесена Ставро-

польская сельская краевая комсомольская организация.

А вот две большие, во всю страницу фотографии: Валентина Терешкова и Валерий Быковский. Они так же, как и их небесные братья, внесены в Книгу почета ЦК ВЛКСМ «за выдающийся подвиг в освоении космоса, за беззаветную преданность делу коммунизма, самоотверженность и мужество во славу любимой Родины».

Почти полтора государственных плана — 46 миллионов пудов зерна — продала государство Уральская область Казахстана. Среди молодых механизаторов области зародился патристический почин — пополнить государственные запасы за счет продажи зерна из личных запасов. За активное участие в уборке урожая, сдаче и продаже хлеба государству в 1963 году в Книгу почета внесена Уральская сельская комсомольская организация АКСМ Казахстана.

Спасая совхозную технику от

пожара, героически погиб ученик Абанской средней школы, Абанского района, Красноярского края, Владимир Туров. Имя его записано в Книгу почета.

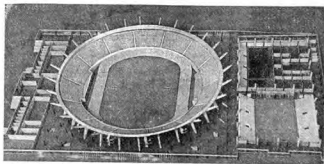
Самый мощный в стране конверторный цех построен в рекордный срок — за полтора года — на Нижнетагильском металлургическом комбинате имени Ленина. Строительством его было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Комитет комсомола и комсомольский штаб стройки сумели мобилизовать комсомольцев и молодежь на досрочное выполнение заданий, организовали социалистическое соревнование, выявляли резервы ускорения стройки на каждом рабочем месте. Юноши и девушки, приезжавшие в Нижний Тагил, находили здесь теплый прием. Отлично было налажено обучение и воспитание молодежи. И недаром Нижнетагильская комсомольская организация занесена в Книгу почета.

Г. ЯВОРСКАЯ

ТРИ ИЗ ТРЕХ ТЫСЯЧ

Глубокой экспресс метро мчит вас на юго-восток столицы. Поезд подходит к станции Нагатино. Здесь, на берегу Москвы-реки, сооружен новый спортивный комплекс — бетонная чаша стадиона и огромное здание из стекла и металла.

В сверкающем на солнце корпусе разместились: в левом крыле — учебные и тренировочные залы, в правом — бассейн и помещения для соревнований гимнастов, теннисистов, тяжелоатлетов, волейболистов, баскетболистов. В центре здания под открытым не-



Макет спортивного корпуса будущего стадиона в Нагатине.

бом — чаша велотрека. Трибуны его способны вместить двадцать тысяч болельщиков...

Правда, пока это только мечта. И осуществится она, может быть, совсем не так скоро, как мечтает молодой архитектор. Но в принципе проект нового московского стадиона уже одобрен. И с его моделью можно было познакомиться на ВДНХ.

Здесь в одном из павильонов располагалась выставка «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы студентов вузов РСФСР». Это выставка молодых, самых мечтательных, самых дерзновенных. Более трех тысяч работ питомцев институтов и университетов представлено здесь, и среди них — дипломный проект выпускника Московского архитектурного института (1962 г.) Е. А. Олшанского, о котором мы только что рассказали.



В Ленинградском электротехническом институте связи имени М. А. Бонч-Бруевича создана «экзаменирующая» машина «ЛЭИС». Ее сделали в помощь своим преподавателям сами же студенты. Теперь зачеты по различным дисциплинам может прини-

мать машина. «ЛЭИС» не знает усталости и все прекрасно «считает». В нее закладывается карточка с вопросом и с несколькими ответами, среди которых один правильный. Экзаменирующийся выбирает ответ, кажущийся ему правильным, и нажимает соответствующую кнопку. Загорающиеся лампочки указывают, верный или неверный ответ дает студент. Никакая подсказка здесь не поможет.

Но студенты остаются студентами. Они нашли выход из этого нелепого положения...

В жаркий июньский день прошлого года в наш институт шел экзамен по химии. Двое ребят явились одетыми явно не по сезону: в теплые, толстые свитеры. И, конечно, это вызвало немалое удивление многих. Ведь далеко не все могли знать, что сегодня проводится испытание миниатюрной радиостанции УКВ, специально спрятанной под свитером. Испытание должно было проходить... на экзамене. Да, да, на экзамене по химии. Собственно, экзаменоваться шел один из студентов, второй же должен был расположиться в соседней аудитории и «оказать товарищу необходимую помощь». У обоих на поясах была спрятана радиоаппаратура. Крошечный передатчик, величиной не более дамских часиков, расподожился на запястье левой руки под бинтом. Экзамен был сдан по «радионпаргалке». Станция не подвела. Все прошло великолепно. Профессор ничего не подозревал.

Но все это, конечно, была только шутка. Работая над своим детищем, молодые конструкторы совсем не думали усовершенствовать подсказку. УКВ предназначалась для других целей.

Идея создания радиостанции крошки возникла год назад, рас-

сказал нам один из ее авторов, студент Володя Батаев. Эту мысль подал заведующий кафедрой конструирования и технологии радиоаппаратуры доцент Н. Иванов-Еспович. Предназначалась УКВ для альпинистов. Поэтому, объяснил Володя, она и смонтирована в обыкновенный электрический фонарь, которым пользуются альпинисты. Испытания станция «Малышка» проходила не только на экзамене по химии, но и в горах и веда себя отлично. Она легка (ее вес — всего 350 граммов), дальность ее действия — 4 километра, а продолжительность работы — 10 часов.



Радиостанция «Малышка».

Новым изобретением заинтересовались не только альпинисты. Миниатюрную радиостанцию захотели иметь исследователи альпину «Заря» для удобства связи со шлюпкой, и металлургические заводы (связь между цехами), и спортсмены. Поэтому сейчас, продолжая работать над радиостанцией, студенты улучшают качество своей «Малышки»: еще более уменьшают размер и стремятся увеличить дальность действия.

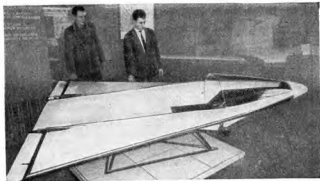


Александр Шинялинников — студент Московского авиационного института. Но любовь к небесным просторам он сочетает с любовью к подводному миру. Единственное, что не удовлетворило Александра в его второй привязанности, — небольшая скорость передвижения под водой. Шинялинников решил сконструировать подводный планер.

Аппарат, созданный Александром и его друзьями Виктором Бровко и Александром Никитиным, был назван «МАИ-1». Прошлым летом его испытывал на Черном море председатель мор-



«Экзаменирующая» машина «ЛЭИС».



Подводный планер.

ского клуба института бывший водолаз Сергей Кесоян. Ведомый катером-буксиром, планер мчался под водой со скоростью 20 километров в час. Сергей управлял им лежа. Прозрачный нос планера разрезал воду со свистом. В азарте Сергей сделал на планере «бочку». И, кто знает, может быть, именно этот день будут считать началом истории высшего подводного пилотажа.

А на снимке вы уже видите «МАИ-2». Новый планер сделан из стеклопластика, напоминает по форме сверхзвуковой аппарат: ведь планер делали авиаторы! Он рассчитан уже на двух аквалангистов! Планером заинтересовались исследователи моря, рыбаки.

И. АСТВАЦУРОВА

МОЛОДО, СМЕЛО, ТАЛАНТЛИВО!

Трудно попасть на студенческий спектакль? — Не просто трудно, а почти невозможно.

— Вы путите! Такого не бывает! С чего бы это на него так уж рвали? Да, конечно, Брехт; «Доброто человека из Сезуана» Москва еще не видела. Но ведь студенты! Брехта им не осилить. Да еще такую пьесу — сложнейшую, истинно философскую. Нет уж, лучше просто перечитать «Доброто человека». По крайней мере ничто не помешает насладиться энергией мысли и остротой формы...

Вдоволь запасшись скенсисом, я все-таки отправился на улицу Вахтангова...

...Три бога спустились на грешную землю с особо важной миссией: «У многих, и даже у нас, богов, возникло сомнение — существуют ли еще на свете добрые люди!» Немало дорог им пришлось «исходить», прежде чем удалось найти такого человека — бедную проститутку Шен Те. И, нарушив установление «неба», боги дали ей денег, чтобы она могла покончить с нуждой. Наконец-то Шен Те получила воздаяние за свою горемычную жизнь, наконец-то она — счастливая обладательница маленькой табачной лавки — может позабыть о нище-

те, унижениях, вздохнуть полной грудью!.. Может ли? Можно ли быть счастливым, когда вокруг тебя океан несчастия, когда чужая нищета врывается в твой дом, когда на каждом шагу унижают других? Доброта в страшном мире, изображенном Брехтом, равносильна самоубийству; попытайся поднять другого — пойдешь на дно. Добро бессильно. Чтобы не сплунуть окончательно, не расточиться, оно вынуждено кликнуть на помощь зло. И Шен Те приходится «обзавестись» двоюродным братом. Жестокий, неуемный Шун Та — каменное сердце — спасет ее от разорения, от нового падения, от гибели!

Трагическая нравственная коллизия, полная глубокого социального смысла, обрела, как это свойственно Брехту, парадоксальное выражение. В пределах пьесы Брехт не разрешает эту коллизию — ведь разрешить ее может лишь сама жизнь. И пост-революционер верит: разрешит!

Попробуйте для доброго найти К хорошему — хорошему пути. Плохой конец — заранее отброшен.

Он должен, должен, должен быть хорошим!

Этими словами, которые хором произносит участники спектакля — студенты театрального училища имени Щукина, — этими словами, которые приветствует весь зал, захваченный необычным зрелищем, заканчивается спектакль, поставленный заслуженным артистом РСФСР Ю. Любимовым (режиссер-педагог — А. Буров, художественный руководитель курса — А. Орочко).

Одна особенность — на первый взгляд внешняя — отличает этот спектакль: актеры играют без грима, только кое у кого положены два-три резких штриха. И от этого мы с особой остротой ощущаем двойственность восприятия подлинно брехтовского спектакля; напряженно следя за перипетиями действия, за судьбами героев, мы ни на минуту не забываем, что перед нами не безработный детич Янг Сун или столар Лии То, а актеры, изображающие их. Здесь не показывают жизнь, а рассказывают притчу о жизни.

Актеры не таят своих симпатий и антипатий. Они дают не только сценический образ, но и отношение к нему — четкое, определенное, с позиций социалистического гуманизма. Так смыкаются Брехт и Вахтангов.

В этом спектакле мобилизованы все актерские ресурсы: движение, мимика, интонация действительно помогают слову. Угловато замолвленные или бессильно упавшие руки А. Демидовой повествуют о характере и судьбе госпожи Янг, пожалуй, не менее красноречиво, чем текст. А омертвевшее лицо-маска, на котором живут лишь (и как живут!) глаза — прозрачно-чистые, трогательно-наивные; сменяющие шажки, согбенная фигура жены торговца коврами (А. Возиян).

Подчас жест, мимика как бы отрываются от словесной основы, и тогда в спектакль приходит пантомима (особенно удается она А. Кузнецову — водоносу Вангу, И. Петрову, остро, иронично играющему цирюльнику)...

Непростые, очень непростые задачи стояли перед каждым из молодых актеров, но самая трудная выпала на долю З. Славина, сыгравшей добрую Шен Те и ее злого «двойника» Шун Та.

Перевоплощаясь в образ Шун Та, З. Славина не прибегает ни к каким внешним ухищрениям: брюки, котелок да тросточка — вот все, что меняется в ее облике. Мы ни на секунду не заблуждаемся: перед нами Шен Те, но... Это она и не она. Холодеют глаза, замед-



Полицейский (В. Голдаев) и Шун Та (З. Славина).

буждена мысль, воля к творчеству, жажда нового.

Ю. Любимов не побоялся развязать творческую инициативу молодежи (а как еще часто — чего греха таить — такая боязнь обуревают театральных педагогов!). Не только режиссерский талант, но и смелость показал он в оригинальности общей концепции спектакля, в

давать рублей, то, наверное, удалось еще немало сэкономить. В наше время лаконизмом, конечно, никого не удивишь. Здесь он доведен до предела; подозреваю, что действовали не только высокие эстетические, но и «низменные» финансовые факторы. Главный элемент оформления — студия. Их притащили из ближайшей аудитории. В лавке мужины полки. Полок в студенческом обиходе нет. Их заменили столы — длинные, узкие, за которыми днем нынешние актеры писали конспекты и играли в «морской бой». (Впрочем, это домысел; не знаю, какие именно игры в ходу у щукинцев во время скучных лекций. А может быть, там и не бывает лекций скучных — такое предположение рождает этот учебный спектакль.)

Я не спрашивал ни у кого и все-таки знаю твердо: он создавался с энтузиазмом, с горячей любовью к Брехту, в него вложено все, что получали ученики от своих учителей, и все, что несут в искусство они сами — от жизни, от себя.



Брехт хотел, чтоб в его театре люди не просто «спереживали», а «голосовали». На спектакле «Добрый человек из Сезуана» зрители голосуют против подлости, лжи и лицемерия, против условий, унижающих и уничтожающих человеческое в человеке, голосуют за доброго человека и справедливую жизнь. Голосуют единодушно. Воздержавшихся нет.

В. САХНОВСКИЙ-ПАНКЕЕВ



Шен Те (З. Славина) и Янг Сун (В. Батаев).

ляются движения; голос звучит сухо и решительно — душа словно покрылась ледяным панцирем эгоизма и расчета... Это — искусство перевоплощения, целиком подчиненное осознанной идейной задаче.

Молодые актеры превосходно «выучены»; этого мало; в них про-

хлесткой выразительности деталей.

Чего стоит одно только решение образов богов! (Грех не упомянуть ярко талантливого В. Клементьева, играющего бога-сангвиника, скептика и ворчуна).

Если на оформление этого спектакля было отпущено два-

КТО ОН, ЭТОТ РУССКИЙ СОЛДАТ?

На имя главного редактора нашего журнала пришло из Италии письмо. Его автор — Умберто Кампаньолло — ответственный секретарь Европейского сообщества культуры. Письмо представляет общественный интерес, и мы публикуем его.

«Несколько дней назад возле маленькой деревушки, затерянной на Колли Эруанси (к югу от Падуи), я случайно увидел на местном кладбище могилу советского солдата — Артемова Дмитрия, погибшего 11 ноября 1944 года.

Мне удалось собрать кое-какие сведения о нем.

Артемов попал к немецким фашистам в плен и был послан работать на небольшое предприятие «Дитта Згараватти», неподалеку от Падуи. Он бежал из заключения и присоединился к отряду итальянских партизан. Вместе с ними

участвовал в сражении, которое произошло на холмах Колли Эруанси, к югу от Падуи.

В этом бою с фашистами Артемов был тяжело ранен. Партизанам удалось отнести его в лес, где итальянский врач выходил Дмитрия. Но немцы обнаружили место, где скрывался раненый советский солдат. Они схватили его и расстреляли вместе с другими итальянскими партизанами.

Тело Артемова покоится сейчас на кладбище «Фаэдо ди Чинто Эуганео» — на тех же самых холмах, где Дмитрий последний раз участвовал в бою.

Я думаю, что близкие Артемова были бы рады узнать хоть что-нибудь о его гибели. Я понимаю, что с теми немногими данными, о которых я пишу, будет трудно разыскать семью Артемова, место и год его рождения. Могу лишь добавить, что Дмитрий был блондин, а рост его — 180 сантиметров. Но, может быть, какой-нибудь советский товарищ, работавший вместе с Дмитрием на предприятии «Згараватти», сможет дополнить мой рассказ.

С сердечным приветом



Могилы Дмитрия Артемова.

Умберто КАМПАНОЛЛО»

КРЫМСКИЙ АЛЬБОМ В. А. ЖУКОВСКОГО

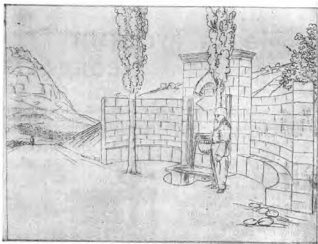
С то двадцать пять лет пролежал на полке библиотеки Зимнего дворца альбом в зеленой папке, преподнесенный в 1838 году В. А. Жуковским царю. Рука читателя никогда его не касалась, и этот альбом был так же незаслуженно забыт, как оказались забытыми и остальные два десятка других альбомов, заключающие в себе около двух тысяч превосходных рисунков поэта. Рассеянные по разным хранилищам и собраниям, они ускользали от внимания исследователей. Не удивительно, что сейчас мало кто знает Жуковского-художника, большого знатока и страстного любителя изобразительного искусства. Между тем он увлекался рисованием и офортом с такой энергией, что друзья стали даже опасаться за его поэтическую деятельность.



Саблы. Вид на Бешуй.

Подлинной страстью Жуковского был пейзажный рисунок, который он особенно полюбил во время путешествия в Швейцарию в 1821 году. Отныне он считал себя уже не только поэтом, но и «рисовальщиком». Тридцать лет заполнял Жуковский свои дорожные альбомы пейзажами Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Франции, Голландии, Бельгии, Дании, Англии, Швеции, Европейской России и Сибири, по которой путешествовал в 1837 году. Тогда же, в сентябре 1837 года, он зарисовал 93 вида Крыма, составившие отдельный альбом, с которого мы начали наш рассказ.

Просматривая листы Крымского альбома, хранящегося ныне в научной библиотеке Государственного Эрмитажа, прежде всего обращаешь внимание на то, как много в них изображено мест, посещенных за 17 лет до Жуковского А. С. Пушкиным и Н. Н. Равенским. Жуковский, связанный сердечной дружбой с Пушкиным и глубоко переживавший его гибель, был, по словам Гоголя, «весь подол Пушкиным». Во время путешествия по России он везде разыскивал друзей Пушкина и беседовал с ними. В Крыму он стремился запечатлеть пушкинские места. Прибыв поздно вечером 9 сентября в Бахчисарай, он спешит к фонтану, воспоминанию Пушкиным, и наизусть рисует «Бахчи-



Шума. Ключ Кутузова.

сарая в забвенье дремающий дворец».

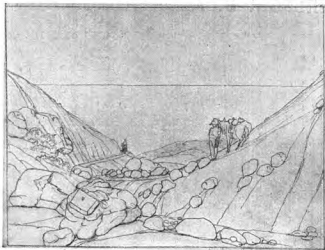
На рисунках Жуковского изображен внешний вид дворца, внутренний двор, ханская мечеть, гарем, ханское кладбище.

Виды пушкинских мест зарисовал Жуковский в Гурзуфе, в пещерном городе Чуфут-Кале, в Георгиевском монастыре, на Чатыр-Дате, Аю-Дате.

Жуковский интересуется деталями жизни народа. Он посещает татарские дома. В многочисленных зарисовках стремится передать внешний облик и характер местных жителей, изображая их у своих жилищ, в пути (верхом на лошадях или в телегах), за хозяйственными занятиями. Зарисовки Жуковского представляют большой интерес.

Для рисунков поэта, и особенно для Крымского альбома, характерна линейная манера исполнения. Так работали многие немецкие художники той поры. Применяли ее и русские мастера Ф. П. Толстой, А. Майдель, А. П. Савожинов. Линейная манера придает некоторое однообразие рисункам, но не умаляет их художественной ценности. Это настоящие произведения графического искусства, которые наряду с рисунками Пушкина, Гоголя и других писателей и поэтов занимают свое место в истории русского искусства.

Можно лишь пожелать, чтобы публикация Крымского альбома положила начало систематической и полной публикации графического наследия поэта.



Переход от Мердвена и Симену.

А. КОРОБОЧКО

МУЖЕСТВО

Эта история случилась на Кавказе летом 1963 года.

Еще весной 38 команд спортивных обществ «Буревестник», «Спартак», «Труд» и других подали заявки на участие в первенстве страны по альпинизму.

Команды обществ «Труд» и «Спартак» решили штурмовать несколькими группами четырехглавый Домбай-Ульген (главный, западный, восточный и южный) с севера и юга. Домбай невысок, немногим более 4 тысяч метров, но его порой отвесные, местами заснеженные скальные стены доступны только самым опытным, самым смелым восходителям. К вершинам ведут маршруты высшей — пятой категории трудности.

Основная, более сильная четверка «Труда» 15 июля вышла из лагеря на последнее тренировочное восхождение. Группу возглавлял врач, мастер спорта Борис Романов, один из опытейших альпинистов и скалолазов страны, покорила многих вершины Кавказа, Памира и Французских Альп. Вместе с ним шли мастер спорта врач Владимир Ворожичев, перворазрядник врач Юрий Кулинич и перворазрядник инженер Юрий Коротков.

Вот что рассказывает Борис Романов:

«Когда мы выступили, еще только начинало светать. Путь предстоял нелегкий. Только одна группа проходила до нас по этому маршруту. Сложные скальные участки местами переходят в отвесные стены. В расщелины скал часто забиваем стальные крючья, двигаемся двойками: я с Володией Ворожичевым, а Юра Коротков с Юрой Кулиничем. Тщательно страхуем друг друга капроновыми веревками.

Назавтра подошли к наиболее сложному участку пути. Всего каких-то 500 метров по вертикали мы преодолевали целый день. К вечеру 16 июля остановились под



«плечом» Восточного Домбая. Погода испортилась, и, чтобы не попасть под грозные разряды на гребне, мы стали готовиться здесь к ночлегу.

Нашим приютом стала маленькая площадка, метра два с половиной на полтора. С трудом расстали на ней палатку, закрепили ее крючьями. Через палатку пропустили веревку, привязав ее к прочно забытым в скалы крючьям, а затем сами пристегнулись к этой веревке.

В палатке тесно, но уютно. С аппетитом съедены вареная баранина, сыр. Гудит примус, скоро закипит чай. Часам к девяти непогода разыгралась. Хлестал дождь. Гремели, отражаясь от окрестных вершин, раскаты грома. Беспредельно сверкали молнии. Мы, привыкшие и к обжигающим лучам солнца и к непогоде в горах, растащили спальные мешки и готовились ко сну.

Вдруг страшной силы удар потряс горы. Раскаты грома перешли в сплошной грохот, мы на какое-то доли секунды перестали ощущать вес собственного тела. Нам показалось, что мы вместе со скалой летим в бездну.

Сразу за толчком, а вернее, одновременно с ним начался камнепад. В общем грохоте шум летящих камней не был слышен. Во тьме раздалась стоны товарищей. После сильного удара в бок я почувствовал острую боль, почти одновременно последовал удар в голову, но спасла защитная каска. Сознание я не терял, хотя какие-то моменты вспоминаю теперь довольно смутно.

Не большие минуты продолжался этот страшный поток камней. В голове сильно шумело. Превозмогая боль, я окликнул ребят. Молчание. Мелькнула страшная мысль: неужели все погибла? Но вот глухо отозвался Юра Коротков: у него перебила нога, бедро, руки, разбита голова, двигаться не может, но пока в сознании. Лучом карманного фонарика освещая Юру Кулинич. Пульс у него не прощупывается, сердце остановилось. Юра был сразу убит большим камнем, который так и остался лежать у него на груди. Володя Ворожичев жил, но от сильного удара в голову потерял сознание.

Скала, несколько нависавшая над палаткой, у какой-то мере защитила нас от многих камней. И еще спасла веревка, к которой

Этот рисунок выполнен одним из альпинистов-спасателей, В. Вербо-вым.



Домбай-Ульген. (Белый квадрат — место, где находилась группа Б. Романова. Верхний треугольник — первая почтовая на спуске, Нижний треугольник — конец второго спуска.)

мы были пристегнуты. Поток камней выдернуло крючья, перебило другие веревки, унесло примус, часть продуктов и теплых вещей, а эта веревка чудом уцелела, выдержали и крепящие ее крючья.

Гроза не утихает. Изодранная в клочья палатка не защищает нас от дождя с мокрым снегом. Рядом так велепо погибший друг, ему уже не помочь. Я, как врач, понимаю, что наша карманная аптечка не рассчитана на такие травмы, как у Володи и Юры. При резких движениях боль у меня в боку усиливается. Ставлю себе диагноз: перелом ребер, пробита голова.

Трудно сейчас рассказывать о тех минутах, но сознание работало ясно. Надо жить, надо выдерживать, надо бороться за жизнь товарищей.

Помощь придет обязательно. Лишь бы не было более сильных толчков, тогда нам на «пятачке» не удержаться.

Оказал ребятам возможную медицинскую помощь. Кое-как помог одеться Юре и очнувшемуся Володе.

У нас имелись ракеты, но возможности не было. Поэтому давать ночью сигналы бедствия не стали.

Страшная это была ночь. Ребята, сдерживая боль, изредка стонали. Особенно тяжело было Юре Короткову. У него были переломаны ребра, таз, в двух местах лопатка, ключица; в довершение всего у него — трещина в черепе. Я не спал, временами погружался в тяжелое полубытие.

К утру дождь стал меньше. По-

являлись небольшие разрывы в облаках. Увидев внизу людей, дали две красных ракеты. Заметили ли их товарищи?

Показавшиеся внизу люди вскоре скрылись из поля зрения.

Кое-какие продукты у нас оставались, но есть не хотелось. Очень мучила жажда. У меня сохранился кусок полиэтиленовой пленки, в нее мы собирали дождевую воду. Двигаться мне стало очень больно. Очевидно, когда я помогал ребятам, одним из четырех сломяных ребер проткнул себе легкое. Поворачиваться мне помогал Володя Ворожничев. У него переломов не было, но от сотрясения мозга сильно болела голова. Укрыться было нечем, мы промокли и страдали от холода. К концу второго дня дождь стал стихать. Кончилась дождь, кончилась и вода. У нас оставалась только одна полная фляга. За эти два дня подземные толчки несколько раз повторялись, но значительно слабее того, которое.

На третий день наконец появилось солнце. Мы обсушились и согрелись. Стало немного веселее, но ненадолго. Чем ярче лучи солнца, тем сильнее жажда. Особенно от нее страдал Юра Коротков. Решили остаток воды и продукты оставить ему, а мне с Володей отправиться на гребень за снегом.

Начали готовиться к выходу. С трудом нашли целый кусок веревки длиной в 15 метров. Затем стали одеваться. Два мучительных часа потратили на то, чтобы кое-как одеться, но после этого свалились в полном изнеможении и не смогли тронуться в путь. Решили дожидаться утра и, если не подойдет помощь, двигаться за снегом любой ценой, хоть ползком.

Весь день лежим. Коротков, стиснув зубы, сдерживает стоны. Володя иногда бредит. Я чувствую временами острую боль в боку. У всех страшная слабость. Жажда делается невыносимой. И с такой же надеждой и нетерпением, с каким мы ждали появления солнца, мы ждем, когда оно наконец скроется за окрестными вершинами.

Когда посерели снежные пики, а внизу ледянки потеряли свой блеск, мы услышали громкие голоса и увидели четверку, спускавшуюся к нам с гребня по крутым скалам.

Помощь пришла. Четыре мастера спорта — врач Вячеслав Онищенко и Вячеслав Романов, инженер Владимир Безлюдный и Владимир Кавунико. Он возглавлял группу. Единственный из нас, кто мог громко разговаривать и даже тихо

кричать, Юра Коротков, предупредил ребят, что мы без воды, и они принесли два полных рюкзака прекрасного чистого снега.

Всегоду замуем примус. Ребята напоили нас дымящим горячим чаем, осмотрели наши переломы и раны, сменили перевязки, сделали обезболивающие уколы. Но ни свежие бинты, ни уколы, ни даже горячий сладкий чай не действовали на нас так, как теплые слова и рукопожатия друзей, пришедших на выручку».

Рассказ начальника спасательной группы Владимира Кавуниенко: «16 июля с утра мы с Володией Вербовым, готовясь к будущему рекордному восхождению, забивали крючья и навешивали веревки на южной стене Главного Домбая. Работали на высоте примерно в 3 000 м. За день устали, легли спать рано. Палатка наша прилепилась к стене под большим скальным карнизом-навесом на маленькой каменной площадке. Один край палатки лежал на снегу.

Был десятый час, когда мы проснулись от частых раскатов грома. Гроза неистовствовала. Мы теснее прижались друг к другу в своих спальных мешках. Внезапно произошла страшная толчок. Гром гремел, не переставая. Он слился с грохотом каменных обвалов. Казалось, что нашу палатку разрывает на части. Вскоре последовало еще несколько более слабых толчков. Мы поняли, что карниз надежно защищает нас от летящих вниз камней.

Наконец настал рассвет. Решили спускаться, но камнепад еще не стих. Приходится ждать. Все мысли о товарищах. Что с нашей второй спартакоской группой? Что с группами «Труда»? Решаем немедленно спускаться им навстречу, используя для быстроты натянутые накануне по скалам веревочные перила. Но... 160 метров веревки перебиты камнями. Спускаемся с помощью одного обрывка, попеременно страхуя друг друга.

Вскоре встретили ребят из второй команды «Труда»: В. Безлюдного, В. Романова и В. Онищенко. С ними двое из нашей спартакоской группы: В. Тур и А. Поляков. Общей радости нет конца. Долог и крепко обнимаемся, хлопая друг друга по спине.

Прошло несколько минут после встречи, как показалась еще одна двойка альпинистов, спускавшихся с Восточного Домбая. Это были наши спартакосы Борис Уткин и Володя Шатаев. Они торопились и еще на ходу сообщали, что сегодня утром, начав спуск с Восточного

Домбая, они увидели в тумане красную ракету и услышали слабые крики о помощи. Эти сигналы могли подавать только группа Бориса Романова.



Владимир Кавуниенко.

Камнепад не утихал, продолжалась толчки, у ребят не было медикаментов, кончились продукты, не было также и специального снаряжения. Поэтому Уткин и Шатаев, преследуемые градом камней, начали спуск, чтобы вызвать спасательный отряд, а их товарищи А. Балашов и Н. Родимов решили попытаться подойти поближе к площадке, откуда раздавались крики о помощи. Как выяснилось позже, Балашов и Родимов недалеко продвинулись к цели. Несколько раз их задело камнями по рукам и голове (касок у них не было), не хватало мастерства и сил.

Наступило время аварийной радиосвязи. В 15 часов я услышал тревожный голос радиста контрольно-спасательной службы Домбайского района. Он вызывал наши группы. Я сообщил о принятых сигналах бедствия, о местоположении пострадавших, а также о необходимости срочного выхода спасательного отряда с тросами, носилками, медикаментами и продуктами.

Быстро созрел план. Безлюдный, Онищенко, Романов и я с медикаментами, примусом и небольшим запасом продуктов (кстати, они вообще были на исходе), налегке — без палаток и спальных мешков — прокладываем путь к пострадавшим. За нами двинутся спасатели с тросами.

После недолгих сборов мы выступили к подножию стены, чтобы там дожидаться подхода спасателей с оборудованием. К вечеру подошел отряд из 12 спортсменов. Принесли тросы и немного продуктов. Организовали вторую четверку. В нее вошел трое ленинградцев — мастера спорта электромонтер Виктор Воробьев, слесарь Василий Савин и перворазрядник Эрик Петров, а также москвич Володя Вербовой, тоже перворазрядник.

В два часа ночи все было готово. Наша группа начала штурм, и тут мы, четыре мастера спорта, прошедшие уже не один сложный маршрут, увидели и поняли, какой путь нас ждет. В нашей практике еще подобного не было. В альпинизме расстояние измеряют часто не километрами и метрами, а длиной веревки, равной обычно 40 метрам. Так вот, первые две с половиной веревки, то есть 100 метров, мы шли... три часа.

Не добившись успеха, спускаемся к подножию стены и метром на 150 деее снова начинаем штурм. Через некоторое время на нас обрушилась очередная лавина камней. Выручили каски и мгновенная реакция — прыжок в сторону.

Снова спустились на бивуак, по радио держим совет с контрольно-спасательным пунктом. Оттуда твердят одно: «Ближе всех к пострадавшим вы. Действуйте, но на рожен не лезьте, бессмысленно не рискуйте».

Переврав все возможные варианты подъема, решаем подняться еще ниже на козьем пути по южной стене Главного Домбая, а оттуда вдоль скальных стен пробиваться к Восточному Домбою. Требовалось подняться на высоту примерно в километр, но если учесть, что накануне мы на 100 метров потратили три часа, то...

Выступаем. На нижнем участке

стены пята четверка, шедшая налегке, навесила веревочные перила. Вторая четверка — Воробьева, неся катушки с тросами, двигалась за нами по этим перилам. Крутизна многих участков 50—60°. В общем, песь маршрут высшей — 5-Б — категории трудности.

Благополучно пройдя треть пути, мы ушли вперед. Вторая четверка с тяжелым грузом отстала. Было примерно около трех часов дня, когда мы вышли на гребень под вершину Восточного Домбая. Я шел первым, внимательно проглядывая серые скалы в поисках той маленькой площадки, где нас так ждали уже третьи сутки. Трое суток — срок немалый. Живы ли они?

Наконец, еще шаг, и я их увидел метрах в сорока ниже подо мной, на крохотной площадке. Борис Романов сидел с низко опущенной головой. Тут же, рядом, лежало покрытое изодранной палаткой тело (это был Юра Кулинич). Коротков лежал в неестественной позе. (Я подумал, что и он погиб.) Ворожищева я не обнаружил (он лежал в скальной нише). На вопрос подошедших сзади ребят я ответил на пальцах — один живой, трое погибших.

...Когда были окончены все перевалы и ребята вдоволь напоены чаем, стали обсуждать обстановку. Двигаться, и то с большим трудом, на легких участках, может только один Ворожищев. Коротков и Романов даже в городских условиях, как говорят врачи, трудно транспортируемы.

Надо сказать, что на маленькой площадке высоко в горах из семи собравшихся четверо оказались врачами. Всем ясно, что Борису Романову нельзя резко двигаться, громко разговаривать и даже кашлять. Работало только одно легкое. Проклятого легкого поломанным ребром вызвал бы немедленное кровоизлияние и смерть. Вот в таком виде предстояло спустить Романова почти на тысячу метров по кручам на стальных тросах.

Я должен заметить, что Борис, Юра и Володя прекрасно понимали всю сложность обстановки, понимали, что каждый неверный шаг опасен для них, и вели себя просто героически.

Наметили путь спуска. После этого начали готовить место для крепления катушки с тросом и блок-тормоза, забивать крючья — простые и специальные шлямбурные (которые, кстати, нам очень помогли). Ребята с тросами отстали от нас часов на 5—6, и мы вынуждены были поджидать их все вместе на крохотной площадке.

Наутро подошли Воробьев, Са-

вия, Петров и Вербовой. Мы закончили подготовку и часам к одиннадцати утра наладили первый спуск длиной примерно метров 250. Для опробования системы спустился с несколькими рюкзаками Васю Савина. Он в конце пути подготовил площадку для приема пострадавших, затем начал спуск Бориса Романова. Это была весьма сложная операция. Борис спустился на спине Вячеслава Ошищенко в специальном рюкзаке — обвязке. Пропущенный через катушку трос постепенно вытравливается, и люди опускаются. На трассе дежурят несколько человек, которые голосом регулируют скорость подачи троса, дают команды об остановке.

Втором спустился Ворожищев в сопровождении Вербовой. Предстояло самое сложное — спуск Короткова. Из ледоруба сделали своеобразную шину для сломанных ног и бедра. Носилок у нас не было. В рюкзак посадить тоже нельзя. Пришлось Юру специально «упаковать», подвесить к тросу, а рядом закрепить Вячеслава Романова. Так потихоньку мы их спустили. Это был самый трудный спуск. За целый световой день спустились на 250 метров троих пострадавших и четверых здоровых.

Первая ночевка на спуске была тяжелой и неприятной. Поэтому и запомнилась она надолго. Нижняя площадка оказалась очень маленькой. Борис Романов и Ворожищев спали там сидя, а Короткова положить было негде, и он беззастенчиво провисел всю ночь на тросе, правда, в горизонтальном положении. Для этого надо было иметь незаурядное мужество и силу воли, особенно если учесть его увечья.

Опять начался камнепад. Ошищенко и Ворожищеву пробило каски.

На верхней площадке на ночь остались я, Воробьев, Безлюдный, Петров и тело Юры Кулиничка. Наутро спустился с грузом Петров, затем спустился Воробьев и погибшего Кулиничка. Наконец, спустились и мы с Безлюдным.

Первый спуск окончился благополучно. Предстоял второй, не менее трудный.

Очень плохо было с водой. Погода устанавливалась. Солнце печет, а снега уже нет. Эрик Петров часами стоял, не шевелясь, с кружкой и собирал воду, стекающую по каплам с затененной скалы. Затем воду собирали во флаги и давали больным. Продукты кончались.

Наутро к месту нижней ночевки подошли еще два ленинградца — мастера спорта Б. Корабин и Ю. Беляев. Они поднесли немного

продуктов и шину. С помощью этих шин снова перебинтовали Короткова. Борису и Юре опять сделали обезболивающие уколы, после чего начал второй спуск. Проходил он, как я уже говорил, по отвесной стене. В рюкзаке спустились только Борис Романов, а Ворожищева и Короткова с помощью специальной беседки и грудной обвязки. Юра Коротков удивлял всех своей выдержкой. Столько переломов — и ни одной жалобы.

В конце второго спуска нас ожидали уже спасательные отряды с водой, продуктами и носилками. Самое трудное было позади.

Весь путь от площадки, где разыгралась трагедия, до шоссе заняла шесть суток, а еще через день «Ту-104» из Минеральных Вод доставила ребят в Москву.

Вот, собственно, и все.

Рассказ спасателя дополняет спесенный Борис Романов:

«Мало приятного беспомощно висеть над бездной на стальном тросике толщиной в пять миллиметров, раскачиваться во все стороны и ждать, когда тебя сверху трахнет камнем. А такой случай со мной был. С промежуточного пункта ребята кричат: «Камени! Камени!» Спасатели укрывали под носилками, а я надеюсь только на каску. Нагнул голову, локти выставил и жду. По локтем вместо стукало, а каска выдержала.

Подошедшие к нам четверки вели себя просто героически. Я ничуть не боюсь этих громких слов. Их мужество, воле и выдержке может позавидовать каждый, с них могут брать пример люди самых разных профессий.

Сейчас мы снова готовимся к летнему сезону, и, может быть, снова придется встретиться нам с Володией Капущенко на параллельных маршрутах и бороться за золотые медали чемпионов по альпинизму, но дружбе нашей это не помешает».

✱

Вот и замкнулась вся цепь событий, в которых проявились беззаветная храбрость, мужество и железная выдержка советских спортсменов.

Прежде, чем поставить последнюю точку, мы обратились за консультацией в Институт физики Земли. Научный сотрудник института сообщил нам, что землетрясение на Кавказе в июле 1963 года достигло невиданной силы — восемь баллов. Подобного землетрясения в этом районе еще не наблюдалось. Последнее было зарегистрировано в 1932 году. Но было оно значительно слабее.

ИИ

ИНТЕЛЛЕКТ НА ЛИЦЕ

(Из Галкиных историй)

В последнее время мои знакомые начали обращаться ко мне со странными просьбами. Недавно пришла моя подруга Светка Светкина.

— Галка, у тебя есть какие-нибудь очки?
— Нет, я хорошо вижу.
— Жалко... вздохнула Светка. — Вот и у меня стопроцентное зрение.

— Тогда зачем тебе очки?
— Для интеллекта!
Я опешила.
— Почему же раньше ты обходилась без этого?
— Раньше было другое время. Теперь в моде тип интеллектуальной девушки.
Я обиделась.

— По-твоему, получается, что у тех, кто не носит очков, нет интеллекта?

— Может быть, и есть, — сказала Светка. — Но этого никто не видит. Если хочешь знать, то летом я не попала в институт только из-за очков. Надела бы — набрала бы все очки и прошла. Когда тебя встречают в очках, все думают: «Эта девушка — прирожденный физик». Интеллект на лице!

— Значит, приходи в институт, ты надеваешь очки, а возвращаясь домой, снимаешь, кладешь в коробочку, и весь интеллект в карман. Так, что ли?

— Почему же, дома тоже надо носить очки, когда гости приходят.

— Светка, хочешь выглядеть совсем-совсем умной?

— Хочу.
— Нацепи на нос бинокль! Все будут думать: «Эта девушка — природожденный открыватель новых земель».

Я рассмеялась. Светка заплакала, и ее лицо стало совсем неинтеллектуальным. Уже очень ей хотелось иметь умный вид.

— Хорошо, Светка, я тебе помогу. Приходи ко мне завтра утром.

А вчера прибежал Вовка Вовкин.
— Галкина, у тебя есть восьмидесятый том Бальзака?

— Есть.
— Дай поносить!
— Что, что? — переспросила я.
— Понимаешь, Галка, мы каждый день с одной девушкой в трамвае на работу ездим. Она всю дорогу Бальзака читает, а я никак с ней познакомиться не могу. Не о чем заговорить... Я и решила с Бальзаком в руках поехать.
— Так ты лучше прочитай Бальзака, и будет о чем с ней поговорить, — посоветовала я.
— Пока я Бальзака прочитаю, она уже с Флобером едтить будет. Нет, это не выход... Мне бы только с ней познакомиться. Только бы она заметила мой широкий кругозор...

— Вовка, хочешь одним разом покорить ее мощью своего интеллекта?

— Хочу! Хочу, Галка!

— Я тебе дам пятьдесят один том «Большой Советской Энциклопедии». Повози их с собой в трамвае несколько дней. Успех обеспечен!

— Я серьезно, Галка... обиделась Вовка.

— Ну, если серьезно, приходи ко мне завтра утром.

На улице меня поймал за пазуху Левка Левкин.

— Вот это встреча! — взмахнула руками Левка. — Ты-то мне и нужна.

— Зачем? — Я почувствовала что-то недоброе.

— Научи меня понимать живопись.

— Тебе это срочно нужно?

— Да. К завтрашнему дню. Мы всем отделом идем завтра вечером на выставку. Начальство будет, и сама понимаешь, мне надо блеснуть. Нынче интеллектуалы в цене.

— Тогда приходи завтра утром, — сказала я.
Я решила проучить моих приятелей.

Наутро я взяла лист ватмана и крупными буквами написала такое объявление:



Рисунок Н. Сидорова.

«С сегодняшнего утра здесь открыто Ателье Проката Поверенных Знаний (АПЗ).

В АПЗ можно получить сроком на 2—3 дня знания любого предмета с одним условием: вернуть их в срок, так как они могут понадобиться другим клиентам.

Ателье выдает напрокат точки зрения по любому вопросу, но не более двух в одни руки.

При АПЗ работает косметический кабинет. Там вы можете сделать себе ясный лоб, проницательные глаза, укрепить интеллект на лице. Лица, особо нуждающиеся, обслуживаются вне очереди.

Работает также пункт «Скорой помощи» с выездом на дом».

К чести моих приятелей, надо сказать, что никто из них утром не пришел. То ли они перешли на самообслуживание, то ли обожались без интеллекта — я так и не узнала.

С разрешения Галки ГАЛКИНОЙ опубликовал Виктор СЛАВКИН.

БАБУШКИН «КОЗЛИК»



Жил Вася Бабушкин в нашей
квартире,
С фабрики он возвращался
в четыре,
Вот как, вот как розно
в четыре.
Быстро он брился и брюки
утожил:
Отдых культурный рабочему
нужен,
Вот как, вот как отдых был
нужен.



Бабушкин мчится в кино
за билетом,
Ну, а билетов, естественно,
нету,
Вот как, вот как нету
с рассвета.
Парень у кассы стоит
несвеселый:
Два кинозала всего на
поселок,
Вот как, вот как два на
поселок.
Бабушкин Вася ужасно
расстроен,
В клуб он пошел бы, да клуб
не достроен.
Вот как, вот как клуб
не достроен.
Этот вопрос обсуждают
годами,
Мохом-травой зарастает
Фундамент,
Вот как, вот как жалко
Фундамент!
Он отдохнул бы в кафе
молодежном,
Только проникнуть туда
невозможно,
Вот как, вот как с отдыхом
сложно!
Вечер в кафе для ударников
треста,
Но для ударников нету там
места,
Вот как, вот как нету там
места!
С горя пошел он к друзьям
закадычным,
Взял в «Гастрономе» бутылку
«Столичной»,
Вот как, вот как непозитивно!
Парни весь вечер «козла»
забивали,
Водкой сухого «козла»
запивали,
Вот как, вот как грусть
заливали.
Утром шагали нетвердой
походкой,
Вечером та же была
«культуротка»:
Водка, водка, «козлики»
и водка.
Там, где с культурой пока
неуязки,
И возникают подобные сказки.
Вот как, вот как это
не сказки!



Рисунки В. Гальдеева.



М. ЗАХАРОВ

С РАЗМАХОМ...

Рисунки И. Оффенберга.

— 4ГО это вы замысляете? — поинтересовался я, обнаружив скопление молодых сотрудников нашего института.

— Собрались поговорить относительно теории относительности, — ответила мне разношерстная компания, собравшаяся за большим круглым столом.

— Да разве это предмет для тихого размышления? — искренне удивился я и почувствовал, как кровь застучала в моих жилах. — Мысль свежая! Тема актуальная! Завтра же снимем для этой цели ближайшее кафе или просто заводской клуб!

Вдохновенный порыв импровизации потряс мой организм, и я почувствовал, что мне уже не остановиться.

— Средства имеются! Опыт есть! — крикнул я и сверкнул глазом. — Красочные транспаранты при входе: «Запомни без лишнего чванства о связи времени и пространства!», «Заруби у себя на темени, что есть парадокс времени!»... Кроме того, бросаем в дело шуточные, юмористические плакаты: «Как ни хочешь, — а быстрее скорости света не улетит!»... Общий повальный хохот. Ни одной мрачной физиономии. В фойе джаз-оркестр физико-ма-

тематического факультета. Его сменяет ансамбль бандуристов отделения экспериментальной физики и слабых токов... «Импровизационная-гравитационная!»... Конференс-затейник беспрерывно острит по поводу кривизны пространства. У буфета продажа слабоалкогольных напитков. «Заве-

щал Альберт Эйнштейн ароматный пить глинтвейн!» Весь зрительный зал уставлен столиками. В баре специализированные коктейли типа: «Двойной синхрофазотрон» и «Два фотона, три протона»... Тут же у стойки поэт Виктор Мешалкин в фиолетовом луче света читает основы общей теории относительности в зашифрованном виде. Через каждые двенадцать четверостиший — пятиминутная танцаупаза. После главы «Равноправие всех инерциальных систем» юноши приглашают девушек, после главы «Общие пространственно-временные отношения» девушки приглашают юношей. После слов «Энергия есть масса, помноженная на квадрат скорости света» — удар гонга, брек, голубой свет, разноцветные шарик, фонарики, серпантин, конфетти, шампанское и шашлык на ребрышках!..

Я сделал паузу, отхлебнул воды из вазочки с цветами и посмотрел на лица присутствующих.

Мои друзья находились в состоянии глубокого психологического шока.

Я сделал над собой еще одно нечеловеческое усилие и с криком «За мной!» повел возбужденную, ликующую массу по институтскому коридору.

В течение ближайших дней одно мероприятие следовало за другим. Размах каждого последующего вдвое превосходил размах предыдущего. Это был гигантский калейдоскоп прохладительных на-

(Окончание на стр. 112.)



питков, ребусов, прекрасных стихов, великих изречений и горячих закусок; это был грандиозный фейерверк человеческого изобретательности, кулинарного мастерства, индивидуального пения и массовых хороших танцев: «Эстетические взгляды писателей-разночинцев», «Переходный возраст и вопросы любви и дружбы», «А что ты сделал для озеленения своего района?».

Все шло прекрасно до тех пор, пока на моем пути не появились завистники и интриганы. Меня стали открыто упрекать в шаблонах, штампах, несоответствии формы и содержания, более того, в игнорировании всего многообразия духовных запросов молодежи.

В конце концов я не выдержал и решил пригнать массы заявлением об уходе. Это был хитроумный тактический маневр. Коллектив института взвыл, как раненый зверь, и затрепетал в агонии.

После двух дней агонии, как я и предполагал, ко мне явилась делегация от общественных организаций института и вручила мне персональное приглашение на торжественное мероприятие по случаю моего возвращения.

Ровно в семь часов вечера, когда я появился в дверях, объединенный хор аспирантов и лаборантов спел «Слався!» Грелся сводный оркестр профсоюза работников высшей школы.

Несмотря на мою испушенность в этих вопросах, я был потрясен размахом торжества.

Весь огромный зал и прилегающее фойе дымилась от множества сосисок, черного кофе, жигулевского пива и раков.

У буфета шла оживленная торговля коктейлями «Двойная резолция», «По собственному желанию».

В семь часов пятнадцать минут конференсье-затейник зачитал полный текст моего заявления. Грелся полонез Огинского. Юноши пригласили девушек. В середине полонеза представитель дирекции огласил резолюцию. После слов: «Освободить от работы с 7 октября» — оркестр стремительно переключился на фокстрот, а танцующие пары — на чарльстон. Незнакомые люди бросились друг другу в объятия, а лица моих коллег озарились таким неподдельным ликованием, какого я никогда не наблюдал у них прежде.

Григорий ГЛАЗОВ. Вступление. Беседа. Глаза. Солдат. Сквозь годы. Высота. Человек. Стихи	2
Юлия ДРУНИНА. «Сколько шин в нерядных ножках!...» Стихи	4
Игорь ЖДАНОВ. Комсорги. Стихи	4
Степан ШИПАЧЕВ. Помню... Стихи	5
Владимир ЦЫБИН. Предчувствие. «Морщинами рожденные песен...». «Я стою с тобой почти лицом к лицу!...» Спокойствие. Стихи	5
Юрий АБДАШЕВ. Два рассказа: 1. Летящие острова. 2. Неоцененная акварель	7
Константин ВАНШЕНКИН. Зимнее море. Стужа. Вечерняя вода. «В поэзии — пора эстрады...». Луна. «Блеск моря, и скрипы причала...». «Гудок трикратно ухает вдали...». Стихи	21
Булат ОКУДЖАВА. А остальное все приложится... Ленинградская музыка. Свет в окне. Стихи про малых. Свечки. Стихи	23
Владимир МАЛЫХИН. Февральский снег. Рассказ	25
Николай СТАРШИНОВ. Полезнейшее дело. Говорят деревья. Из детства. Дочери моей — Руте. Стихи	31
Екатерина СУВОРИНА. Ксана Муратова — фронтовая артистка. Повесть (продолжение)	33
Петр ВЕГИН. Колыбельная. Стихи	58
Люсита ВИЛЬЯМС. «Ленин — человек и его дело» (Статья написана по просьбе «Юности»)	59

Наука и техника

Л. БОБРОВ. Соль земли	63
Олег МОИСЕЕВ. Отречение от бога	68
Валерий ФИМИН. Тревога. Стихи	72
Риталий ЗАСЛАВСКИЙ. Смена. Стихи	72

Оно в мир прекрасного

Леонид ВОЛЫНСКИЙ. Зеленое дерево жизни (окончание)	73
Среди книг	90—91
Солдаты мира. (Фотоочерк)	92—93

Из истории комсомола

Мих. ДОМРАЧЕВ. Незабываемое	94
---------------------------------------	----

Заметки и корреспонденции

* Г. ЯВОРСКАЯ. Страницы комсомольской славы. * И. АСТАВАТУРОВА. Три из трех тысяч. * В. САХНОВСКИЙ-ПАНКЕЕВ. Молодо, смело, талантливо! * Умберто КАМПАНОЛЛО. Кто он, этот русский солдат? * А. КОРОБОЧКО. Крымский альбом В. А. Жуковского	99—104
--	--------

Спорт

А. ПОЛЯКОВ. Мужество	105
--------------------------------	-----

«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора под редакцией А. АРКАНОВА)

* Виктор СЛАВКИН. Интеллект на лице * Владимир КОНСТАНТИНОВ. Борис РАЦЕР. Бабушкин «Козлик». * М. ЗАХАРОВ. С размахом...	109—112
--	---------

На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунки
А. ЧЕРНОМОРОДИКА.

На 2-й странице обложки — Защитник Родины.
Фотоэтиюд А. МОРОЗОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Забина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00624. Подп. и печ. 6/II—1984 г. Тираж 1 000 000 экз. Изд. № 356. Заказ № 3156. Формат бумаги 84×108/16. Бум. л. 3.63. Печ. л. 11.89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, ул. «Правды», 24.





[На новой трассе.

Турнсты Уралмашзавода в Забайкалье.]





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120